

ОТЩЕПЕНЕЦ

ИОСИФ БОГОРАЗ

И. БОГОРАЗ

ОТЩЕПЕНЕЦ

МОСКВА — ИЕРУСАЛИМ

ИОСИФ БОГОРАЗ

ОТЩЕПЕНЕЦ

ИЕРУСАЛИМ

1976

МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ

© 1976 J. Bogoraz

Художник Г. Воронель
Отв. за выпуск Г. Гербер

Отпечатано в типографии «Став», Иерусалим

*А мы воочию видали
Лицо обратное медали...*

ВМЕСТО ПРОЛОГА

ДВОЕ ПОСТОРОННИХ:

- Из Воркуты, говорят... Самолетом доставили.
- В тундре — что же? Места мало? Хоронить уже негде?
- Выходит так.
- Шишка какая-нибудь?
- Какие в тундре шишки? Придуток! Самый обыкновенный придурок...
- Самолет все-таки, влетит в копеечку!
- Им что? Народ денежный! С миру по нитке...
- Не говорите, всю Москву запрудили: Юго-Запад, Черемушки... Только и слышишь — Колыма, Воркута.
- Крепко, суки, держатся — плечо к плечу!
- Сообща комаров кормили, в тридцать седьмом... Теперь крик моды: жертвы культа!
- Уже кончается. Лысого-то — убрали...

* * *

1

СКРЫТОЙ КАМЕРОЙ

ПОСЛЕДНИЙ твой путь, Павел... Извлекли тебя голубчика, вырвали! Хоть прах твой — а вырвали, уволокли-таки, доставили на Московскую землю. Кому-то понадобилось. Ты не стремился, нет; она стала тебе второй Родиной, твоя Воркута; ты вцепился в нее, держался — до последнего издыхания. Ты слышать ничего не хотел. Теперь прости-прощай! Она осталась позади, возлюбленная твоя, холодная и горькая воркутская земля, ты возвращен. Во гробе, но возвращен, в лоно предков, в Москву-столицу, так страстно любимую некогда и такую чуждую — потом...

Ты, конечно, догадываешься: дело рук Дулькина, больше некому. Это он, Дулькин, осаждал тебя все эти годы, парламентаров подсылал, соблазнял, заманивал тебя. Носился, как угорелый, по Москве, по ЖЭК'ам, по ВТЭК'ам, по министерским приемным, справки раздобывал — медицинские, служебные, профсоюзные, комсомольские, партийные; за двадцатый год, за двадцать третий, за двадцать восьмой — миллион всевозможных справок! На очередь тебя втиснул! Затеял бесконечную канитель с реабилитацией твоей: по первому делу, по второму, по третьему — накопилось же у тебя этих дел, Павел, как это ты умудрился, за такую недолгую жизнь... Он не вылезал из Прокуратуры, твой Дулькин; ему почему-то понадобилось во что бы то ни стало выдернуть тебя из Воркуты, водворить в какую-нибудь восьмизэтажную коробку на Ленинградском проспекте, устроить тебе роскошную жизнь, с ванной и мусоропроводом, с финскими окнами, главное же — где-то рядом, среди своих, среди старых Воркутян... Он сделал это целью своей жизни, поднял дикую возню, доказывал всем и каждому с пеной на губах: это равносильно убийству — оставлять Павла на Воркуте, он

года в этой яме не протянет; от него остались рожки да ножки, ни легких, ни клапанов ничего нет, ошметки какие-то, неизвестно — в чем душа держится... Ты отпирался, как мог, выдумывал всякие причины, тянул резину; ты не знал, как от него отбиться. В конце концов ты придумал этот фокус, все ахнули: сторублевая Люба! Павел Малашкин — и Люба! Кто мог поверить, понять? Один Дулькин сообразил: прощай, Москва! Павел заживо себя похоронил! Никто, никто на всем белом свете не добьется для Любы московской прописки! Пятьдесят девятая статья у нее, бандитизм, точнее злонамеренное убийство, не видать ей Москвы, как ушей своих! Он сжег мосты, Павел, решил подыхать на Воркуте! Во имя чего, спрашивается? Неужели же — ради Любы? Заради этой женщины поставить на карту все: остаток неустроенной своей жизни, судьбу свою, прошлое свое, друзей, последние свои надежды? Нет, конечно! Очередной трюк — Павел мастер загадывать загадки! Попытка отгородиться, забаррикадировать себя — вот что такое Люба!

Впрочем — тоже еще требуется доказать! Способен ли Павел впутывать в свои дела кого бы то ни было, вовлекать в качестве ширмы, для отвода глаз? Так мало вяжется оно с Павлом. Кроме того — Люба, горячка эта, королева, разве согласится она на роль марионетки, подставного лица? Никогда в жизни! Не зря же такая вывеска — сторублевая!

Вот она, Павел, с тобою рядом, у изголовья твоего — последняя твоя причуда, законная твоя жена! Стоит навытяжку, как солдат на карауле — безмолвная, каменная, царственная... Сторублевая Люба — они навесили на нее эту позорную кличку. Воркутинские уркачи: намек на лагерную ее профессию... Все равно, она не склонила головы. Кто же не знает: самые оголтелые урки, самые отпетые, прикусывали языки, стоило ей поднять на них свои глазищи. Они не смели разинуть при ней пасть, слово грязное проронить! Воркутинская леди Макбет... Нет, она не осрамит твоего имени, Павел! Кое-кто скашивает на нее глаза, поджимает губы — ноль внимания, ее не касается! Невозможная, торжественная, возвышается она над гробом твоим. не-

движима, как изваяние! И что бы о ней ни думали они, что бы ни говорили — она, а не они, оказалась последним твоим убежищем, единственным твоим оплотом...

* * *

Взгляни-ка, Павел, взгляни... рядом с Любой! Ты глазам своим не поверишь! Регина Антоновна, Воркутское твоё божество! Откуда он выцарапал её, Дулькин? Регина Антоновна — и Люба, бок о бок, свет и тень, день — и ночь... гениальная режиссерская находка! Ну и Дулькин!

Оно здесь, твоё Воркутское солнце, в каких-нибудь двух шагах, оглянись! Легкая, как перышко, вертлявая, хрупкая; рядом с Любой — подросток! Стоит представить себе, как все это выглядело там, среди Воркутской черноты! В бараках, в больничных палатах, что творилось в них при её появлении, при медькании её белого халатика, — действительно, восход солнца! Конечно, все были влюблены в неё по уши, все поголовно! Признайся, Павел, тебя выводило из себя... И вовсе не потому, ты не собирался ни к кому ревновать, у тебя не было никаких оснований. Тебя удручало другое: в этой грязной клетке, именуемой «ОЛП»ом, в лагерной этой конюшне — мыслимо ли чувство радости, любви, человеческого счастья? Рабы не вправе, они не могут позволить себе эту роскошь; оно осквернило бы все на свете, и, в первую очередь, — её, это Совершенство... Ты трепетал, страхась оскорбить её нечаянным жестом, взглядом своим; ты запрещал себе, казнил себя на каждом шагу, ты молился на неё... Теперь — вот она, рукой подать, такая досягаемая, доступная... можешь прикоснуться, Павел.

Необыкновенная её усмешка — столько в ней было лукавства, кокетства, девчоночьего задора, никто не в силах был устоять; она вспыхивала самым неожиданным образом где-то в уголочках губ, перебрасывалась куда-то вверх, к ресницам, чтобы затем, мгновенно угаснув, потонуть в глубине небольших, чуточку косящих глаз. И сейчас, обрати внимание: губы её подрагивают, расплзаются, она прикусывает их, едва сдерживается, преодолевая себя, вот-вот разразится, прыснет... Ах, вот оно

что: доктор! Агап Агапыч! Он здесь, оказывается, Дулькин позаботился! Он завертелся вдруг, заерзал, повернулся к ней спиной. Он делает вид, что не замечает ее, не узнает Регины Антоновны. Потеха, серьезный как будто человек, а поведение... Ты так до конца и не дознался, Павел, не разгадал их тайну: что у них там произошло тогда, под покровом долгой, бесконечно долгой заполярной ночи? Чем кончилось? И было ли, вообще?

Он чем-то раздосадован, Агап Агапыч; глаза его мечут громы и молнии, он не в силах скрыть свое негодование. Какое-то ни с того ни с сего — торжество: самолеты, венки, толпы провожающих... бешеные деньги! Дулькинские штучки! Ему все еще мерещится: тридцать седьмой год, лагерь, Воркутяне — он забыть не может! Жалкая комедия — какая, к черту, Воркута? Кончилась, рухнула, рассыпалась в прах! С вами расплатились, рассчитались по двадцатое число, вы получили сполна, чистоганом: два месячных оклада, реабилитация, все приведено в соответствие, справедливость восстановлена, можно начинать игру сначала. Вот они — жертвы культа, Дулькин согнал их, выставил напоказ, любуйтесь! Фетровые шляпы, коверкот, галстуки, вырядились, как на первомайский парад! Кто скажет — это они, те самые, в рваных валенках, в бушлатах, холодные, голодные, рыскали по коптеркам, кипятилкам, охотились за хвостом трески... Теперь отъелись, округлились; у них сейчас квартирки, дачи, персональные пенсии; солидность появилась, важность: члены «общества распространения», внештатный актив райкома... Нет больше Воркуты, ее не было никогда! Выдохлась, выменена, продана — за чечевичную похлебку. Ее не возродить, не поднять из пепла, Дулькин зря хлопочет! Где он — этот оборот?

Дулькин не стоит на месте; он мечется, перебегает с места на место, от одной кучки к другой, встречает, принимает гостей, проталкивает вперед, поближе к гробу. У него сегодня большой день: Воркута, старая Воркута, она здесь вся, как на ладони; они заполнили залы крематория, разбрелись по аллеям, обступили гроб — Дулькин постарался. Теперь он блаженствует, сама

смерть не может заглушить в нем этот детский восторг: были бы только люди, побольше людей, побольше старых Воркутян, он счастлив, ему ничего больше не нужно. Радость так и захлестывает его, он не в состоянии подавить ее в себе, скрыть. Ты не в претензии, Павел? Все это, учти, ради тебя делается, ради шикарных твоих похорон! Вот он пробирается к Агап Агапычу, несмело, бочком-бочком, Дулькин отлично знает докторский характер.

— Воркутяне наши, а? — Дулькин начинает исподволь, ласково жмурясь и заглядывая в глаза Агап Агапычу, — сила...

— Не сила, а сплошное безобразие! Дешевый маскарад... Вы придумали, сознайтесь?

— Умоляю вас, доктор! Последняя дань... Мы обязаны!

— Насмешка. Павел никогда не позволил бы.

— По-вашему — что же? Плюнуть, оставить гнить в тундре, одного... Никого же не осталось, поймите. Ограду поставить, могилу прибрать — некому...

— Меньше всего Павла интересовала ваша ограда, поверьте. Кстати — осталась на Воркуте Люба.

У Дулькина заволкло глаза, он вцепился в Агап Агапыча, не оторвешь.

— Вывезем, Агап Агапыч! И Любашу вывезем, добьемся! Всех перетащим, клянусь!

— Очнитесь, Дулькин! — Агап Агапыч взглянул на него с раздражением, отстранился. — Вот она, Воркута ваша, поговорите с ними. Больше всего они боятся. как бы их здесь не застукали, они вот-вот разбегутся. Они трясутся все над окладами своими, комнатушками, путевками...

— Люди жить хотят, Агап Агапыч. Приходится считаться.

— Вот-вот, жить. Все хотят жить. Павел, к вашему сведению, тоже хотел жить. Тем не менее, он не продавался никому, не шел на компромиссы, на сделки с совестью.

— Однако — он никого не клял. Не собирался никого охаивать, поносить; ставить крест над товарищами своими...

* * *

Тогда, в 1953-ем году, после смерти Сталина, когда всё вдруг завертелось, забегало, замелькало, как в волшебном зеркале — амнистии, манифесты, пересмотр дел, снятие судимостей, разоблачение культа личности — ты, Павел, впал почему-то в состояние протрации; у тебя руки опустились. Этот исторический поворот, так называемый, ты воспринял его бог весть как, шиворот-навыворот; тебе показалось — всемирный потоп, конец вселенной. Мир, в котором ты жил, с которым успел освоиться, сродниться, призрачный, лагерный мир с его людьми, отношениями, братскими узами — он вдруг заколебался, пошатнулся, стал валиться на глазах у тебя. Все, что было нажито за два почти десятилетия балансирования на лезвии ножа, между жизнью и смертью, — Воркута, неотъемлемое ее прошлое, ее драгоценный человеческий капитал — все вдруг пошло прахом, рухнуло, как карточный домик. Точно полоумные, они ринулись все врассыпную, кто куда, ловить крохи свалившегося на них нежданного своего, нежданного счастья. Ты застыл, оцепенел от изумления. Горячка эта до смерти напугала тебя; она показала тебе куда более страшной, отталкивающей, чем холодный ужас 1937 года, когда все начиналось.

Парад открыл Кротов: наконец-то! он ждал этого дня полтора десятка лет; он верил, верил и тогда, когда другие потеряли всякую надежду; он знал — этот день наступит! Теперь он подал сигнал спасения — первый! Никто еще не решался. Заявления в Прокуратуру, дождь заявлений, жалобы — в Верховный Суд СССР, РСФСР, в Министерство юстиции, телеграммы в ЦК партии, одна другой хлеще, письма на имя Хрущева! Делалось это, правда, втихую, без лишнего шума, с оглядкой, все равно — все кругом насторожилось. Кротов оказался застрельщиком, глашатаем, за ним следила, затаив дыхание, вся Воркута, ни у кого еще не было уверенности, во что все это может вылиться. Он добился личного вызова в Москву, к кому-то из секретарей ЦК; вернулся он из столицы торжествующий, хотя, — как всегда, замкнутый и еще более недосыгаемый. От него нельзя было ничего добиться, никаких подробностей; одна только фраза, он

повторял ее без конца: «Оперативно ЦК работает! Сверхоперативно!» Так он и выскользнул, исчез, ничего толком никому не сообщив, ни с кем не попрощавшись. Однако — лед тронулся, началось великое паломничество: за документами, за справками о реабилитации, за квартирными ордерами, за денежной компенсацией, за орденами и медалями, за священными реликвиями — никого уже невозможно было остановить.

Больше всего их стеснял доктор, Агап Агапыч; они ведь все почти, все до одного, перебивали у него в руках, уже после Кирпичного, когда он уступил, наконец, напялил на себя свой докторский халат. Они отлеживались у него в стационарах, кантовались в слабосилках, исповедывались перед ним; он досконально знал, что у кого за душой, их тайные помыслы и сокровенные мечты. Теперь они обходили его за тысячу миль, в глаза ему не глядели; они бегали от него, как воришки — собственно, почему? Он никого особенно не донимал, не собирался никого обличать. Единственное, что он позволял себе в их адрес: шпилечки, намеки, — он не упускал случая позабавиться. «Со вручением вас! Разрешите полюбоваться?» — намек на вручение партийного билета. — «От всего сердца пожелаю... оправдать доверие партии!» Этого было достаточно, все от него шарахались.

Дулькин — тот не стал дожидаться. Он явился сам, ворвался к тебе, Павел, в сопровождении Агап Агапыча, которого для чего-то приволок с собою. Ты никогда не видел его в состоянии такого возбуждения; трахнув с размаху по столу своей новенькой партийной книжкой, он завопил:

— Ну, доктор, — квиты! Как хотите...

— И ты, Брут! — произнес Агап Агапыч невозмутимо. — Меньше всего можно было ожидать от вас, Дулькин!

У Дулькина сорвался голос, он мрачно пробормотал:

— Я человек не гордый...

Поспешно убрав свой партийный билет, он многозначительно прибавил:

— Все же понимают: игра в очко! Дашь—берешь! Там видно будет... Дулькин еще покажет класс!

Дольше всех держался Грантик; он тянул, крепился, откладывал; при встречах с тобой заводил нудные разговоры на самые отвлеченные темы — о ламаркизме, о марксистской эстетике, о возрасте солнечной системы, как будто все это могло в данный момент хоть сколько-нибудь его занимать. Он явно мучился, стараясь, однако, виду не подавать, и это как-то раздражало тебя и наводило тоску, как если бы не он, а сам ты попал бы в этот переплет и не находил выхода из тупика. Когда же, в конце концов, он явился к тебе измочаленный, разбитый, с запавшими, как после тифа, глазами и, путаясь и краснея, стал что-то мямлить по поводу нового политического подъема в стране, торжества ленинских традиций, исторической миссии партийной интеллигенции, ты треснул его по спине и с каким-то даже чувством внезапного облегчения, без малейшего оттенка иронии, воскликнул:

— Смелее, Грантик, смелей! Не виляй, говори! Тебя можно поздравить?

После долгих лет совместного лагерного существования ты впервые обратился к нему на «ты», и это окончательно доконало его, глаза его заплаыли.

— Я презреннейший в мире человек, — пролепетал он, отвернувшись и скрывая слезы, — последний среди смертных.

— Почему же, Грант?

— Я плыву по течению, Павел... Я не в силах оставаться один, идти против течения.

— Не огорчайся, Грант. Все мы барахтаемся, носимся, без руля и без ветрил.

— Вы презираете меня, Павел! Я знаю.

Он не посмел принять протянутую руку, сказать тебе «ты»: тебя охватило чувство острой жалости, неловкости.

— За что презирать тебя, Грант? Столько лет мы пробыли вместе, в одной мышеловке...

— Во всяком случае... — он замаялся; бледное, худое его лицо

покрылось пятнами, — я надеюсь... вы не подумаете, что тут замешано что-нибудь личное, материальное... какие-нибудь шкурные мотивы?

На этой фразе его засек Агап Агапыч; он вошел незаметным образом и, расслышав последние слова Гранта, рассвирепел:

— Тем гнуснее, — прохрипел он, вне себя от ярости, — во сто раз гнуснее! Лучше уже, как Дулькин, откровенно, цинично, без всяких прикрас!

Грантик обмяк, сжался в комок; он молча уставился на тебя, в поисках защиты. Ты растерялся, не нашелся, что сказать. После длительной и тягостной паузы Грант выдавил из себя наконец:

— Вам, Агап Агапыч, легко рассуждать... вы никогда раньше не были в партии.

— Был, был, — срезал его Агап Агапыч, — член РСДРП... Горжусь, по сей день!

Грантик как-то подтянулся, взял себя в руки; он начал оправдываться, объясняться: вы должны его понять, влезть в его шкуру; он все-таки побывал в лапах у Гитлера, это что-нибудь да значит; он антифашист, прежде всего; он не может просто так, отойти, остаться в стороне; он поставлен перед выбором: или-или... Ему дают возможность вернуться, стать снова коммунистом; он не видит альтернативы, ее попросту не существует. Он обязан проверить, попробовать...

Доктор перебил его безжалостно, злобно.

— Стадо баранов, — процедил он сквозь зубы. — им бросили клоч сена, они и припустили... Все забыто, выброшено из памяти: процессы, конвои, кровавая баня на Кирпичном... Оказывается, этого недостаточно, требуются какие-то еще проверки, пробы... Трогательно, не правда ли? — он обернулся к тебе: ты вдруг ошетинился, вспыхнул.

— Не очень остроумно, доктор! — ты сдерживал себя, как мог, стараясь скрыть свое раздражение. — Ваши экскурсии в область животноводства, — «ослы, бараны» — вам не делают, согласитесь, чести?

— Ах, вот как! — Агап Агапыч поморщился. — Вас коробит, режет вам слух!

— И вообще, — продолжал ты, — все обстоит гораздо сложнее... Потому именно, что персонажи комедии, — они все-таки не овцы, и не бараны; речь идет о человеческой породе. Впрочем, вам, как врачу, оно представляется не столь уже существенным?

Агап Агапыч нахмурился, помрачнел.

— Как прикажете понять? — спросил он, впиваясь в тебя ключими своими глазами. — Чувство солидарности? Вы, может быть, в восторге от этого парад-алле?

Не дождавшись от тебя ответа, он прибавил:

— Возможно даже — следующий на очереди: Павел Малашкин? Я не удивлюсь...

— Малашкин никому не нужен, — вяло заметил ты.

— Не говорите, — возразил Агап Агапыч, — время бойкое! Самый паршивый зэкашка — на вес золота! Своего рода охота за мертвыми душами. Эра заметания следов...

* * *

И вот — десять лет спустя... Вы снова вместе, вас собрали, столкнули лбами в этом мрачном здании московского крематория, у преддверья Вечности. Можно уже подводить итоги, Агап Агапыч, по крайней мере, считает вполне своевременным. Он уверяет: ничего из этой затеи не получилось; вся эта шумиха — культ личности, либерализм, воскрешение ленинской демократии — ровным счетом ничего, блеф. Вас обставили, купили, обвели вокруг пальца; вам заткнули глотки — молчите! Теперь вы будете молчать до второго пришествия, вам ничего другого не остается. Вы обязались, вы напросились сами, никто вас не насиловал. Идиотики, вроде Гранта; ему, видите ли, захотелось испытать судьбу, пройти повторный курс... Один Павел устоял от соблазна!

...Ты, Павел, молчишь, у тебя завидная позиция: притаился в своем саркофаге, лежишь, никто тебя в расчет не принимает — материя, прах, не видит, не слышит! Между тем, тебе всех вид-

но, все они перед тобой, как на ладони, — здорово Дулькин придумал!

Еще не все высказались, разоблачились перед тобой. В частности — этот зубр, Кротов; он вцепился в Гранта, как ржавая пила, пилит его, не переставая, что-то вдальбливает. Грантик не сдастся, противится, его вообще не узнать, никогда он так не упорствовал.

— Воркута, Воркута, сколько можно! — Кротов не скрывает своего отвращения. — Пройденный этап! Пора поставить точку, перечеркнуть...

— История не перечеркивается...

Ты улавливаешь манеру Грантика? Короткие реплики, недомолвки... Он далеко не оратор, но как-то задевает за живое.

— Неправда, — Кротов все больше кипит, — Воркута — не история!

— Что же, по-вашему, история?

— Гражданская война, Отечественная война... пятилетки! Вот где создавалась подлинная история!

— Оригинальный взгляд на исторический процесс. Воркута по-вашему, пустой звук? Никакого следа в истории социализма...

— Уголь, дорогой мой! Уголек для Ленинграда — вот что такое Воркута! Заполярная кочегарка!

— Допустим, уголь! А двадцатый съезд партии, двадцать второй съезд... Никакого, по-вашему касательства к Воркуте?

— Партия сказала свое слово... И нечего тянуть партию назад.

— Значит, все-таки, история?

Кротов позеленел от злости, заволновался: партия проделала гигантскую работу, сотни тысяч людей выпущены из заключения, возвращены, восстановлены в партии... Материально обеспечены, удовлетворены морально... Столица приняла их, распахнула перед ними двери; вот они, москвичи, взгляните — птичьего молока не хватает. Что еще нужно?

— Как будто в этом дело...

— Взять хотя бы лично вас: вас реабилитировали, восстановили партстаж; вам дали возможность защититься... доктор химических наук!

— И не во мне вовсе дело, как вы не поймете?

— Тогда — в ком же? В нем, может быть? — он ткнул пальцем в сторону покойника. — В Павле Малашкине?

— Если хотите, — именно в нем.

— Он сам, никто перед ним не виноват. Захотел кому-то доказать... Кому он хотел доказать?

— Возможно, мне, еще кому-нибудь... во всяком случае — не вам.

— Он никогда не был коммунистом.

— Смотря — как понимать слово «коммунист»...

— ...всегда особняком, всегда — по-своему... Типичный отщепенец! Почему он не восстановился в партии?

— К вашему сведению; он был на волосок. Его почти, было, оформили.

— Почти... не оформили все-таки!

— Он отказался сам, в последнюю минуту. Передумал.

— Таким, как Павел, не место в партии.

— Вот-вот, Малашкиным, оказывается, нет места в партии. Кому же, если не Павлу? В этом, по сути, и заключается вся проблема...

— Вы слишком далеко заходите, Грант. В свое время за такие разговорчики...

— «В свое время», — повторил Грант, — сказали бы прямо: в сталинские времена...

Кротов не на шутку рассвирепел: так он и знал, без этого не обойдется; на каждом шагу — Сталин, культ личности, тридцать седьмой год. Хотелось бы в конце концов услышать: что такое «сталинские времена»? Конец советской власти? Реставрация капитализма? Разве не в сталинские времена все это было нажито, добыто: Магнитки, Днепрогэсы, Крылья Советов... индустриализация, коллективизация, фундамент социализма? По сути — мы и сейчас еще живем процентами с капита-

ла: сталинские пятилетки, сталинские колхозы, сталинская конституция... Его хлебом кормимся! Ну да, 37-ой год, репрессии, забыть не могут! Однако, еще надо доказать, как все выглядело бы без 37-го года. Во всяком случае — Гитлер разгромлен при Сталине, и даже без помощи маршала Тухачевского...

Грантик умолк, он молчит, как рыба. Неужели Агап Агапыч прав: они теперь будут отмалчиваться, все, как один? Им нечего возразить, они связали себя по рукам и ногам; они продали себя, вошли в сделку. И ты, Павел, ты, если разобраться, не составляешь исключения из правила. Разве ты, в свое время, не попался на удочку, не клюнул? И разве не случайность помогла тебе удержаться тогда на ногах, устоять? Вспомни...

* * *

...Агап Агапыч был не так уж далек от истины: тебя все-таки не оставили в покое. В 1954-ом году на Воркуту прибыла авторитетная комиссия Обкома партии, с сугубо партийными полномочиями. Кому-то в Москве показалось: вяло идет на севере процесс восстановления в партии, надо форсировать. Тебя пригласили для собеседования, в числе других: почему да как? Партия, как известно, бросила клич: ни одного честного коммуниста — за бортом! Вернуть, всех до единого! Невинно пострадавших, оклеветанных, незаконно осужденных; восстановить честное имя коммуниста, оказать партийное доверие. О нем, о Павле Малашкине, комиссия располагает самыми лестными отзывами; приходится удивляться, что такие товарищи, как Павел, до сих пор еще остаются вне партии; очевидно — недоработка местной партийной организации.

Председатель комиссии, некий Шаумян, оказался весьма напористым. Получаса не прошло, как ты был уже у него в сетях, барахтался, как куропатка, не в силах выпутаться. Он обрушил на тебя каскад партийных лозунгов: «Новый ленинский призыв!», «Проверенные кадры Октября!», «Старая партийная интеллигенция, ее опыт, ее знания!», «Обновление партийного аппарата!», «Надежная опора ЦК!»

Ты таял на глазах у него, плавился как воск. Ты пробовал от-

некиваться, что-то возражать, доказывать: специфика твоего дела, история твоего исключения — ты, по сути, сам ушел из партии, по собственной инициативе, у тебя не может быть никаких претензий, обид! Кроме того — чисто психологическая сторона дела: после всего, что произошло — тюрьма, ссылка, долгие годы заключения — сможешь ли ты автоматически переключиться, перестроиться? Тебе необходимо все переосмыслить, продумать все заново; внутренне себя возродить как коммуниста; ты просто не готов, не созрел для подобного шага, тебе требуется время... Он слушать не стал; ты не успел опомниться, как очутился в соседнем кабинете, он сдал тебя из рук в руки какому-то блондину — началась процедура «оформления». И здесь-то ты очнулся, случай выручил тебя: ты узнал блондина.

— Поздравляю вас, — сказал он приглушенным голосом, — желаю плодотворной деятельности на благо нашей партии.

В тебе что-то дрогнуло. Его было трудно, почти невозможно узнать: после 1938 года прошло как-никак полтора десятка лет, он обрюзг, облысел, от военной выправки следа не осталось; в этом грузном мужчине, облаченном в мешковатый штатский костюм, трудно было угадать прежнего сотрудника НКВД — майора Драгунского. Но голос — он выдавал его с головой, его невозможно было подделать, подменить; писклявый ребячий визг, в этой машине он звучал, как шутка, он вызывал веселье, хохот; даже там, в зловещей тишине Кирпичного, трудно было удержаться. Было, однако, тогда не до смеха: майор Драгунский доставил тогда Кинжалову секретный пакет от Наркома, лично, и всё забегало, затрепетало, машина заработала бешеными темпами. День и ночь шла сверка списков для представления Наркому — списков смертников. Двоем обходили они камеры Кирпичного, Кинжалов и Драгунский, опрашивали поочередно каждого: «Фамилия? Троцкист? Имеются заявления?» Опрос вел Драгунский, Кинжалов заглядывал каждому в глаза и ставил в списке галочки. Судорога пробежала по нарам Кирпичного: этот жуткий бабий голосок, голос евнуха...

Ты узнал его, вскочил, как ужаленный, затрясся:

— С чем поздравляете... гражданин начальник?

Он не шелохнулся, ответил невозмутимо:

— С возвращением в ряды ВКП(б)... С оказанной вам честью!

Ты сорвался с места, ринулся к председателю комиссии; у тебя сперло дыхание.

— Это что же? — прошептал ты, задыхаясь. — Опять... Драгунский!

Тебя усадили, чем-то стали поить, успокаивать; какая-то появилась дама, в белом, чуть ли не главврач поликлиники, она не выпускала твоей руки, щупала пульс. Как сквозь сон, доносились до тебя разглагольствования этого Шаумяна, доброго дяюшки, председателя комиссии:

— Старые раны, партия учитывает... У меня, у самого, брат Колымчанин, не вернулся... Перебарывать надо, товарищ Малашкин, перебарывать. Подняться выше, взглянуть глазами партии... Кто старое помянет — глаз вон. Что Драгунский? Исполнитель, солдат! Он выполнял приказ. Человек побывал потом на фронте, награжден. С сорок пятого года — в партийном аппарате, член бюро Обкома, проверенный товарищ... Партия не может разбрасываться кадрами...

Ты еле добрался до дверей. Уже на выходе ты взял себя в руки, обернулся:

— Пока в партии распоряжаются драгунские, — произнес ты как можно спокойнее, — Малашкину там делать нечего.

Ты даже дверью не хлопнул, выполз, едва держась на ногах — никто не стал тебя удерживать. Потом, очень скоро после этого, произошла эта страшная история в зоне, ты еле ноги унес. От тебя окончательно отступились, еще бы! Скажи спасибо — не загребли снова!

* * *

— Он всегда ухитрялся влипнуть, — с раздражением произнес Кротов. Они все еще с Грантом продолжали пререкаться, конца краю не видно было. — Касается его, не касается — Павел тут как тут...

— Павла всё касалось, — возразил Грантик, — в этом весь Павел.

— И этот путч — тоже? Он давным-давно расквитался с лагерем, года полтора, если не больше. Получил чистый паспорт, договор заключил... живи, работай! — Кротов снизил голос.

— Чего ради полез он в эту мясорубку? Вы можете объяснить?

Грант ответил — вопросом на вопрос:

— Вы знали Павла: мог он усидеть?

— Другие, однако, усидели, не совали нос, один он... Вообще — дикая история: ультиматум, стачечные комитеты... обращения в ЦК Партии! По сути — лагерный бунт! На что они, интересно, рассчитывали? По головке погладят?

— Во всяком случае, — не на танки, — сказал Грант, темнея, — камня на камне не оставили: зону, вышки, бараки — давили как спичечные коробки...

— Сами кашу заварили, — проворчал Кротов. — Мы с вами бастовали? Бунтовали? Требовали? Сидели, как цуцики, ждали... Подошло время — разобрались! без нас... И с ними разобрались бы! Как оно впоследствии и получилось: Комиссия ЦК, пересмотр дел, без всякого нажима, без спешки...

— «Сначала успокоение — потом реформы», — сказал Грант. — К несчастью — реформы опоздали, все уже свершилось.

— Генерала этого, Захарова... говорят, расстреляли?

— Что толку? Ну, судили этого генерала, расстреляли. Ежова тоже, ведь, не пощадили, кому от этого легче? Тысячи полегли...

— Но Павел! При чем все-таки Павел?

— По сути говоря, — он тут, действительно, ни при чем. Зритель.

— Мололи всякую всячину: будто Павла выволокли из самого пекла, он бросался под танки, покушался на генерала...

— Глупости! Павлу несвойственно было — становиться в позу... Выдумки!

— Что-то такое, однако, было? Дыма без огня не бывает.

— Было вот что: Павел пробрался в зону, с фотоаппаратом. Только и всего.

— По-вашему — мало?

— Он пытался заснять, добыть улики. Собирался послать пленку в ЦК... Имел он право?

— Безумие, — произнес Кротов с содроганием и, подумав, прибавил, — скажу вам одно: не зря попал Павел на Воркуту; не зря за эту Воркуту цеплялся, как за какую-нибудь святыню; не случайно — остался за бортом... Партизанщина, анархизм — такова подлинная позиция Павла, если у него, вообще, была какая-либо позиция.

— Одна у Павла была позиция, — с грустью произнес Грант, — всюду подставлять голову.

* * *

Ее голос... Ты мог часами простаивать, замирая, у двери ее врачебной кабинки, подслушивать, впитывать музыку ее голоса, нежную его вибрацию, колебания. С тобою вместе замирало все кругом, наполнялось трепетным волнением: воздух, которым она дышала, жалкое дощатое строение лагерного стационара, дыхание тусклого, слепого заполярного утра... Он настиг тебя и здесь, ее голос, у последней грани; он баюкает, ласкает тебя, за-слоня торжественную мощь траурных мелодий, время от времени наполняющих просторы крематория.

Чем-то она расстроена, бесценная твоя, она дрожит вся, вот-вот заплачет. О чем они спорят? Агап Агапыч вздыбился весь, нахохлился, он не намерен уступить. Снова тема Гранта... Почему Грант? Сегодня хоронят не Гранта, хоронят Павла Малашкина.

Эту фразу произнес Агап Агапы, он вложил в нее змеиный яд, стремясь побольнее ужалить собеседницу.

— Совершенно неуместный разговор, — сказал он, не глядя в лицо Регины, — сегодня, если не ошибаюсь, именинником является не Грант. Мы хороним Павла Малашкина.

Она ответила кротко, без обиды:

— Не Гранта, конечно... и не Павла даже. Мне кажется, мы

хороним нечто большее. Воркуту, ее память, ее бесценное достоиние...

Агап Агапыч поморщился:

— Воркута, достояние, наследие... Сговорились вы, что ли? Пепел, зола! Кроме Дулькина, никто слышать не хочет.

— Неправда, — прошептала она. — Вы один топчете, затаптываете в грязь, самое святое...

— И вообще, — перебил он, — я не пойму, что от меня, в конце концов, требуется? Лобызаться, что ли, с Грантом? С Кротовым, может быть? В партию вступить, на старости лет? Так ведь не примут, на порог не пустят.

Она взмолилась:

— Оставьте этот тон, прошу вас.

— Но поймите, все это бессмысленно, глупо...

— Человек мучается, — нерешительно сказала она, — по-вашему — глупо?

— Я при чем? Объясните мне.

— Вы должны помириться с Грантом, — голос ее дрогнул. — Для него это вопрос совести...

— Что мы — дети? — Агап Агапыч вспыхнул. — Мириться, ссориться... Мы, кстати, и не ссорились никогда.

— Вы избегаете его, третируете... Перестали с ним встречаться, не отвечаете на письма. Вы знать его не хотите... За что? Он истерзался.

— Какое мне дело: терзается он, ликует...

— Вы к нему несправедливы... Вы знаете Гранта, всю его подноготную. Бескорыстность его, честность...

— Что, между прочим, не мешает ему продвигаться... Почет, партийное положение... Лекции, по марксистской эстетике. Выступает, вероятно, на собраниях, наверняка даже! Клянется в верности...

— Как не стыдно! Вам известно — Грант никогда не был приспособленцем. Он просто не может по-другому, такой как есть! С этим как-то надо считаться...

— Я тоже не могу, не считаю возможным. Существуют в при-

роде какие-то принципы, нормы поведения... Могу я придерживаться?

— Существуют, прежде всего, люди, человеческие отношения... Они важнее ваших принципов. — она подняла к нему глаза, с надеждой и мольбою. — Вы не можете не знать, что значит для Гранта Воркутская дружба, доверие друзей...

Агап Агапыч побледнел, отвернулся.

— Подумаешь, проблема, — пробормотал он. — друзья... Грант не может пожаловаться. Есть Дулькины, Кротовы; полюбуйтеся — их водой не разольешь. Вы, наконец... вас все-таки двое... Не такой уж он несчастный!

— Вот оно что, — сказала она, опустив голову. — Вы, кажется, до сих пор не можете ему простить?

— О, боги! — Агап Агапыч всплеснул руками. — Призываю вас в свидетели! И тебя, Павел! Восстань, рассуди нас! Ты один в состоянии понять...

Она произнесла тихо, с обезоруживающей кротостью:

— Не кощунствуйте... И не поминайте имя Павла всуе. Вы должны помнить: он никогда не был безжалостен к людям.

* * *

...А народ все прибывает и прибывает, конца не видать. Ты истомился, Павел, пора бы вырваться тебе из этой сутолоки, остаться, наконец, наедине с собой. Увы — очередь! И здесь, оказывается, очередь! Ты одиннадцатый по счету, придется ждать и ждать, никуда не денешься! Потерпи, дружище, не дергайся, побереги свои нервы! Нет худа без добра — тебе представляется счастливая возможность прослушать напоследок серию надгробных слов, получить живое представление о современниках своих, тоже невредно. Поминальные речи льются как из рога изобилия: от парткома, от профкома, от ЖЭКа — послушай:

— «Товарищ Грознодумов, Василий Иванович, рождения 1896 года, с юных лет вступил на путь самоотверженной борьбы за коммунизм. Стойкий, выдержанный большевик и чуткий товарищ — Грознодумов Василий Иванович неумолимо трудился, отдавая все свои силы служению Родине. На любом

участке социалистического строительства, куда бы партия ни ставила его, товарищ Грознодумов В.И. проявлял высокую принципиальность и большевистскую настойчивость... В преклонном уже возрасте, будучи персональным пенсионером союзного значения, Василий Иванович Грознодумов продолжал принимать активнейшее участие в общественной работе. Являясь бессменным председателем товарищеского суда ЖЭКа номер 13 — товарищ Грознодумов В.И. пользовался заслуженным авторитетом среди населения Кировского района столицы. Спи спокойно, дорогой друг и товарищ...»

Ты что-то, Павел, забеспокоился, заерзал, места себе не находишь. Тебя что, собственно, не устраивает? Возможно — ораторская манера? Стиль? Совершенно напрасно! Ты просто оторвался, поотстал от жизни. Сам виноват — не следовало засиживаться так долго в своей Воркуте; два с лишним десятилетия все-таки, попробуй, не отстань!

— «Товарищ Беспощаднов, Алексей Петрович, рождения 1899 года... С молодых лет посвятил себя служению социалистическому отечеству. Выдержанный, стойкий большевик и верный товарищ — Алексей Петрович работал, не покладая рук, отдавая всю свою кипучую энергию Советской Родине. В любых обстоятельствах, на любой работе, товарищ Беспощаднов А.П. оставался непреклонным борцом, принципиальным большевиком-ленинцем. Будучи персональным пенсионером республиканского значения, тов. Беспощаднов А.П. продолжал до последнего дня активно участвовать в партийной и общественной жизни, являясь бессменным председателем ревизионной комиссии парткома ЖЭКа № 17 Октябрьского района. Тов. Беспощаднов Алексей Петрович пользовался широким доверием населения района»...

Ты не на шутку заволновался, Павел; тебе вдруг показалось: кто-то перевирает тексты, толчет воду в ступе; перепутал Грознодумова с Беспощадновым... Спи спокойно, Павел, никто не путает, разные совершенно товарищи: первый, Грознодумов — пенсионер союзного значения, второй, Беспощаднов — респу-

бликанский пенсионер; разница весьма существенная, неужели неясно? Льготы, тринадцатые оклады, путевки... закрытая столовая! Что-то ты, Павел, плохо соображать стал! Ты готов даже утверждать, что здесь, среди покойников, неуместно все это афишировать, выставлять напоказ: союзные, областные, республиканские... тебе кажется бестактностью, чуть ли не кощунством. Но почему? Почему не упомянуть, не продемонстрировать? Коль скоро все эти вещи представляли для них, для покойников — и не только для них — какой-то интерес, возможно даже — источник вдохновения, главный смысл существования?

— «Товарищ Комиссаров, Сергей Мироныч, рождения 1892 года... С раннего детства вступил на славный путь служения народу. Стойкий революционер и надежный товарищ — тов. Комиссаров, Сергей Мироныч, самоотверженно боролся за победу социализма в нашей стране. Тов. Комиссаров С.М. всегда и всюду являлся образцом большевистской выдержки и высокой принципиальности. Будучи персональным пенсионером областного значения, тов. Комиссаров С.М., уже прикованный к постели, продолжал неутомимо...»

...Грознодумовы, Беспощадновы, Комиссаровы — имена какие! Пафос эпохи! А ты? Малашкин... Жалкое свое имя — ты не удосужился своевременно поменять, не позаботился! Хорошо же ты выглядишь: не персональный пенсионер, не союзный, не республиканский, даже не областной! Не кандидат наук, не член товарищеского суда... Замухрышка, мелюзга несчастная! В какое положение ты поставил хотя бы их, товарищей своих? Как прикажешь докладывать о тебе, аттестовать тебя перед лицом Всевышнего? Кому-то придется же выступать, отчитываться за тебя! Неужели так и ляпнуть, без обиняков: мол, «Павел Малашкин, рождения тысяча девятьсот четвертого года; три судимости; две трети своего существования проболтался на дальнем севере, по тюрьмам, ссылкам, лагерям. Был в побеге, неоднократно подвергался строжайшим мерам взыскания. В годы Великой Отечественной войны каким-то образом попал на линию фронта; по случаю ранения полгода находился на лечении в во-

енном госпитале, где и был снова разоблачен и водворен в исправительно-трудовые лагеря. В 1953 году был амнистирован, однако советскими органами правосудия до конца жизни реабилитирован не был. В партии восстановлен не был. Умер отщепенцем в 1964 году, в г. Воркуте, Коми ССР»...

Что, заметался? Стыдно? Ладно уж, спи... Никто, конечно, не отважится выползть с подобными речами, хотя бы и здесь, на задворках столицы. И вообще, можешь не сомневаться: в самую последнюю минуту найдется какой-нибудь златоуст, из своих же, выскочит наперед, заведет шарманку — ты ушам своим не поверишь:

— «Товарищ Малашкин, Павел Иванович, честный труженик Заполярья, стахановец, борец за освоение советского севера... Беспартийный большевик, пламенный патриот страны Советов»...

Распишут — себя не узнаешь!

* * *

— Любопытствую, — сказал Дулькин, бросив лукавый взгляд на Агап Агапыча, — как это вы меня еще терпите? Я ведь из той же породы... И — если уж на то пошло — куда мне до Грантика!

— Вы не в счет, — Агап Агапыч едва заметно усмехнулся.

— За человека меня не считаете?

— Ванька-встанька, вот вы кто. Есть такие экземпляры: в воде не тонут, в огне не горят. С них взятки гладки.

— Хорошего же вы мнения обо мне! Павел был лучшего мнения.

— Еще бы, Павел. Он мог вознести любого, потом горько жался.

— Ванька-встанька, — Дулькин расплылся, — принимаю, доктор, принимаю.

Он мечтательно взглянул на Агап Агапыча и восторженно прибавил:

— Все-таки, доктор... Вы прелесть!

2

НАЧАЛО ДИАЛОГА

...**К** тебе, Павел, гости! Какие гости! Тебе и не снилось. Мог ли ты подумать, тогда, что когда-нибудь, сорок лет спустя — пройдут войны, смерти, лагеря — и все это всплывет, воскреснет, в стенах Московского крематория...

Кукольное шествие: они еле ползут, четверо, гуськом; физиономии постные-препостные; на рукавах — черные траурные повязки, цветы в руках. Предводительствует Дулькин, без него, конечно, не обошлось! Осанка, обрати внимание на его осанку! Можно подумать, он ведет за собой победоносную армию, возглавляет парад войск! Вся вселенная смотрит на него — Кремлевские трибуны, руководители Партии и Правительства, дипломатический корпус... Эх, Дулькин, Дулькин!

Вот они приблизились к гробу твоему, вплотную. Какие-то нелепые повороты: направо, налево-кругом; выстроились, стали — четыре мумии, что-то вроде почетного караула.

Не узнаешь, Павел? Этого, например, рыжего, у самого твоего изголовья? Рыжий пух на лысеющем черепе: рыжие кошачьи глаза — он закатил их к потолку, он всегда имел обыкновение закатывать глазки. И еще была у него привычка — выщипывать на себе рыжину, волосок за волоском. Он и сейчас не стоит на месте: правая его рука дергается, хватается за загривок, шарит где-то по затылку, ищет; выдергивает пушинки... Вспомнил? Знаменитый ваш Сережа Красницкий! Рабфакковский ваш Дон-Жуан! И первый по всему рабфаку задавака; он возомнил себя тогда вторым Коперником, перестал руку подавать. Ему потом сбили спесь во время чистки: каким-то образом обнаружилось, что Сережа смахлевал с анкетой, утаил соцпроисхождение; его с треском выгнали из комсомола. Ничего, как с гуся вода; он вынырнул снова, уже в Университете — талантище все-таки! Теперь маститый, доктор физико-

математических наук! «Эффект Красницкого», прогремел на весь мир...

Другой — с ним рядом: этого и вовсе не узнать! Был когда-то заморыш, худышка, теперь взгляни — цистерна! Он еле дышит, бедняга! Единственное, что бросалось тогда в глаза — феноменальная его прозорливость! И скуп был — непомерно... Продуктовые посылки из дому — шпик, колбаски и прочая снедь — он перепрятывал где-то за вешалкой, никто не мог добраться. Вообще — на редкость деловой был парень, ему пророчили великое будущее. Волик Лысогор! Сейчас Василий Иванович Лысогор завсектором института мировой экономики, доцент; член редколлегии; консультант Госплана.

Третий — в ногах у тебя, кто, по-твоему? Присмотрись, присмотрись хорошенечко! Бровастый, сплошная чернота: лицо, голова, уши... Глаза так и бегают под бровями, рыщут! Так и кажется — сейчас разразится, хлестнет во всю глотку... Ну? Поддубный Митька, кто же еще? Он и не изменился нисколько, такая же тумба, матерщинник такой же, только что грудь расписана во все цвета радуги, планка над планкой; он выставил их напоказ, доспехи свои — любуйтесь! Как видишь — тоже не пешка: Поддубный Дмитрий Захарыч, директор института философии, членкор, без пяти минут академик. Тебе не верится... Ну да, считался посредственностью, бездарностью даже — плохо, брат, считали! Язычок у него, если помнишь, всегда был подвешен! И в комсомольские вожди тоже не всякому удастся проскочить. А Митька Поддубный проскочил! Сейчас — деятель науки, лидирует — на философском фронте. Член Верховного Совета — прошу любить и жаловать!

Последний — совсем малютка! Розовощекий, кругленький, в кудряшках; глаза лягушачьи, усталые какие-то, невеселые; они уткнулись в твой гроб, прилипли, не оторвутся... Как можно не вспомнить глазищи эти? И кармашки под ними? Они уже тогда у него свисали, здоровушие мешки под глазами, не помнишь? Старикашка ваш, его все так и звали: «старик»! «Старика» этого сейчас вся Россия знает: Барсуков, Александр

Николаич, кинорежиссер, народный! Маленький Барсик, раб-
факовский ваш Чарли Чаплин — тогда уже любимец публики,
кумир...

Однокашники твои, Павел, старая комсомольская братва.
Теперь — маститые, доктора наук, обитатели Олимпа! Они
все-таки спустились к тебе, удостоили тебя, снизошли — ты
обязан оценить.

Ты как будто недоволен? Надулся, хмуришься... Тебя кор-
обит: помпезность эта, парадность... Какая же это помпа, поми-
луй! Старые товарищи — пришли отдать последний долг, что
особенного?

Конечно, не так просто было все это устроить, Дулькин но-
сом землю рыл! Откопать четырех этих ахламонов чего стои-
ло, адреса добыть! Всю Москву пришлось обшарить — Госу-
ниверситет, Академию наук, десяток научных институтов, Дом
ученых, Госплан — не говорят, черти! В жмурки играют! У нас
ведь чуть что — засекретить! Ищи ветра в поле... В конце кон-
цов откопал одного за другим, всю четверку. Дулькин же! Не
так легко от него отвязаться! Теперь прячется, боится на глаза
попасться Агап Агапычу — съест! А почему — съест? Почему
было не пригласить?

С этого он и начал свое оправдание, решил перейти от обо-
роны к наступлению.

— Но, Агап Агапыч... — начал он. — Почему было не при-
гласить? Старые друзья Павла, с юных лет. Изъявили готов-
ность, все, как один; уговаривать не пришлось... Как же, как же.
Малашкин... скончался, бедняга! А мы-то считали: давным-
давно расстрелян, при Ежове... Чудеса в решете! Придем, как
же, обязательно явимся; последний долг... Мировые оказались
мужики! Лысогор этот, к примеру — без него разве справи-
лись бы? Никогда в жизни! Самолет — через Лысогора, ма-
шина — у Лысогора, гражданская панихида — Лысогор! На-
жал на все педали; блат у него — свет не видал: Гос-план!
Пропали бы без него, уверяю...

Несчастный Дулькин, — Агап Агапыч набросился на него, пух и перья полетели.

— Как он смел? Подачки принимать! Клянчить! Именем Павла спекулировать! Унижаться... Перед кем унижаться? Лауреаты, заслуженные... какой ценой, спрашивается? Павел тоже мог бы, однако — пренебрег! По этапам скитался, вшей кормил. Эти где были? Подумали о Павле? Вспомнили? Где они были в тридцать седьмом? Не мешало бы проверить, что у них там за спиной... Так называемые труды, степени — они тоже даром не даются! Благодетели нашлись, явились, оказали честь Павлу... Да они мизинца его не стоят!

Ты слышишь, Павел? Твои мизинцы, оказывается — на вес золота... смешно, не правда ли?

Тебе не смешно; ты лежишь, безмолвный, строгий; не улыбаешься. Тебе как будто даже взгрустнулось... Почему?

Тебе всегда становилось не по себе, стоило тебе только подумать о них, вспомнить. Не именно о них, об этих четырех. Обо всех, кто остался там, по ту сторону. Ты частенько задумывался, в долгие воркутские ночи, замерзая на нарах своих: каково же им там, беднягам! Именно так: с жалостью, с сочувствием... Будто бы не ты, наоборот, — они там попали в переделку, выхода не найдут. — Ну, не смешно ли? Но это факт: ни капли обиды, зависти; одно сочувствие... После этого — станешь ли ты, вслед за Агап Агапычем, чернить их сейчас, в эти последние твои минуты? Злобствовать, прекать?

Какие, вообще, могут быть у тебя к ним притязания, попреки? Вместе с тобой носились они тогда, в двадцатые годы, по Московским площадям, митинговали... Дети века своего! Теперь пожинают лавры: академики, герои труда, орденосцы... лицевая сторона медали! Ну и что? Пусть себе пожинают... Что с того, что существует еще и другая, обратная сторона? Существуют Грантики, Дулькины, Малашкины... Все они, собранные здесь, у твоей могилы, Павел. Прошедшие через позор и мучу, отверженные, безымянные — невидимый лик луны... История решит, кто именно выражает свое поколение, его ин-

тересы и надежды; кто вправе представлять его, говорить его именем. Еще последнее слово не сказано; и не следует раньше времени предрекать, захватывать монополию. Быть может, объявятся еще и другие претенденты, наверняка даже объявятся. В частности, существует еще и некий Зверев, самый, пожалуй, яростный из претендентов. Он тоже ведь принадлежит своему веку, всегда шагал с ним нога в ногу, и даже — во главе его...

Где он, кстати, твой Костя, главный герой своего времени? Почему не здесь — в этот торжественный час? Как мог он упустить такой случай — лишний раз тебя поддеть, скрестить с тобой шпаги, нанести последний, решающий удар?

Если уже на то пошло — он, Костя Зверев, а не эти четверо, должен бы главенствовать здесь, у гроба твоего. Среди великолепной вашей шестерки почему-то он именно, Костя Зверев, стал душеприказчиком твоим, опекуном, соглядатаем — от самых первых, счастливых еще дней комсомольства вашего, вплоть до конечной развязки, за воротами Кирпичного... Он присосался к тебе, как пиявка, преследовал тебя по пятам, обличал тебя, спорил с тобой; в самые критические минуты твоей жизни он вдруг появлялся, пугал тебя, ловил на слове — твой двойник, твоя тень. Вот уж доподлинно две стороны одной медали... Теперь почему-то отстранился, исчез, в самый, казалось бы, ответственный момент! Быть этого не может! Он где-то здесь, перепрятывается, мистифицирует, он всегда имел обыкновение выныривать незаметно, ошарашивать тебя.

— К дьяволу! — Агап Агапыч снова разразился, он почему-то белой ненавистью возненавидел четверку эту. — К черту Поддубных этих, Лысогоров и иже с ними... Вдруг объявились: закадычные друзья покойного... И мы пахали! Гнать их в три шеи! Лакеи... торгаши от науки!

* * *

...Что с тобою, Павел? Лицо твое вдруг посинело, пошло пятнами; веки набухли, ты делаешь сверхчеловеческие усилия расплющить их, приоткрыть; помутневший, стеклянный твой взор странным образом сверкнул, засветился. Что мог ты там

узреть? Ничего же нет, пойми, тебе померещилось. Может быть, вон тот — Квазимодо этот, носатый, в роговых очках? Он повис на Лысогоре, трясется над ним, за руки хватает: что-то внушает ему, к губам тянется, чуть ли не лобызаться. Он, что ли? Но это же Кротов, неужели трудно догадаться? Присмотришься получше: голый этот череп, нос, гнутая кротовская спина... Вот он уже отвалился, оставил в покое Лысогора, вернулся к Грантику — сияющий, на седьмом небе. Грубит в ухо ему, громогласно, не соображает уже, где находится.

— Потрясающие происходят вещи, — он захлебывается от восторга. — Лысогор-то! Мой питомец, оказывается! В партию — кто Лысогора рекомендовал? Кротов! Путевку в ИКП? Кротов! Этими вот руками — он поднимает для чего-то обе ладони — собственноручно вручил... Можно сказать — крестник мой! Теперь вымахал — во! Госплан! Комитет цен! Сто процентов отдачи...

Понизив голос и все еще не сводя глаз с Лысогора, он продолжает.

— Лысогор и Павел! Что может быть нагляднее? Сиамские близнецы... А что получилось? Что такое Павел рядом с Лысогором? И, вообще, рядом с ними, со всеми четверьмя? Мыльный пузырь, банкрот... Теперь скажите: что могло толкнуть Павла на этот скользкий путь?

...Успокойся же, Павел, не пори горячку; обознался ты! Тебе покоя не дает твой Зверев — успокойся, не безумствуй... Послушай-ка лучше Кротова: он не слезает с Гранта, долбит и долбит, его теперь не остановишь; все это касается тебя непосредственно, послушай.

— Я всегда утверждал: оно родилось в рубашке, поколение Октября! Пришло на готовенькое: советская власть, партия, социализм! Им поднесли на блюдечке, пожалуйста, угощайтесь! По сути — Октябрь решил все споры, никаких больше проблем, головоломок, вам не надо задумываться. Занимайтесь делом: металл, уголь, соцгорода — от вас ничего больше не требуется! Действуйте, шагайте, все дороги открыты,

стройте здание коммунизма! Даже тридцать седьмой год — меньше всего это коснулось молодежи. Наоборот: обновление аппарата, снизу доверху; дорогу молодым! Результаты налицо: Поддубные, Лысогоры, Красницкие, Барсуковы, дружки Павла. Армия строителей коммунизма! Колыма, Воркута — они окупили себя сторицей! Стоило Павлу копыя ломать, лезть на рожон? Я спрашиваю — стоило?

Впоследствии все, как один, утверждали, что в эту именно минуту послышалось чревовещание Зверева, его знаменитая реплика. Если быть дотошным, произошло оно чуть-чуть позднее: сначала Грант, он раскачался, наконец, принялся что-то возражать Кротову, не очень убедительно. «Допустим, — начал он, — допустим на секунду, что все они, четверо, Лысогор этот, Поддубный, и, вообще, все на свете, вся Москва — сплошное сборище героев, одни только гении, сверхчеловеки... Какое это имеет отношение к Павлу, его биографии, его личности? Он, Грант, все равно никогда не согласится променять Павла — на этих докторов наук. Гора — и мышь...

Он было вдохновился и собирался подробнейшим образом развивать эту тему, как вдруг раздался сатанинский чей-то хохот — все кругом вздрогнули, отшатнулись: слыханное ли дело? В крематории, над телом покойника, кто-то позволяет себе хохотать! Смех мигом оборвался и в наступившей тишине явственно послышался негромкий чей-то голос, почти шепот: все застыли. Ты один, Павел, казался спокоен, для тебя теперь всякие сомнения отпали: Костя! Ты узнал бы его голос среди тысячной толпы, колючий его язык, ядовитые его словечки. Он цедил их сквозь зубы, слово за словом, вколачивая намертво, как штыри, в крышку гроба твоего:

...«Последний, Павел, разговор, ты чувствуешь? Можно подвести черту. И что же? — голос оборвался, затих, чтобы через минуту возникнуть снова, над головами где-то, под гулками сводами крематория, неожиданно повеселевший, торжествующий.

— Псу под хвост, — прогремел он, — весь твой печальный

баланс. Все твои страдания, доблести, терновые твои венцы — псу под хвост! Бегство из Института, погранзона, ссылка. идиотский этот трюк в этапе — тридцать лет жизни насмарку, бездарно, глупо. Выброшенные, как говорится, деньги... Кротов этот прав: банкротство, мыльный пузырь, иначе не назовешь. Однако — прошу не смешивать! Меня, Зверева, с этим кретином Кротовым. Старческий маразм — вот что такое Кротов! Плюс амбиция... От этих старых большевиков ничего больше не осталось, одни слюнявые восторги. «Октябрь все решил!», «Поколенья Октября!», «Здание коммунизма», «Все дороги открыты»... Слушать тошно — они дальше носа своего не видят, эти Кротовы».

...«Впрочем, Павел, ты недалеко от них ушел, сознайся. Тебе ведь тоже мерещились — райские кущи, благодать всякая, триумфальное шествие рода человеческого в царство Коммуны... Это-то тебя и погубило, согласишься! Теперь, надеюсь, прозрел? Убедился на собственной шкуре? Грызня — повсеместная, ежечасная, ни минуты передышки! Борьба за каждый дюйм, за место под солнцем, за преимущества, за господство... Кто-то — пожинай плоды, кто-то — расплачивайся головой; кому-то — почести, слава, благодеяния, другим — цепи, лагеря, баланда. Кто-то — у вершины здания, дух захватывает; другие — у подножия, и еще глубже: навоз, удобрения... Так не будь же вороной, соображай, что к чему. Ловчи, работай локтями: где можно — вырви, надо — уступи; лизни, обойди с черного хода; не дразни гусей, терпи, выжидай; протискивайся потихоньку, пролезай в щелочку, пробивайся... Думаешь — Красницкому легко досталось? Лысогору? Напрасно ты думаешь! Петляли, как зайцы, гнулись, в три погибели! Красницкий — тот, вообще, висел уже на волоске, еле ноги унес. Кому-то вздумалось подставить ему ножку, в самый ответственный момент: он как раз защищал свою докторскую, тьма народу, колоссальный успех, триумф! И вдруг — какие-то разоблачения столетней давности: Красницкий — доносчик! Красницкий — провокатор! В тридцать седьмом году — людей губил, сотоварищей

своих! Красницкому не место в советской науке! Нашлись какие-то сомнительные свидетели... Само собою — он вышел с честью, отбил. Еще бы!»

...«Пробиваться надо, каждому предоставлена возможность пробиться. И ты, Павел, у тебя была возможность выбора: вспомни первый наш разговор, сорок лет назад, почти полвека. Я предупреждал тебя, вдальблывал; ты слышать не хотел. Ты сам выбрал свой жребий — сойти на нет, погибнуть, ни за грош... Пеняй же на себя, никого, кроме себя, не вини!

— Я кончил. Спасибо за внимание!»

Он исчез, молниеносно улетучился, оставив по себе дуновение холодной жизни.

Обычная зверевская манера: появиться врасплох, инкогнито; наброситься, оглушить, оставить тебя в дураках и — ретироваться! Последнее слово — обязательно за ним! Он всегда ухитрялся прижать тебя, подмять, припереть к стенке. Единственный только раз, на Кирпичном, он дрогнул: ты получил возможность торжествовать победу. Но это была уже не победа; какое же, прости Господи, торжество? Сотни скошенных голов... У него тогда просто нервы дрогнули, не выдержали. Ты было понадеялся — кончился Зверев, сошел со сцены. Нет, оказывается, воспрянул, снова на коне!

Почему они все умолкли, друзья твои? Скисло, носы повесили... Даже этот Аника-воин, неугомонный Агап Агапыч! Они ждут твоей отповеди, Павел, все взоры обращены к тебе... Отвечай же, не увиливай!

* * *

Он знал слабинку твою, Костя Зверев, знал уязвимое твое место! Он знал магическое против тебя словечко: марксизм-ленинизм! Ты был гол и безоружен перед лицом бронированного этого кулака, ты ведь сам был замешан на этих же дрожжах: бытие и сознание, базис и надстройки, свобода — познанная необходимость... Что мог ты возразить, противопоставить? Детский твой лепет о Ленине, о заветах Ильича? Звереву ничего не стоило высмеять тебя, доказать как дважды два че-

тыре, что марксист из тебя липовый и что самого Ленина ты трактуешь не по-ленински. С этого, собственно, и начался ваш диалог, тогда, в достопамятный январский день далекого 1924 года, день похорон Ильича.

Ты сидел, стиснувши руками голову, не в состоянии ни о чем другом думать, рассуждать. Костя Зверев слушал твои излияния, изредка роняя незначительные реплики и время от времени незаметным образом окатывая тебя ушатом ледяной воды. Был всего только январь 1924 года, вы не могли еще заглянуть слишком далеко вперед. Во всяком случае, никто еще не мог предвидеть, как все это будет выглядеть в натуре: дальнейший размах революции, победоносное шествие социализма. Тем не менее тебя мучили какие-то мрачные предчувствия.

— Без Ленина, — пробормотал ты про себя.

Зверев поморщился, на лице у него промелькнула загадочная гримаса; он тут же смахнул ее, ты не успел заметить.

— Невозможно представить себе, — повторил ты, охваченный волнением, — Россия без Ленина...

Он осторожно возразил.

— Когда-нибудь это должно же было случиться...

Ты вспыхнул.

— Как ты можешь, Костя?

— Есть ЦК партии, — отпарировал он. — Соратники Его, ученики... Ты клятву слышал?

— Потрясающая клятва, — мрачно согласился ты и, снова впадая в транс, простонал, — но мы, мы с тобой, Костя!

Ты не договорил. Восклицание твое должно было, очевидно, означать: клятва клятвой, но мы с тобой, мы также не можем оставаться зрителями, сидеть, сложа руки. Тебе не терпелось предпринять что-то немедленно, у всех на глазах; совершить нечто экстравагантное, из ряда вон выходящее. Костя помалкивал.

— Мы? — переспросил он, наконец. — Мы что? Студиозусы... Студенты первого курса юридического факультета, вот мы кто.

Встретив твой безумный взгляд, он поспешил прибавить.

— Ленин, между прочим, тоже ведь был в свое время студентом. Кстати сказать — юристом. Он не считал зазорным.

— Что ты хочешь, Костя, сказать? — Ты с трудом сдерживал себя; его рассудительный тон становился непереносимым. Он продолжал, как ни в чем не бывало.

— Напоминаю выступление Ленина на съезде Комсомола: учиться, учиться, еще раз учиться... Надеюсь, ты не собираешься бросать юрфак? Податься, скажем, на производство? Во флот? Еще что-нибудь в этом роде...

— Послушай, Костя! — Ты сорвался с места, кинулся его тормошить. — Прекрати ты, ради Бога, эту игру! Подобные минуты — ты прекрасно отдаешь себе отчет — раз в столетье... Выкладывай, что у тебя на уме?

Он еще покривлялся, походил вокруг да около, потом все-таки поддался, раскрыл карты. Это была развернутая программа действий, она ошеломила тебя полнейшей своей неожиданностью.

— Ты прав, — согласился он с тобой, — мы действительно подошли к какому-то рубежу. Рано еще строить догадки, во что все это обернется; ясно одно — период революционной романтики кончился, возврата нет. Заветы Ильича и все такое прочее — все это, конечно, остается, без этого не обойтись. Суть однако не в этом, центр тяжести переносится в другую совершенно плоскость: люди! люди дела! миллионы деловых людей! Ленин ценил прежде всего деловитость, он был далек от романтики. Смысл НЭП'а, — им, Лениным, придуманного — в чем? Деятельность! Частная инициатива! Материальный интерес! Действуй, раскручивайся на всю катушку, жми... тебе воздастся по заслугам! Недоучки выходят из моды, учти... Инженеры, финансисты, юристы — вот кто будет править миром! Не надо пугаться слова «карьера», «карьерист»... Да! Делай карьеру, честь тебе и слава, государство поощряет.

Ты слушал, затаив дыхание. Под конец он окончательно сразил тебя.

— Если хочешь знать, — сказал он, — Ленин вовремя

ушел... Старые октябрьские святыни — они уже не работают; в чем-то они становятся уже, прямо скажем, помехой...

Заметив, должно быть, выражение ужаса в твоих глазах, он успокоительно заключил:

— Диалектика, брат! Деваться некуда.

Ты бежал без оглядки. Ты не зашел даже проститься с ним, когда, спустя какую-нибудь недельку, раздобыв путевку Комсомола, ты распрощался со своим факультетом и отправился в тьму-таракань куда-то, на дальневосточную погранзаставу, с оружием в руках охранять безопасность советских границ. Ничего лучше ты не смог придумать: граница! Единственное достойное возражение Косте! Ответ на отвратительную его программу, с ее карьерами, дипломами, частными интересами... Неправда все это, клевета на Ленина. Долой Зверевых! Да здравствует ленинизм!

Ты плохо, Павел, рассчитал. До тебя не дошло, что короткая эта ваша схватка с Костей Зверевым — всего лишь начало диалога! Что Зверев вообще тут ни при чем: знамение, символ, вот что такое Зверев! Предостережение тебе, твой злой рок... Вы с ним скованы отныне единой цепью и никуда тебе от него не уйти. Костя Зверев — это надолго, на всю жизнь.

Он преследовал тебя неотступно, как гончая; ни на минуту не выпускал тебя из поля зрения, контролировал каждый твой шаг, наставлял на путь истинный. В добровольном твоём изгнании — на погранзаставе — голос Кости постоянно гудел в твоих ушах, глумился над тобой, вышучивал тебя: «Тебе мерещатся, Павел, Октябри, трибуны, громовые раскаты... Чапаевы. Левенсоны... пожар Мировой Коммуны... Ты даже позицию выбрал соответствующую, поближе к театру военных действий, у самой границы — все предусмотрено заранее, ничего не скажешь! Очнись, младенец, оглянись! Присмотрись к начальничкам своим, командирам, политработникам, героям нашим, пограничникам. Выведай, чем люди живы сегодня? Чины, разряды, пенсии... местечки потеплей, — их ничто больше не волнует, поверь! У них семьи, дети, жены... Они втихомолку подсчитывают выслугу лет

и в ус не дуют, все это великолепно уживается у них с коммунизмом. Попробуй, потягайся с ними, тебя в порошок сотрут. Так не будь же ты белой вороной; впрягайся в общую со всеми упряжку, прокладывая себе дорогу в жизнь! Еще не все для тебя потеряно. Совсем не обязательно — институт, наука; можно в обход... Погранзастава — тоже недурно придумано... Главное — не отставать, быть впереди других! Только впереди! С твоими способностями — у тебя верные шансы, стоит только захотеть. Помни, плох тот солдат, что не стремится в генералы. И не валяй дурака».

Как-то он ухитрился теперь действовать на тебя на расстоянии; ты не мог отвязаться, он был постоянно рядом, внушал тебе, навязывал свой образ мышления. Положа руку на сердце, ты должен был признать, что в чем-то очень существенном Костя оказался прав; что собственная твоя карта бита и что в этой своей шинели и дурацкой фуражке с околышем ты выглядишь, действительно, посмешищем. Все они, кругом, взирают на тебя с опаской, и не без оснований: какой из тебя, на самом-то деле, воин, да еще пограничник? Ты даже водку как следует пить не научился.

Будни, серые, тусклые будни, они навалились на тебя, стали пригибать к земле. День за днем, месяц за месяцем, без малейшего просвета, без каких бы то ни было шансов вырваться из тупика. В конце концов, тебя осенило: Япония! Ты засел за Японию: язык, литература, этнография, экономика, политика — обширнейшая программа! Собственно, еще требуется доказать, что именно за всем этим крылось и крылось ли вообще; ты не собирался ни с кем делиться и кого бы то ни было посвящать. Тем не менее слушок пополз: парень свихнулся, не прочь драпануть в Японию. Какие-то появились у него сумашедшие фантазии: связь с КПЯ, подпольная работа в странах капитала, Америка, участие в мировом коммунистическом движении. В России ему будто бы и делать уже нечего... Участь твоя решила сама собою, тебе не пришлось голову ломать. В Москву ты возвратился с опаленными крылышками и сильно подмоченной репутацией.

Вообще чудо — что в Москву; спасибо Косте, как-то он приложил свою сильную руку. К этому времени он стал уже набирать мощь: декан факультета (еще будучи студентом), член бюро райкома, депутат Моссовета, знакомство, связи. По поводу дальневосточных твоих злоключений он не стал особенно допытываться, выспрашивать; впечатление было такое, что он был отлично на этот счет осведомлен. Он только взглянул на тебя с любопытством и коротко сказал:

— Один ноль в мою пользу. Ну как? Умнее будем?

Он неузнаваемо за это время изменился; было просто не постижимо, как может человек за такое, по сути, короткое время до такой степени переменить облик свой, даже внешне. Он пополнил, стал как будто выше ростом; голос переменялся, походка, манеры; уверенность появилась; шикарно стал одеваться. Ты не в состоянии был скрыть свое замешательство.

— Что не нравится? — он попытался взять старый панибратский тон. — Не та сейчас Москва, увидишь сам... Перестраиваться приходится, притираться...

Он помог тебе стать на ноги, восстановиться в институте, работу для себя подыскать — он стал, в некотором роде, твоим шефом. Тем более трудно было представить себе, что ему именно, Косте Звереву, предназначено было вскоре стать твоим палачом, душить тебя, собственными своими руками.

* * *

Слишком сильно сказано: душить. В 1929-ом году никто никого еще как будто и не душил, ребра не ломал, челюсти не вывихивал, и, вообще, мерами физического воздействия вроде бы еще не пахло. Всё делалось еще более или менее уважительно, пристойно: троцкистов развозили по ссылкам в купейных вагонах, чаем поили, называли, по старинке, на «вы». Они блаженствовали по изоляторам своим, нос задирали, права какие-то качали; тень лагерной зоны над ними еще не нависала. Были еще золотые времена Менжинского-Ягоды, Ежовы рукавицы! еще только предстояли, маячили где-то впереди. Не было, в общем-то, никаких еще оснований Бога гневить, роптать, на стенку лезть.

И вообще, Павел: если поднять, как это принято говорить, старые твои «дела», приходишь к печальному выводу: никто, по сути, перед тобой не в долгу, сам ты накликал на себя все свои беды. С упрямством, достойным лучшего применения, ты рыл и рыл себе могилу, шаг за шагом, изо дня в день, начиная с памятного января 1924 года вплоть до завершения твоего жизненного пути. Никто не гнал тебя на эту погранзаставу, не тащил силой — ты сам, по дурости своей. Японская эта авантюра, если, конечно, принимать ее сколько-нибудь всерьез: ну, по чистой совести, — почему вдруг Япония? Какой безумец, если не ты, мог подсказать тебе эту дикую затею? КПЯ, партийное подполье, игра в мировую Революцию... Самая, однако, рискованная — беумнейшая из безумных — последующая твоя выходка! Тут на Зверева никак уже не свалишь, не скажешь: Зверев толкнул тебя, тащил тебя на аркане, подзуживал — «сдай партбилет свой», «бросай к черту», «не раздумывай»! Зверев не мог настраивать тебя подобным образом, наоборот: всеми силами старался он вовлечь тебя в партийную деятельность, преодолеть твою инертность, наставить на путь истинный. И если получилось шиворот-навыворот, опять-таки, — твоя вина.

Каждый твой поступок оборачивался в конечном счете против тебя же, свидетельствовал против тебя, обличал тебя. Следствию не надо было ничего против тебя придумывать, изобретать; ты сам все делал, услужливо подсовывая им готовенький материалец, против себя же. Ты работал, по сути, на них — им оставалось только «оформить», подвести идеологическую базу и сунуть под нос тебе в виде законченного, юридически обоснованного обвинительного заключения.

Главным против тебя козырем у следователя был именно последний твой трюк, загадочно именуемый в следственных документах то «троцкистской вылазкой», то «контрреволюционным выпадом против партии», без малейших, однако, намеков на то, что именно скрывается за этими твоими вылазками и выпадами. Во всяком случае, никакими ссылками на Костю Зверева тебе — в этом решающем, центральном пункте — было не

прикрыться, хотя без Кости тут, конечно, не обошлось, — об этом также нетрудно догадаться.

Следует отметить, что вся эта история так и осталась до конца невыясненной и представляет собой белое пятно в твоей биографии, Павел. Начать хотя бы с того обстоятельства, что ты довольно долго оставался глух и нем ко всей этой заварухе с троцкистской оппозицией, и если бы не Костя, тебя, возможно, и вовсе миновала бы чаша сия. Биографу твоего обстоятельство это не может не поставить в тупик: как могло случиться, что в самое, казалось бы, неподходящее время — кругом всё рушится, бурлит, партия трещит по швам, раскалывается, в воздухе носятся призраки неминуемой катастрофы — в это-то грозное время на Павла Малашкина нападает апатия, он зарывается в свои тетради и не подает никаких признаков жизни... Это с твоим-то, Павел, темпераментом, с неугомонностью, горячностью твоей — чем объяснить? Возможно — ты успел уже выдохнуться на погранзаставе своей, поостыть раньше времени? Может быть, тебя в чем-то не устраивали троцкисты, их идеология, политическая их платформа, люди, наконец. У тебя, быть может, вообще пропал вкус к этим вещам, тебя заморозили дебри науки, глубины абстрактного мышления? Ночи напролет просиживал ты над историей римского права, строил какие-то догадки, сопоставлял, перебрасывал мосты через века... Эх, Павел! Тебе, возможно, на роду написано было Америки новые открывать, тайны мироздания разгадывать, приумножить славу отечественной науки... А ты? Чего ты достиг?

Как бы там ни было, получилось так, что в самые жаркие времена внутривластных баталий ты замкнулся, как улитка, носа не высовывал, и это кое-кого наводило на размышления, в частности, — Костю Зверева. Он стал внимательнейшим образом к тебе присматриваться, исподтишка, что-то наматывая на ус; и здесь возникает еще одна загадка, шарада номер два: Костя вдруг замышляет поселить тебя с собой вместе, у себя в комнате. Ты давно уже околачивался, как бездомный пес, по чужим углам, ни кола ни двора, и вот — Костя вдруг расшедрился, рас-

пахнул перед тобой двери дома своего: живи, не мыкайся. Тебе не следовало обольщаться, ты обязан был помнить, что такое Костя Зверев: он ничего не предпримет без умысла, тем более теперь, в такое беспокойное время. Он был к этому времени уже в зените: замсекретаря по пропаганде, в его руках сосредоточено было руководство кампанией не только в масштабе института, но и по району. Комната его превратилась в некую штабквартиру: звонки, курьеры, сутолока — днем и ночью, распределение ролей, кому где выступать, против кого, тексты резолюций, шпаргалки всевозможные... Ты попал за кулисы в политическую кухню, где все эти острые блюда стряпались, смаковались и пускались в оборот. Закулисная эта возня отталкивала тебя и пугала, тебя временами охватывало чувство физического отвращения, как если бы тебя поместили на бойню и все происходило бы на глазах у тебя — резня, и рёв, и запах крови... Тебе следовало как можно скорее ноги унести, убраться, пока не поздно. Костя, однако, вцепился в тебя, не выпускал из рук, для чего-то ты ему позарез понадобился, именно сейчас, в это суматошное время.

Не надо было быть семи пядей во лбу, чтобы как-то суметь сообразить, что охота, в данном случае, ведется отнюдь не за тобой, ты всего лишь приманка, наживка, главная же цель — она, Ксения. Еще тогда, на знаменитом этом факультетском партсобрании, когда они с таким азартом и ожесточением принялись пропесочивать бедную Ксению, ты имел возможность проникнуть в тайные Костины замыслы, убедиться... Маневры его потерпели тогда неудачу, без особых, впрочем, потерь: расплачивалась за все Ксения, дорогой ценой.

Сейчас рана эта успела у нее зарубцеваться, и шансы у Кости заметно, видимо, повысились, по крайней мере — по собственным его подсчетам. Он знал уже наверняка, что дни Гришина сочтены, не сегодня-завтра его упекут, и над отношениями их с Ксенией, и без того основательно пошатнувшимися, можно будет, наконец, поставить крест. Косте важно было поскорее утвердить свой контроль над Ксенией, расставить вокруг нее

свои сети, и твое с ней содружество показалось ему как нельзя более кстати. Он трезво учел ситуацию: неустроенность твою, твои мытарства, скитания по чужим углам, главное же — намечающееся сближение твое с Ксенией. Он не преминул воспользоваться, подкатился к вам: «Живите, детки мои, располагайтесь как дома. Хозяина, считайте, нету, он готов смыться по первому вашему требованию, только намекните. Живите и размножайтесь...» Как соперника, конкурента своего, он, само собой, не ставил тебя ни во что; он прекрасно понимал, что ты не собираешься становиться ему поперек дороги. Этого, однако, ему показалось недостаточно. Потому что во всей этой романтической истории обнаружилась еще и немаловажная политическая подоплека: дабы ускорить развязку и окончательно вбить клин между Ксенией и ее благоверным — Косте Звереву понадобилось подобраться незаметно к самому Гришину, развенчать его и поскорее убрать с пути. Ты не мог, конечно, ни на минуту заподозрить, что у Кости вызревают в отношении тебя столь далеко идущие планы: использовать тебя в роли могильщика против Гришина. И когда Костя решил, наконец, что плод созрел и наступило время действовать, ты был застигнут врасплох, обухом по голове. Наподобие того, как это случилось тогда, в январские дни 1924 года. Ты поначалу вообще не постигал, куда он метит и о чем, собственно, идет речь. Костя же, наоборот, действовал на этот раз куда решительнее, со знанием дела; он стал за эти несколько лет намного уверенней, ловчее.

— Ты должен, Павел, усвоить, — начал он издали, — что означает в нынешней обстановке внутрипартийная борьба... она неизбежно перерастает в борьбу за руководство государством, борьбу за власть. Она уже переросла... Смешно было бы в подобных условиях соблюдать какие-то церемонии. Ты не съешь — тебя съедят! Ставка на уничтожение, не приходится считаться. Короче говоря — имеется решение ЦК партии — ликвидация троцкистского подполья...

Он испытующе следил за выражением твоего лица. Ты слушал спокойно, ни на минуту не заподозрив, что все это может

иметь какое-то, хотя бы самое отдаленное, отношение к тебе. Он продолжал:

— Тебе известно постановление пятнадцатого съезда партии: троцкизм официально объявлен антипартийным, контрреволюционным течением. Это вовсе не означает, что на этом ставится точка, партия отстраняется, передает троцкизм на откуп аппарату НКВД. В советском обществе размежевание партийных и государственных органов вообще фикция. Тем более — в вопросах политической борьбы. Партия не собирается в данном случае переуступить кому бы то ни было свои prerogatives...

Он продолжал наблюдать за твоим поведением. Ты все еще хранил молчание, хотя последние костыли фразы заделали тебя за живое. Тебя начинала захватывать чисто правовая сторона вопроса: структура советского государства; партийный и государственный аппарат — их взаимоотношение; советское законодательство — и древнее право римлян... параллели, ассоциации... В тебе проснулся правовед, на лице у тебя появились признаки увлечения, подобие улыбки. Зверев, должно быть, истолковал это по-своему, он заторопился:

— Ликвидация троцкистского подполья... Надеюсь, ты представляешь себе, чем это пахнет? Охота на зубров... Вылавливание всех до одного! Само собой понятно, без мобилизации партийных кадров не обойтись; НКВД — своими лишь силами — не справится.

Помедлив, он прибавил скороговоркой:

— Ближе к делу... нужны люди! Я за тебя поручился. Головой поручился! От тебя ничего не требуется: установить контакт с подпольными их ячейками, войти в доверие! Сущие пустяки... конспирация у них детская!

Заметив, как ты побледнел, он спохватился:

— Сугубо партийное поручение, пойми... Тебе не придется никуда ходить, докладывать... Будешь иметь дело со мной.

Ты прохрипел не своим голосом:

— О чем ты говоришь, Костя? Ты отдаешь себе отчет, на что толкаешь?..

— Тысячи коммунистов, — возразил он, — никто не считает для себя зазорным, наоборот, доверие партии... Для тебя, Павел, особенно важно, учти! За тобой, все-таки, порядочный хвост, погранслужба твоя... когда-нибудь припомнят, можешь не сомневаться. Тебе представляется возможность — смыть пятно...

Вот тогда-то ты и выкинул этот номер, провозглашенный в документах следствия «контрреволюционным выпадом», «троцкистской вылазкой против партии», «ударом из-за угла»... Ты бросился бежать, душу свою спасать, еще толком не зная, куда бежишь, зачем. У тебя не было еще никаких планов, намерений. Сознание твое было затуманено, в висках стучало, ты впал в состояние невменяемости. Ты и не заметил, как очутился в парткоме Института; решение созрело здесь же, молниеносно. ты не стал ничего объяснять, расписывать — это-то, очевидно, и вызвало у них такой переполох. Человек прибежал сам не свой, на нем лица нет, трясется, еле дышит... никаких разговоров, жалоб, заявлений, он языком едва ворочает. Бросил на стол партийный билет — и бежать!

Само собою разумеется, на этом дело не кончилось: вызовы, опросы, уговоры, уламывания, даже угрозы... Это тоже было. Ты, однако, стоял на своем, проявил неожиданную твердость. Самое пикантное: тебя под конец поручили Косте Звереву. Как члену бюро Райкома, ему поручено было заняться тобой, поработать над тобой, договориться, выявить, доложить... Скандал все-таки, недосмотр: не партком исключил, человек сам додумался...

Неизвестно, как он там выкручивался; единственное, что дошло до тебя, — Костина записка. Коротенькая, без подписи, исковерканным почерком — обыкновенная анонимка: «Ты сам себе выносишь приговор. Опомнись, еще не поздно.» Ты был уверен: с Костей на этот раз покончено, раз и навсегда! Никогда больше он не встретится на твоём пути...

Ты просчитался, Павел, и на этот раз — жестоко просчитал-

ся! Прошли какие-нибудь считанные недели — и вы с ним очутились снова рядышком, два недруга, роковым каким-то образом спаянные воедино. Вас на этот раз разделял массивный письменный стол старшего следователя НКВД.

* * *

В протоколах следствия процедура эта именовалась «Очная ставка арестованного Малашкина П.И. с коммунистом Зверевым Константином Андреевичем, деканом юридического факультета Московского института им. Плеханова»... На деле оно выглядело по-другому: спортплощадка! Два здоровущих битюга гоняют по полю футбольный мячик: пинают его, перегоняют из конца в конец, передают друг дружке. Бухают в него чем попало — копытами своими, головою, если придется — задом; подбрасывают, пускают свечкой вверх под самые облака, чтобы затем, при падении его, вонзиться в бока ему, загнать в дуплет... Мяч этот был ты, Павел Малашкин; битюги — Костя Зверев и следователь НКВД, вчерашние твои единовверцы и товарищи. Каким-то образом оказалось, что и этот второй, следователь твой, был ваш же студент-заочник юридического факультета. Члены одной с тобой семьи — это-то обстоятельство больше всего тебя и подкосило, сковало по рукам и ногам. Ты никак не мог усвоить, что попал во вражеское кольцо, тебя будут ловить, охотиться за тобой, подножки подставлять: у каждого из них за спиною бич, в руках — аркан, гляди в оба, не попадайся. Что-то в тебе вдруг надломилось, дрогнуло, с первой же минуты; ком подкатил к горлу, вот-вот прорвется, вырвется наружу: «Братцы, да что же это... Топтать друг друга, терзать... Единоутробные же, кровные братья. Костя, вспомни рабфак наш, комсомол... Ты ли это, Костя?» Ты еле стерпел, зажал в себе этот вопль. Тебе раздирало душу, хотелось выть, реветь, рвать на себе волосы.

Произошло какое-то замешательство; Костя побледнел, выронил папиросу; нагнувшись, он бесконечно долго рыскал по полу, шарил по углам. Следователь, потупившись, безмолвно

рылся в бумажках, без толку перекладывая одни и те же папки с места на место.

— Чего мы тянем! — во всю глотку заорал Костя, внезапно вскочив на ноги и рывком бросаясь к столу следователя. — Что мы в бирюльки играть собираемся?

Он явно чувствовал себя здесь хозяином положения; не следователь — Костя Зверев почему-то играл здесь первую скрипку, это было очевидно. Следователь послушно кинулся заполнять твою анкету.

Вопросы градом посыпались на тебя, не давая опомниться: фамилия, имя, отчество, год рождения, национальность, родители, образование, состоял ли в партии, в других партиях; исключался ли, когда, за что; родственники за границей... знание иностранных языков; участие в оппозиционных группировках... судимость... Ты не поспевал, сбивался, мямлил: все это плыло мимо тебя, как в густом тумане. Изнывая от нетерпения и какого-то жгучего, мучительного любопытства, ты ждал, не мог дождаться последнего взмаха бича: Костиного показания.

Это было не свидетельское показание и никакая не очная ставка: скорее всего — работа патологоанатома. Засучив рукава, Костя с ловкостью необыкновенной вспарывал тебе брюхо, вываливал оттуда всякую требуху — печенки, селезенки, горы вспученных кишок, — перематывал с руки на руку, жонглировал, любовался; никаких признаков брезгливости, отвращения. Заключение свое он зачитывал не сводя с тебя глаз, разглядывая тебя с нескрываемым интересом, то скользясь к самому твоему лицу, то чуточку отклоняясь; все это он проделывал так, словно бы перед ним, на лабораторном столе, на самом деле распростерто было бездыханное тело подопытного животного. От первоначального его замешательства не осталось и следа.

...«Троцкизм в действии — вот что такое Павел Малашкин! — Он произносил свою речь внятными, твердым голосом, с некоторым даже оттенком пафоса, вовсе уже неуместным в этом громадном пустом кабинете. — Всегда в отрыве от коллектива,

всегда — вопреки воле коллектива, никогда не в ногу с партией, таков Павел Малашкин»...

...«Десятый съезд партии: Ленин провозглашает новую экономическую политику... Весь народ, в едином порыве, подхватывает волю вождя, все — кроме Малашкина! Малашкина, оказывается, не устраивает; он места себе не находит, скулит, ноет... В конце концов, на свет Божий вытаскивается проект Малашкинский: организация комсомольских коммун... Он носится, как угорелый, с этим своим прожектором, рекламирует его, вербует, проходу никому не дает»...

...«1924 год, дни всенародного траура. Страна становится на ленинскую трудовую вахту — где Малашкин? Малашкина нет, он мчится на Дальний Восток... Ему тесно, видите ли, скучно ему изо дня в день, с партией вместе, возводить фундамент социализма. Его влечет туда, поближе к рубежам старого мира. Ему не терпится начать все сызнова, лавры Троцкого не дают ему покоя»...

...«Год 1927-ой. Партия мобилизует свои силы на последний и решительный бой против капитулянтов, перерожденцев, перебежчиков... Как ведет себя Павел Малашкин? Дни и ночи пропадает он в библиотечных залах, брюки просиживает, штудирует... Ему, оказывается, не до партии сейчас, он воспылил вдруг страстной любовью к науке!.. Впрочем — не одна наука; именно в эту знаменательную пору Малашкин погружается в заботы личного плана, он как-то ухитряется совместить... Об этом, однако, история умалчивает»...

...«И вот — заключительный аккорд: Малашкин бросает наглый вызов партии! Партия не нужна ему больше! Она в тягость ему, сковывает его; он торопится сбросить с себя это ненавистное иго! В одиночку, ползком... У него не хватает духу выступить с открытым забралом, он предпочитает втихомолку улизнуть, выскользнуть из рук... Скрытый троцкист — вот кто такой Павел Малашкин!»

Он живого места на тебе не оставил: действительно — футбольный мяч, мятый-перемятый, треснувший по швам... Лоскут

рвани, ничего больше! Главное — тебе нечего было ему противопоставить, возразить. Ты безмолвствовал, в бессилии уронив голову, на которую сыпались и сыпались разящие костины удары; внутри тебя все было разворочено, перевернуто вверх дном. Обличителю твоему удалось как-то сбить тебя с толку, подавить всякое стремление к сопротивлению, лишить тебя последних следов веры в себя, в человеческую свою ценность. Руки опустились у тебя: конец! нет больше Павла Малашкина! Энтузиаста, мечтателя, затейника, готового лечь костями... Всегда готового отдать душу свою за други своя. Всего этого в природе не было, миф, бумажный кораблик! Никаких не было помыслов, идей; был всего-навсего выскочка, отщепенец, ублюдок... Вдобавок во всему — трусишка: он не отважился даже выступить во всеоружии, как подобает воину, прокричать во весь голос: «Не могу больше! Не хочу! Жить в унисон со Зверевым, притворяться, лгать, плясать под его дудку! Дышать стало нечем, пустите!» Он предпочитает ретироваться втихую, не хлопать дверью...

Не проронив ни слова, ты ждал понуро — чем это все кончится. Следователь молча изучал тебя; он видел тебя насквозь: смятение твое, слабость и безволие. Ему оставалось только размахнуться, нанести последний, сокрушающий удар. Тебе не пришлось долго томиться — он даже размахиваться особенно не стал: вяло, чуть-чуть жалостливо, он произнес:

— Ну-с, Малашкин... А теперь — давайте честно признаваться: кем вы были завербованы в японскую разведку?

Тебя бросило в дрожь, ты потерял способность взвешивать рассуждать. Ринувшись на Зверева, ты, вне себя от ярости, завопил:

— Он, он вербовал меня! В доносчики вербовал! Почему ты молчишь, говори!

Ты не заметил, как выросли, по обе стороны от тебя, два охранника; не слышал, как ловили они твои локти, заводили за спину руки. Ты рвался изо всех сил к Косте, продолжая кричать в иступлении:

— Каин! Ради чего все это задумано, скажи!

Тебя оттаскивали к дверям, а ты — ты не мог уже остановиться, в омраченном твоём сознании вспыхивали молнии. Не помня себя — ты выкрикнул:

— Я знаю — чего ради... Из-за Ксении все это, негодяй!

Ты опомнился, осекся, но было уже поздно: на тебя обрушились раскаты грома, следовательский кабинет ходуном пошел. Костя содрогался от смеха, он хватался за стол, за спинки стульев, за собственный живот.

— О-хо-хо, не могу... Герой-любовник! Отелло! Хо-хо-хо...

Уже в дверях, подталкиваемый конвоирами и не смея обернуться, взглянуть в Костино лицо, ты услышал:

— Успокойся, дурачок... Спать с ней никто не собирается. Чересчур уж сублильна.

...Ты возвращался с допроса истерзанный, опозоренный, растленный. Ксения! Как мог повернуться у тебя язык! Как можно вообще думать сейчас о подобных вещах, о себе, о Косте Звереве, даже о ней, о Ксении! Они утратили уже всякий смысл — судьбы ваши, судьба каждого из вас, взятая порознь... Совершается нечто непоправимое, оно касается всех вас вкупе; оно прокатится, возможно, по вашим головам, необъятное, грозное, наподобие геологических сдвигов. Оно совершилось сейчас, только что у тебя на глазах — ты живой свидетель. Об этом именно должно трубить в первую очередь, бить в набат, поднимать тревогу; может быть, еще не поздно. Не разменивайся же ты на мелочи, не крохоборствуй. Ни при чем тут драгоценная твоя Ксения. Тебя угораздило родиться в этот век — будь же достоин своего времени. Приложи ухо, вслушайся: ревет девятый вал, он все сметает на своем пути. На карту ставится не жизнь твоя — пустяки; под сомнение берется прошлое твое, настоящее, будущее. И ты не в силах ничего сделать, спасти. Единственное, что ты можешь: сберечь главное свое достояние — человеческое твое звание, достоинство твое. Не роняй же себя, не марайся. Не продавай черту душу...

* * *

...Вы там, в крематории, что стряслось? Куда девался почет-

ный караул? Твои эти академики, Дулькин, где они, куда смотришь?

Дулькин настиг их уже у выхода, всю четверку. Впереди, сверкая орденскими своими планками, философ этот, Поддубный; он поминутно прижимается ухом к циферблату, хмурится, мрачно вздымает косматые свои брови — намек на то, что его ограбили, отняли у него драгоценнейшее рабочее время. Позади других, упираясь и отставая, за каждого встречного цепляясь лягушечьими своими глазами, бесподобный этот малыш, советский наш Чаплин, Александр Николаевич Барсуков; ему, видимо, страсть как неловко уходить, расставаться с покойником.

Поймав за руку покровителя своего, Лысогора, Дулькин повис на нем, оправдываться стал, прощения просить. Действительно, они безбожно затянули эту процедуру; очередь, однанадцатая очередь, кто мог предположить? Главное — нескончаемая эта говорильня, надгробные речи, все рвутся выступить, слезы лить, нашли место ораторствовать... Хоть бы регламент какой-нибудь установили, ограничили бы число ораторов, что ли? Конечно, он не смеет задерживать высоких гостей, он прекрасно понимает: каждая минута у них на учете, она принадлежит государству, советской науке...

Лысогор с трудом от него отделяется, он мчится догонять своих коллег. Поддубный встречает его в штывки.

— Вот он, виновник торжества, — Поддубный свирепо вращает белками глаз, — благодетель нашелся: самолеты добывать, вертолеты... Карнавалы устраивать...

— Никто же никого не насилывал, — голос у Лысогора подрагивает, — Ваша добрая воля...

— Вот-вот, добрая воля. Кто-нибудь оценил? Спасибо сказал?

— Неблагодарные свиньи! — в разговор вмешивается Красницкий, физик; вид у него подавленный, удрученный. — Как-то вдруг разоблачения, сенсации... Я хотел бы знать, откуда взялся Зверев?

— Глупости! — Лысогор подхватывает Красницкого под руку.

— Вам померещилось! Никакого Зверева в помине не было! Мистификация...

— Я видел! — Лицо у Красницкого наливаются кровью, он вне себя от ярости. — Он пальцами в меня тыкал, показывал! Вытащил ни с того ни с сего фальшивку эту, скандальную эту историю с моей докторской... Сам же, стервец, все тогда подстроил, выкопал откуда-то двух этих лагерников, натравил их на меня...

— Плюньте! — в глазах Лысогора пробивается еле уловимая усмешка. — Стоит расстраиваться! Никто внимания не обратил. И вообще — если пойти по этому пути, начать задним числом ворошить тридцать седьмой год, виновников искать...

Он не договаривает.

— Сволочь он, этот Зверев, — перебивает Красницкий.

— Небось у самого не один десяток на совести...

— Всегда был провокатором, — вспыхивает Поддубный, — еще тогда, на рабфаке!

Лысогор с готовностью подхватывает:

— Малашкина Павла кто угробил? Он же, Зверев! Честнейшего коммуниста погубил.

— Это кто же? — Поддубный резко оборачивается к Лысогору. — Павел, по-вашему? Образец коммуниста?

— Во всяком случае, — Лысогор уклоняется, — не чета же Звереву...

— Таких «коммунистов»... — Поддубный медлит, переводит поочередно мрачный свой взор с Лысогора на Красницкого и обратно. — На пушечный бы выстрел от Москвы...

— Помилуйте, Дмитрий Захарыч, — Лысогор молитвенно складывает руки, — последняя дань усопшему...

— Усопший, к вашему сведению, — голос Поддубного дрожит от сдерживаемого негодования, — посчитал, оказывается, ниже своего достоинства позаботиться о своей реабилитации... Похлопотать, по инстанциям потоптаться. Он предпочел

остаться отщепенцем, до конца дней... Как прикажете расцелить?

— Ну, знаете ли, — Лысогор разводит руками.

— Знал бы я раньше, — Поддубный взглянул на Лысогора с мрачной укоризной, — ноги бы моей здесь не было!

У калитки все вдруг останавливаются, беспокойно озираются: куда девался маэстро? Они оборачиваются лицом к крематорию, переглядываются, прячут глаза. По ступенькам главного входа, еле ноги волоча, поднимается «маэстро», Александр Николаевич Барсуков; он тащит на себе громадный зеленый венок.

— Ну его! — Лицо у Поддубного перекашивается. — Из ума выжил старик! Поехали...

...Прикрываясь, как щитом, венком своим и стараясь пробраться незамеченным, Александр Николаич добирается до гроба. Вот он подвинулся потихонечку вперед, опустился на колени. Губы его неслышно шевелятся, он что-то бормочет под нос себе, ты один, Павел, слышишь его бормотанье:

— Прости, брат, — шепчет он еле слышно, — прости нас, грешных. Недостойных, малодушных...

Из лягушечьих его глаз выкатилась слеза, упала на лоб покойника. Увы, Павел, тебе не дано было ощутить прикосновение этой слезинки — последнего стыдливого напоминания о далекой, погубленной юности.

* * *

3

НА ЧАШЕ ВЕСОВ

ПОСЛУШАЙ, Павел! Послушай этот разговор, не в малой степени он касается и тебя; быть может, даже — в первую очередь тебя. Самое твое сокровенное, болезненное: ты душил в себе этот недуг всю жизнь, загонял внутрь, прятал от самого себя, и вот: оно вдруг выползло наружу, настигло тебя, здесь, у гробовой доски.

Бедный Грантик! Как он мог решиться вступить в единоборство с волкодавом этим, Агап Агапычем? Сцепиться с тигром, ввязаться в бой с ним на такой ненадежной, скользкой почве? Как он рискнул? Можно ли вообще вести спор, состязаться, доказывать правоту свою там, где речь идет о таких зыбких, недоказуемых предметах, как истина, совесть, справедливость? Каждый решает эти вопросы по-своему, применительно к себе.

Грант, впрочем, и не собирался дискутировать, оно получилось как-то само по себе. Единственное, на что он рассчитывал: здесь, у могилы Павла, в этот скорбный час, смягчить сердце Агап Агапыча, оправдаться перед ним, восстановить — если не дружбу свою с ним — то, по крайней мере, отношения элементарного взаимоуважения, терпимости. Он не мог позволить себе упустить эту возможность, быть может — последнюю; слишком долго мучился он в поисках этой встречи.

Стоило поглядеть на него, когда он пробирался к Агап Агапычу, втянув голову в плечи, нерешительно, робко, еле переставляя ноги, то и дело приостанавливаясь, в любую секунду готовый отступить, бежать, провалиться сквозь землю... Нашкодивший, провинившийся пудель! Когда же Агап Агапыч напустился на него, накинулся с разбегу и принялся с остервенением трясти его, рвать, как дохлого мышонка,—Гранта заша-

тало, он еле устоял на ногах. Бежать, однако, было уже поздно. надо было как-то изворачиваться, защищаться, уклоняться от ударов; и он, бедняга, защищался, как мог.

Агап Агапыч свирепствовал, все больше и больше распаяя себя.

— Фарисеи, люди с двойным дном, так называемым... нет ничего омерзительнее! Прикрываетесь партбилетами, а по углам бурчите, поносите: мы, дескать, тоже, вы не думайте! Мы с вами заодно... Козыряете лагерным прошлым, маневрируете. На словах — одно, в душе — другое, на собраниях — одно, дома — другое; противно, как вы можете? При Сталине вам головы поотрывали бы, сейчас терпят, заигрывают с вами. «Старые большевики, ветераны партии»... Смех и грех! Вы, может быть, вообразили — они действительно любят вас, верят вам? Блеф, игра! Они, вообще, никому уже не верят; они, наверху, друг другу не верят! Все вы одним миром мазаны: притворство, ложь — на этом все построено... Но вы, Грант! Вы как можете, по лле всего?..

Весь этот груз Агап Агапыч обрушил на голову Гранта, конечно, не сразу; он вначале отмахивался, уклонялся, он попробовал даже прикинуться, что вообще не узнает Грантика. Возможно, это и подстегнуло Гранта, прибавило в нем храбрости. С решимостью отчаяния — он начал:

— Я, Агап Агапыч, может быть, и виноват. Наверняка даже виноват. Не в том, однако, что вы мне приписываете...

Агап Агапыч молча передернул плечами.

— Вы перестали со мной общаться, — продолжал Грант, — избегаете меня, не отвечаете на письма. Знать меня не хотите... За что?

Агап Агапыч, нехотя, сквозь зубы, процедил:

— Зря вы это, я ничего против вас не имею. — Помявшись, он прибавил:

— Против вас лично... Вы не хуже других.

— Вы считаете меня ничтожеством. Продавшимся, как тысячи других, — сказал Грант дрожащим голосом

Агап Агапыч поморщился:

— Напрасно, Грант, вы затеяли этот разговор. Он никому не нужен, право же.

Грант пропустил мимо ушей, продолжал долбить:

— Все, что угодно, — сказал он, — только не продажность!

— О чем вы говорите? — Агап Агапыч изобразил недоумение. — Просто между нами нет теперь ничего общего. Вы коммунист, я — беспартийная сволочь... Старый социал-предатель — что может быть общего?

— Десять лет Воркуты, — пробормотал Грант, — чего-нибудь стоят?

Агап Агапыч вспыхнул.

— Читайте — их не было! Забудьте...

— Такое не забывается, — Гарнт поник.

— Вы предали забвению сами, — лицо у Агап Агапыча стало жесткое, злое, — вернулись в лоно партии. «Своей партии», — прибавил он ядовито, — что еще нужно?

— Вернулся, да, — Гарнт приободрился, подтянулся, в глазах появился блеск надежды, — вернулся, чтобы не повторялось больше: Воркута, Колыма! Чтобы...

Агап Агапыч перебил:

— Сказки, Грант! Вы сами не верите!

— Чтобы не повторялась больше ежовщина, — Грант все больше волновался, — культ Сталина, будь он проклят!

— Прикажут — будете возносить снова! — Агап Агапыч поддразнивал Гранта, не скрывая своего наслаждения. — Стоит только на вас цыкнуть!

Голос Гранта упал:

— Вы считаете меня шкурником, — произнес он, еле сдерживая слезы, — копеечной душой. Приспособленцем... К вашему сведению — я не пользуюсь никакими партийными льготами... Никаких материальных выгод, благ...

— Совершенно напрасно, — весело возразил Агап Агапыч. — Пользуйтесь! Все пользуются... С паршивой овцы — хоть

шерсти клок. По крайней мере — какой-то практический смысл.

— Вы издеваетесь надо мной, — сказал Грант, неожиданно обозлившись, — вы ослеплены, Агап Агапыч, вы чудовищно ослеплены! Старые ваши счеты с партией, они затмевают ваш рассудок!

— Наконец-то — мужской разговор, — Агап Агапыч с любопытством взглянул на Гранта, — профессиональный язык... Научили вас, все-таки! Поздравляю!

— Вас послушать, — продолжал Грант, — все кругом предатели, приспособленцы... Ничего светлого, искреннего, честного; тьма кромешная, без единого проблеска... Вы ни во что не верите... Как тогда жить?

Агап Агапыч вскипел, встал на дыбы.

— Протрите глаза, святоша! Пора понять, в каком вы мире живете! Кому она нужна, ваша честность? И сами вы, для чего вы вдруг понадобились — вы подумали? Вы — ширма, за вашей спиной им удобно творить свои темные делишки... Они смеются над вами: отпадет нужда — на вас плюнут, прогонят вон, вывезут на свалку, как тогда, в тридцать седьмом... Все повторится сначала. Нет, не приспособленцы... Вы хуже, опаснее этих прошалыг, приспособленцев! Быдло, вот вы кто... И там, в лагере, вы были такие же: бессловесная ручная скотинка! И после, в 1953 году... Вы не можете иначе, жить не можете без хомута. Без хваленой вашей партии! Кто раз побывал — уже не может обойтись. И никакой лагерь не спасет вас, не переделает...

У Гранта дрожали губы, на нем лица не было.

— Постеснялись бы, — прошептал он, задыхаясь, — пошадили бы память Павла. Тоже ведь коммунист... Он остался им, хотя и без партбилета.

— Малашкины — единицы, — Агап Агапыч помрачнел, насупился, — Не единицы даже — один! Теперь и его не стало, единственного.

* * *

Как ты терпишь, Павел? Безмолвствуешь, отлеживаешься, не перевернешься в своем гробу... Взгляни на Грантика, растерзанного, растоптанного; кто, главное, топчет? Агап Агапыч! Они мерзли рядышком на лагерных нарах, одной ложкой ели, доходили вместе... «Быдло!» Это Грант — быдло... возможно ли? Был бы он скотина — стал бы пресмыкаться перед старым лагерным товарищем своим, молить о примирении, о пощаде? Бежал бы, самоотверженно, из гитлеровского плена в грозную Москву, из огня да в полымя, в памятном тридцать шестом году? Бросался бы затем, осенью 1937-го года, в пучину волн, на Усе-реке, по пути в неведомую Воркуту? Позволительно ли все это сбросить со счетов, выплеснуть с помоями вместе? Где она, справедливость, милосердие?.. Он безжалостен, твой Агап Агапыч.

Тебя-то он, правда, пощадил; он поет тебе дифирамбы, возносит, поднимает на недосягаемую высоту. «Павел — единственный в своем роде!», «Павел — исключение!», «Павел — рыцарь без страха и упрека»... Любопытно, что он запел бы, этот изверг, узнай он правду о тебе, о постыдном твоём грехопадении в Оренбургской ссылке? Она преследовала тебя, эта злополучная история, до конца дней твоих — собственно, почему? Ты один, что ли? Все вокруг тебя переболели этой болезнью, десятки тысяч! Никто особенно не терзался. Стоило тебе мучиться, казнить себя? И не настало ли, кстати, время — обнародовать эту твою тайну, рассекретить ее, облегчить душу свою? Дабы заодно — осадить кстати Агап Агапыча, напомнить ему: у всех рыльце в пушку, безгрешных нет. Один он мнит о себе...

Следует отдать должное Агап Агапычу, это он подметил весьма тонко, насчет бывших партийцев (он цинично называл их: «б» «у»): кто хоть раз побывал в этой шкуре, самую хотя бы малость, прикоснулся кончиком мизинца — конченный тот человек, спасения нет! Неважно даже, сам ли ты выскользнул каким-то чудом, либо же — вышибли тебя, инстанция за инстанцией: партбюро, партсобрание, бюро райкома, и т.д. и т.д.,

в установленном порядке; непреложным остается одно: зияющая, кровоточащая рана — она будет мучить тебя всю жизнь! В чем тут дело: стыд? страх? привычка? Материальные какие-то соображения? Казалось бы — никакой такой особенной трагедии: жил-был имя рек, руководящий товарищ, член ВКП(б); вертелся на полном ходу, петушился, функционировал... И вот — настал час, мотор выключился стал! Мало ли что в жизни бывает? Состарился человек, выдохся. Пресытился политикой, потянуло на покой. Пулечкой увлекся, погряз ли в семейных делах, любовницу завел. Подзашел, наконец, попросту говоря — проворовался — чего с человеком не случается? Жизнь не стоит на месте, люди меняются, меняются взгляды на вещи, вкусы, меняются, если хотите, убеждения... Коротко говоря: побывал ты столько-то лет в партии, насладился, и в одно прекрасное утро очутился за бортом. — ну и что? Солнце погасло? Земля перестала вертеться? Облик свой человеческий ты потерял? У тебя руки, ноги, голова на плечах; у тебя жена, дети, друзья какие-то водятся: люди кругом, миллионы людей, таких же как ты, двуногих, беспартийных, кстати... живи ты на этой земле, дыши... Оказывается, не так просто! Воздуху оказывается, не хватает! Пустота, вакуум, выжженная вокруг тебя пустыня, и ты в этой пустыне один-одинешенек, ни живой души... Как, прикажете, называть? Комплекс неполноценности? Откуда, однако, он взялся, этот комплекс? Корни где? Агап Агапыч толкует все это по-своему: страх, растление, деграция — любит он звонкие словечки... В таких вопросах Агап Агапыч, однако, не судья: все обстоит, возможно, куда проще: коллектив и личность, их взаимодействие! Эпоха коллективизма, личность постепенно растворяется, рассасывается; вне коллектива — тебя охватывает ужас, ты трещаешь почву под ногами. Тебя вышвырнули на песчаный берег, из воды вон; ты задыхаешься, гибнешь, скорее в воду, в родную стихию... И ни к чему тут, следовательно, какие-то неполноценные комплексы. Скорее наоборот — торжество коллективистского, коммунистического сознания... Так или иначе,

Оренбургская твоя ссылка — как-то она перекликается со всей этой премудростью, и можно с уверенностью утверждать: буде Агап Агапыч хоть что-нибудь пронюхал бы об Оренбургских твоих приключениях, он ни при каких обстоятельствах не стал бы восторгаться тобой, ставить в пример другим, петь тебе осанну. Он, однако, представления обо всем этом не имел. Грантик же — единственный живой свидетель (в припадке откровенности ты как-то разоблачился перед ним, посвятил в Оренбургские свои секреты) — он не стал на этот счет распространяться, продавать тебя Агап Агапычу. Грант ни при каких условиях не стал бы прятаться за чужую спину. Восполним же этот пробел, приоткроем завесу...

Началось оно сразу же, с первых же шагов, едва только ты расстался с партийным своим билетом. Никто ведь не толкал тебя, не подзуживал, ты действовал, как говорится, в здравом уме и твердой памяти. И тем не менее — великое смятение обуяло тебя. Ты состарился вдруг, одряхлел, коленки стали подкашиваться у тебя. Непосильная тяжесть свалилась на плечи твои, сковала, согнула в бараний рог; жизнь потеряла для тебя вдруг всякий интерес — твой институт, Зверев с его интригами, даже Ксения. Это нельзя было назвать раскаяньем, стремленьем что-то вернуть, исправить; ты не жалел о случившемся, нет. В тебе что-то вдруг оборвалось: угасли всякие желания, поступки твои поблекли, утратили прежний смысл. Ты впал в состояние прострации. Трудно определить, как долго все это могло тянуться и чем в конце концов кончилось бы, не случись этот благодетельный поворот событий: сознайся — тебя спасло НКВД! Ты почувствовал громадное облегчение, когда тебя вскоре подхватили, сунули в колымагу и началась эта канитель с ночными вызовами, допросами, очными ставками, протоколами и прочей дребеденью — ты ожил, почувствовал себя снова человеком.

Отправляясь в Оренбургскую свою ссылку, ты даже повеселел, обрел снова способность трезво рассуждать и здраво мыслить. Итак, резонно рассуждал ты, я теперь отрезанный ло-

мочь; не так уже все это безысходно... Ссылный, что такое в Советской стране политический ссылный? Не человек, что ли? Что у нас — рабы, партии? Коммунизм строят не избранные, необязательно члены партии, герои, венценосцы. Социализм строит народ, от мала до велика, старики и молодые, мужчины и женщины, коммунисты и беспартийные, сто пятьдесят миллионов... Ты — один из них; давай же не вешать голову! Совсем не обязательно для тебя — быть в ряду первых, вариться в этом котле, париться на партсобраниях, ораторствовать, выкручиваться, лицемерить... не по твоей это части! И этот твой юрфак, увлечение твое древним Римом — тоже, возможно, зря; ты сел, может быть, не в свои сани. Не проще ли будет, коль скоро так уже все обернулось, плюнуть тебе на все эти соблазны, отойти в сторонку, заняться чем-либо более для тебя подходящим. Астрономией, например? Или, скажем, математикой? Еще не поздно! В твои тридцать лет еще можно все начинать сызнова! Математика — она, небось, также потребуетя потомкам, пора шире взглянуть на вещи... Плохо же, Павел, знал ты себя и свое время...

* * *

В Оренбург ты угодил с корабля на бал, в самый разгар кампании: объявлена была сплошная коллективизация! Все твои мудрствования — как метлой смело; у тебя дух захватило. Колхозы... ликвидация мелкой собственности, последнего убежища капитализма! Революция в революции! Какая уж тут, прости Господи, математика... У тебя разыгралось воображение: миллионы людей, нескончаемый людской поток, в едином порыве... Они оставляют позади себя жалкие свои деревеньки, лачуги, навозные кучи; восторженные, сияющие лица — они устремлены вдаль, к голубым просторам. Там, среди необозримых, залитых солнцем полей, колесят машины, возвышаются ажурные фермы высоковольтных линий электропередач, всеми цветами радуги отливают окна великолепных коттеджей. Зеркальные озера, реки, луга без конца-края, тучные колхозные стада... Все звенит, поет... Мог ли ты устоять, не воспламенить-

ся? Не раздумывая, бросился ты в областной комитет партии; ничто уже не могло тебя образумить, удержать.

Обком напоминал собой штаб военных действий. Вокруг здания Обкома сновали грузовики, мотоциклы, тачанки, верховые, уполномоченные всевозможного покроя — в шинелях, в брезентовых плащах, в кожаных куртках, бородачи и безусые, девицы со взъерошенными кудряшками, молодые люди в очках, с полевыми сумками у пояса — сотни очумелых людей, они носились взад-вперед, проскакивали в кабинет секретаря и, пришпоренные, вылетали обратно, бросались без оглядки к повозкам своим. У многих из них топорщились карманы с наскоро засунутым огнестрельным оружием.

В кабинете секретаря за табачным дымом не видать было человеческих лиц. За письменным столом, склонившись над батареей телефонных аппаратов, орудовал человек в военной гимнастерке с выбритым до блеска черепом — кто-то из ближайших помощников секретаря: он хватался за телефонные трубки, дул, вопил, хрипел, диктовал, принимал донесения. Самого секретаря Обкома Терехова не видно было вовсе: его окружили тесным кольцом, заслонили, наперебой рвали у него из рук тоненькую брошюру, пахнущую свежей типографской краской: «Речь тов. Сталина на съезде аграрников-марксистов». Было слышно, как, вручая из рук в руки брошюру, секретарь осипшим голосом приговаривал:

— Поаккуратнее, товарищи, учтите... Не перебарщивать!

Где-то в углу, у входа в приемную, за небольшим столиком, девушка в косынке выдавала отъезжающим продуктовые талоны. К ней выстроилась очередь и каждому она повторяла таинственным шепотом:

— Во дворе направо. Столовая двадцатки. Два пакета...

Кого-то угораздило вернуться в приемную с двумя громадными пакетами под мышкой. Его мгновенно обступили, стали допытываться, прощупывать пакеты, очередь пришла в движение. Кто-то попробовал развернуть пакет, заглянуть внутрь

— мешок прорвался и по полу покатались жестянки с тушеной, копченая сельдь, медовая коврижка...

— Для кого пайки? — бессмысленно спросил ты, ни к кому не обращаясь.

Кто-то протрубил в ответ, над самым твоим ухом:

— Братьям колхозникам, именные подарки. Кому же еще?

Ты обернулся: рядом с тобой топтался невысокого роста коренастый дяденька в бушлате, он издевательски обозревал тебя с головы до ног.

— Ну и ну, — заключил он свой осмотр, — какой дурак сунул тебя в эту кашу?

Не дождавшись твоего ответа, он продолжал:

— Ты хоть кумекаешь, куда едешь? И с какой целью? В деревню, милоч, на сплошную! Соображаешь? Харчеваться как-то надо? Кто тебя там, на сплошной, кормить будет? Сами не жрамши сидят... «Кому пайки», «кому пайки», передразнил он тебя и, помолчав, прибавил:

— Между прочим: добро это -- тушенку, колбасенку — тишком как-нибудь, поделикатней... от глаз подальше! Не дразни гусей... И вообще, браток, — поосторожней!

Он рванул вперед и через минуту уже, вытянувшись, бойко рапортовал секретарю:

— Коротков Семен! От речного судоходства! Разрешите спросить?

— Давай, морячок, давай.

«Морячок» понизил голос:

— Хотелось бы уточнить, товарищ секретарь: куда девать отходы?

— Какие отходы? — секретарь наморщил лоб.

— В смысле: кулаков-подкулачников, — не задумываясь, брякнул морячок, — топить их, что ли?

Секретарь от неожиданности смешался, хмыкнул даже, не смог удержаться, но тут же спохватившись, пригрозил:

— Но-но, легче на поворотах...

— Надо же, товарищ Терехов, ставить точки, — как ни в чем

не бывало настаивал морячок, — ликвидация кулака как класса. С корнем, значит?

— Покороче, — сказал с раздражением секретарь.

— Я и добиваюсь: куда их, сволочей, девать? У нас, по области, ставок этих вдоволь; как говорится, — пруд пруди...

Секретарь оборвал его:

— Ты, моряк, не приbedняйся. На пленуме был?

— Был.

— Доклад слышал.

— Слышал.

— Читал? — секретарь благоговейным жестом показал на стопку брошюр с речью Сталина.

— Читал.

— Усвоил?

— Так точно, усвоил.

— Езжай, выполняй. И не надо язык свой распускать. Понял?

— Понял.

— С Богом. Следующий.

Ты неожиданно очутился лицом к лицу с этим Тереховым, он глядел на тебя в упор и молча ждал. Тебя вдруг взяла оторопь: морячок этот, его каверзные вопросы, очередь за талонами, продуктовые пакеты... все это ошеломило тебя, ты не успел осмыслить, переварить. Ты попятился, но сзади на тебя наседали, теснили к секретарю.

— От какой организации? — спросил он нетерпеливо.

— Я, собственно говоря...

— Пединститут? — почему-то показалось ему.

— Нет-нет. Я, видите ли...

Он протянул руку, она показалась тебе чересчур холеной и нервной.

— Направление? — потребовал он, — покажите направление!

Ты окончательно растерялся, обессилел. Потупившись, ты прошептал:

— Я без направления, сам.

— Паспорт, — коротко обронил секретарь.

У тебя пересохло во рту.

— Ссылный, — только и сумел ты произнести.

— Ссылный?! — Секретарь резко повернулся к помощнику в военной гимнастерке; тот мигом сорвался с места, ринулся к тебе.

Ты, наконец, спохватился; судорожно вцепившись в край письменного стола, ты стал выкладывать секретарю свое дело — сбивчиво, бессвязно, путаясь и комкая слова: «Ну да,ссылный... Разве это может иметь какое-то значение? Как коммунист ты не можешь оставаться в стороне... Кооперативный план Ленина, приобщение крестьянства к социализму... ты считаешь себя обязанным, твой долг! Место твое там, на передовой! Любой колхоз, любая работа: статистиком, конюхом, пастиухом...»

Секретарь перекладывал бумажки на письменном столе, бросая нетерпеливые взгляды на своего помощника. Ты под конец прибавил — фраза эта давно вертелась у тебя на языке:

— Социализм строит народ... не одни же члены партии...

Черт тебя дернул за язык — секретарь вдруг обозлился, помрачнел.

— Ну да, мы вроде не знаем, — осадил он тебя, — учить партию, этого не хватает! Это что — не народ?

Он обвел широким жестом толпившихся у стола людей и, круто повернувшись к помощнику совему, приказал:

— Займись товарищем! — Запнувшись, он поправился: — Разъясни гражданину.

Тебя, в общем, без особых церемоний, спровадили, выставили вон. Они, должно быть, приняли тебя за попрошайку, затесавшегося сюда заради этих лакомых обкомовских кулечков. Не так легко было, однако, от тебя отделаться: после позорного этого разговора с секретарем обкома — ты и вовсе разъярился. Ты не мог простить себе этого унижительного своего тона, нищенского тона просителя. Потолкавшись на улице, ты

дождался, когда народ валом повалил из здания обкома и, уловив момент, когда с места лихо сорвалась чья-то тачанка, битком, как показалось тебе, набитая пассажирами, ты на ходу вскочил тоже, безрассудно бросившись в общий поток. Чья-то рука подхватила тебя, помогла удержаться на ногах: рядом с тобой, широко расставив ноги и с любопытством разглядывая тебя, стоял знакомый морячок в бушлате.

— Ты, оказывается, настырный, не думал я., — сказал он с какой-то даже почтительностью и, подумав, прибавил, — однако... насчет харча ты подумал? Питаться как-то надо? Или как?

Заметив твое смущение, он успокоительно сказал:

— Не тушуйся, браток... Компания что надо, не пропадешь... Особливо этот, — он ткнул пальцем в угол тачанки, — как за каменной горой! Считай — нам с тобой повезло.

* * *

Ты присмотрелся к попутчикам своим, их оказалось не так уже и много, без тебя — шесть человек. Как выяснилось — бригада Обкома комсомола, направлявшаяся в Бешевский район, во вновь созданный колхоз по имени «Заветы Ильича». Морячок оказался чуть ли не возглавляющим, старшим по бригаде; он и по возрасту выглядел значительно старше других и вряд ли даже мог сойти за комсомольца. У пятерых, включая морячка, для чего-то наколоты были на головных уборах пышные алые банты — эта-то пятерка и представляла собою состав комсомольской бригады. Шестой, на которого показывал тебе морячок, намекая на какую-то особую его роль, держался особняком и прямого отношения к бригаде, по всей видимости, не имел. На нем и бантов никаких не красовалось, и, вообще, ничего выдающегося заметно не было. Был на нем синий резиновый плащ, синяя же кепочка, не сапоги, а ботинки, какие-то, правда, добротные, на тройной подошве; брюки на выпуск, все сугубо гражданское, и, тем не менее, чем-то он резко выделялся среди остальных, хотя и держался более чем скромно, в тени. На тебя он не обратил никакого внимания, по край-

ней мере — тебе так показалось. Один только раз ты поймал на себе его твердый взгляд — он тут же отвернулся, едва заметно усмехнувшись; тебе почему-то стало не по себе. Ты не удержался, спросил у морячка беззаботным тоном:

— Что за тип? Из Обкома?

— Поросенок, — презрительно отозвался морячок, — Пахова не знать! Хозяина области...

Помолчав, он закончил:

— Сказано было: нам с тобой повезло. Как у Христа за пазухой!

...Три дня и три ночи деревню Бешево трясло как в лихорадке, три дня и три ночи над бешевской землей совершалось великое таинство аграрной революции, трое суток — срок более чем достаточный. В памяти у тебя застряло резко, ярко, будто на световом экране: въезд в село Бешево, поляна возле церкви, туча разъяренных баб, облепивших вашу тачанку; они извлекли из тачанки морячка, перебрасывали с рук на руки, потешались над ним, вы еле ноги унесли. Ночная операция Пахова...Под покровом темноты вылавливал он каких-то бешевских мужичков в солдатских шинелях, грузил на тачанку и под усиленным конвоем переправлял в областной центр, в Оренбургскую тюрьму. Председатель сельсовета, молодой рыжеватый паренек с плоским, сплюснутым лицом, до смерти напуганный, все время прятался за спиной у Пахова. Большой лоскут красной, в чернильных пятнах, бумагеи на столе, в помещении сельсовета; вновь созданный «штаб содействия», возглавленный морячком — он успел уже оправиться, наш герой, осмелел, бешевских баб как будто и в помине не было. Нескончаемые ночные бдения, «штаб содействия» работал не покладая рук, от утра до утра. Вызовы, вызовы, вызовы... Старики и старухи, перепуганные, заспанные, в очереди у красной бумагеи. Томительные уговоры, заседания: «Пишись, старый, пишись... не тяни резину! Все равно запишешься! Колхоз, никуда не денешься... Пишись, не выматывай душу...» Всю ночь, до одурения, до тошноты: категорическое задание района — 90 процен-

тов охвата, трехдневный срок! «Пишись, старая, пишись...» Бесконечная канитель с какими-то списками: список номер один — «лишенцы»; список номер два — «твердые задания»; список номер пять — «дополнительное обложение»; список номер шесть — «упорствующие». Главное же — список без номера, «особый» список, строго засекреченный, врученный лично товарищу Пахомову. Его отложили под самый конец, на утро третьего дня — тогда и началось... Ты ничего толком не запомнил; в возбужденном твоём сознании все сплелось, перемешалось, ты никогда не представлял себе, что все это будет делаться именно так... Торжественное шествие актива, человек пятнадцать-двадцать, в том числе бригада обкома комсомола в полном составе, во главе с морячком. Оно двигалось через всю деревню, из конца в конец, под красным знаменем; откуда-то вдруг послышалась барабанная дробь — откуда в деревенской глуши, барабаны? Тебе, вероятно, померещилось? Нет, не померещилось; явственный сигнал боевой тревоги, внезапный взрыв деревенского утра! Ворота настезь, треск взламываемого дерева... Метнувшиеся со двора обезумевшие куры, лай собак, спущенных с цепей; хозяин, полуголый, руки в крови, в пьяном угаре глушит скотину, наотмашь, топором; истощный вой хозяйских женщин, среди выволакиваемого из сундуков домашнего тряпья; распоротые перины, перья, пух, все кругом белым-бело; распахнутые двери, окна, звон битого стекла; отчаянный детский визг, вопли, рёв... В довершение всего — деревенские бабы с кошелками, с мешками, они шныряют по дому, жадно набивают мешки, торопятся... И ты, Павел, среди этого безумия, — заветное твоё желание исполнилось: ты удостоился стать участником великой социальной ломки! Он совершился на глазах у тебя — переход от мелкого, осужденного историей, индивидуального крестьянского хозяйства к прогрессивному социалистическому земледелию.

...Из Бешево ты выбирался тайком, во мраке ночи. В тебе все горело, ныло от боли. Что-то надо было предпринять, немедля, не теряя ни минуты: поднять на ноги город, добраться до

Москвы... Бить тревогу, ударить в набат! О чем тревога — ты подумал? О революционной законности? О перегибах? Может быть — о революции вообще? Заткнись! Нужно будет — скажут, без тебя! Прочти, пожалуйста: «Ответ товарищам колхозникам», И.В.Сталин... Подлинное апостольское послание, коммунистический манифест нового века. Учись марксистски мыслить!

Тебя терзали сомнения. К тому же в областном центре, Оренбурге, когда ты, измученный и разбитый, возвратился. наконец, туда, тебя ждала потрясающая новость, меньше всего ты мог предполагать подобный оборот событий. На шите, у входа в здание Обкома — Облисполкома, громадными литерами, многократно, хлестко, вопиюще: Бешево! Бешево! Бешево!!! У тебя пошло двоиться и трояться в глазах:

Равняйтесь на Бешево!

Бешево — в первой шеренге передовиков области!

Бешево — район стопроцентной, сплошной коллективизации!

Перенимайте передовой опыт Бешево!

Большевистский братский привет колхозникам Бешево — энтузиастам колхозного строя!

Мудрено ли после этого, что тебя, с жалобами твоими, нытьем твоим, заклинаниями, пророчествами, паникерством — тебя всюду гнали: из Облисполкома, из Облзу, из областной газеты «Оренбургская коммуна», из Обкома комсомола. В Обком партии тебя на порог не пускали. От тебя все отмахивались, как от назойливой, кусачей осы; слушать не хотели, понимали на смех. Опомился ты, как и следовало ожидать, в Областном управлении НКВД, в кабинете начальника Управления. Ты был доставлен туда ночью, в пожарном порядке. За тобой прислали охранника в легковой машине и ты, конечно же, не испытывал никаких иллюзий: для чего? почему? Ты захватил с собой наспех собранное бельешко, постельные принадлежности, прочие мелочи... И вот — снова ирония судьбы: ты был встречен по-братски, с распростертыми объятиями. Пе-

ред тобой был Пахомов, Бешевский твой знакомый.

* * *

Он поднялся из-за стола навстречу тебе и, метнув веселый взгляд на твой чемоданчик, с явным удовольствием усмехнулся, но тут же, скорчив бесстрастную физиономию, спросил с притворным недоумением:

— Вы что же, никак уезжать собрались? Куда, если не секрет?

— Ты пробормотал, пытаешься изобразить полнейшую независимость:

— Я просил бы вас придерживаться со мной достойного тона...

— Но, дорогой мой, нельзя же так, сразу — в ружье!

— Ночной вызов! Какая-то, значит, срочность... Хотел бы услышать!

— Прошу прощения — служба, — сказал он извиняющимся тоном. — Ночью только и побеседуешь по душам, днем не дадут, уверяю вас.

Ты промолчал; он пересел к тебе поближе.

— Вы, дорогой, — он так до конца не переставал гладить тебя по шерстке: «дорогой», «дорогой». — Вы, кажется, не очень лестно об нас думаете?

— С вашего разрешения, — отпарировал ты, — я вообще о вас не думаю. Почему я должен о вас думать? Скорее наоборот, вы обо мне...

— Вполне резонно, — миролюбиво согласился он, — думаем, думаем, денно и ночью думаем... Поэтому и пригласили. Надеюсь, вы догадываетесь?

— Любой дурак догадается, — нетерпеливо перебил ты его. — Как видите, я готов! — Ты потряс перед самым его носом своим чемоданчиком.

— Ай-ай-ай! — он сокрушенно покачал головой, — за кого же вы нас принимаете? По-вашему, НКВД — это вот что, — он шлепнул себя по загривку, — обязательно за шкирку, ни на что другое не способны. Плохо же вы нас знаете...

— Слава Богу, — буркнул ты, почувствовав некоторую неловкость, — имел удовольствие познакомиться с вами... Дервня Бешево!

— А что Бешево? — Пахомов оживился, как будто даже обрадовался. — Что такое Бешево? Избиение младенцев? Зверства? Какие-нибудь ужасы? Я спрашиваю — сыр-бор из-за чего?

Он укоризненно, с выражением детской обиды, поглядел на тебя и продолжил:

— Парочку-другую подкулачников изъяли, только и всего! Так ведь без этого, согласитесь, тоже не обойтись! Упразднение мелкой собственности, последнего оплота, — вы давеча сами развивали эту мысль в кабинете у секретаря Обкома, помните! — он ласково улыбнулся тебе и улыбка эта показалась тебе издевательской. — Между прочим, — прибавил он, — весьма убедительно у вас получилось, отдаю должное...

Ты вскочил с намерением что-то возразить, но он спокойным мягким жестом руки остановил тебя, усадил на место.

— И вдруг, — продолжал он, — поворот на 180 градусов! Шум! Треск! Караул! «Насильственное насаждение колхозов на Оренбургщине!», «Потемкинские деревни!», «Коллективизация руками НКВД!», «Разгул Пахомовщины!»... Нехорошо, дорогой мой, нехорошо... Да будет вам известно: мы, чекисты, вообще не суем свой нос в эти дела: артели, колхозы, коммуны... Есть сельсовет, сельский актив, комсомол... бригады содействия... Народ решает, колхозное крестьянство, партия. Наше дело сторона...

— Вот как!

— ...у нас, к вашему сведению, строжайшая директива: не вмешиваться! Вы имели возможность убедиться!

— О да, вы не вмешиваетесь! — ты попытался сдержаться, попасть ему в тон. — Вы только при сем присутствуете... этого более, чем достаточно. Они попрут куда угодно: в колхоз, к волчице в берлогу, к самому сатане — только бы не попасться на заметку, к вам...

— Это уже чересчур, — сказал он незлобливо и попробовал отшутиться, — советую поосторожнее... Чего доброго, я могу наступать куда следует.

Покровительственный его тон выводил тебя из себя, ты все больше горячился, дергался.

— Темпы, темпы! — завопил ты, не владея больше собой. — Помешались на темпах! 60 процентов! 80 процентов! Все сто! Сплошная! Почему сплошная? Кто выдумал сплошную коллективизацию?

— Жизнь, дорогой мой, сама жизнь, она подсказывает.

— Бешеве — район сплошной коллективизации, ха! Не анекдот?!

— Статистика, молодой человек! Цифры! Никуда не денешься... Он подзуживал, подогревал твой пыл.

— ...издевательство над Лениным, — продолжал ты вопить, не слушая его. — Где принцип добровольности, метод убеждения... Сила показа, примера... Все изуродовано, искохаблено... Вы, вы виноваты, чекисты! Ваша работа...

Немного подумав, он возразил:

— Однако, рядом с Лениным неизменно находился грозный Феликс Дзержинский. Они не разлучались... Об этом тоже помнить надо...

Чем больше ты кипятился, тем добрее и снисходительнее к тебе становился Пахомов, и это бесило тебя, хотя и обезоруживало. Тем более обезоруживало, что доводы его выглядели не такими уж детскими, о, далеко не детскими! Он пустился в весьма тонкие рассуждения о ленинской теории стихийности и сознательности. Ленин, как известно, — втолковывал он тебе, — никогда не был сторонником стихийности, даже тогда, когда вопрос касался рабочего движения; он никогда не полагался на авось... Тем более оно недопустимо по отношению к такому рыхлому, неустойчивому материалу, каким является, по самой природе своей, крестьянство. А как следует понимать стихийность и сознательность в применении к деревне? Стихийность — это Бешевские бабы, сознательность — это мы,

да, да, мы, НКВД! Сознательность никогда не возникает сама по себе, она привносится извне, если хотите, — навязывается. Во все времена приходилось кому-то вести людей за собой, иногда и тащить, подталкивать, побуждать... Здесь уместно будет вспомнить ленинские высказывания по поводу факторов принуждения и убеждения, соотношения их на разных этапах революции, их взаимодействия...

Говорилось все это в довольно деликатной манере, без всякого нажима: хочешь — слушай, хочешь — нет. Ему как-то удалось даже заинтересовать, увлечь тебя. Дождавшись, когда ты окончательно раскис, он широким эдаким жестом протянул тебе ладонь и беззвучно, одним лишь шевелением губ, так что ты не столько расслышал, сколько догадался, проговорил скороговоркой:

— Итак, дорогой, — мир, дружба?

У тебя духу не хватило отвести руку. Он воспрянул и, придвинувшись к тебе поближе, уже более энергично продолжал:

— Ну-с, а теперь — от теории к практике. Или, что по сути одно и то же, — от слов к делу. Одно предварительное условие: рассудительность, трезвость. Вы, мой друг, — он сделал короткую паузу, — вы не в те двери стучитесь. Ну, подумайте сами, что вам эта сплошная коллективизация? Человек вы городской, книжный, охота вам ввязываться! Понимаю, понимаю, крестьянская стихия, поворот к социализму, своего рода экзотика... Вы боитесь проворонить, упустить. Поверьте стреляному воробью: канитель эта будет тянуться бесконечно долго, полвека, может быть, век, успеете, насмотритесь еще. гарантирую. А пока что — предоставьте эту грязную работенку нам; нашему брату по штату положено. Вам же...

Он вдруг умолк, задумался; похоже было — тут нет с его стороны никаких уловок, притворства: он действительно испытывает какое-то затруднение и ищет выхода. Молчание его длилось довольно долго и стало тебя тяготить, ты не выдержал.

— Можете не продолжать, — пробормотал ты, — я догадываюсь...

— Ну-ну... — рассеянно отозвался он, все еще поглощенный своими какими-то заботами.

— Какая-нибудь переброска, — сказал ты, стараясь держаться как можно более беззаботно, — подальше от областного центра. Так сказать, — дальше едешь, тише будешь... Что ж, я не возражаю...

— Не очень остроумно, — сказал он и вдруг вскочил, повеселел, забегал по кабинету, озабоченность его как рукой сняло; он даже руки потирать стал.

— Конечно, переброски, высылки, гонения — что еще может придумать это бездарное НКВД?

Он снова замолчал, что-то про себя прикидывая; потом решительно подошел к тебе, присел.

— Ну, вот что, дорогой, не будем темнить, ходить вокруг да около. Давайте начистоту, как говорится — в лоб, с вами по-другому, пожалуй, не выйдет. Итак — наши условия: *пункт первый* — вы прекращаете какую бы то ни было активную деятельность, типа Бешевской вашей экспедиции. *Пункт второй*: Вы поддерживаете с нами регулярные деловые контакты. Имеется в виду выполнение наших рекомендаций по все вопросам, представляющим — выражаясь дипломатическим языком — взаимный интерес. Согласование с нами любого шага, способного вызвать общественный резонанс. *Пункт третий, основной*, ради которого — раскрываю свои карты до конца — вы и приглашены сегодня к этому столу: речь идет о судьбах ссылки... я думаю, вы меня правильно поймете. Вопрос слишком серьезен, чтобы позволить себе роскошь цепляться за всякого рода предрассудки, вроде «достоинство», «предательство», «стукачество». Надо иметь мужество перешагнуть. Так вот, о судьбах ссылки — вы пробовали задуматься? Заглянуть вперед, хотя бы на год вперед? На месяц? В завтрашний ее день? Нет, не задумывались! Вот видите, вам жить не дают ваши бешевские колхозники, вы воюете, на стенку лезете... А ссыльных, то-

варишей своих по несчастью — знать не хотите, вам безразлично! Между тем — сотни людей! Хотите, я вам открою секрет: как вы думаете, сколько в нашей области ссыльных? Сказать? Во всяком случае, для нас, работников НКВД — как вы нас не поносите — ссыльный — тот же советский человек, драгоценный человеческий капитал. Сегодня — ссыльный, завтра — член партии, коммунист, вот как ставится вопрос. Вы согласны?

Он переждал и, не дождавшись твоего ответа, продолжал в приподнятом, патетическом тоне:

— Работа среди ссыльных — такова задача. Не менее, кстати, почетная, чем работа с теми же колхозниками. Трудная, неблагодарная работа, спору нет. Ссылка неоднородна, семь пар чистых, семьдесят семь — нечистых. Задача в том и состоит, чтобы отделить, отсеять зерно от плевел. Раз-ло-жить ссылку...

Последнюю фразу он выпалил как-то взхлеб, как бы неожиданно для себя, сам же испугался. Неуверенно заглянув в глаза тебе, он с облегчением прибавил:

— Спрашивается, кто сделает это лучше, чем свои же ссыльные? Спасение утопающих — дело рук самих утопающих...

Он положил руки на плечи тебе и, перейдя на доверительный, интимный тон, продолжал вполголоса:

— Вы поняли, Малашкин? Мы хотим знать, чем дышит ссылка. Ее чаяния, ее сокровенные мысли. Настроения людей, их связи, взаимоотношения. Кто чем живет, о чем думает, куда смотрит... Следить за пульсом, так сказать, ежечасно, ежеминутно, как врач у постели больного! Задача, как видите, чисто политическая... Мы на вас рассчитываем, верим вам!

Что-то заставило его внезапно умолкнуть, вспугнуло его.

— Вы что это? — поймав твой локоть, он судорожно сжал его обеими своими руками; рука твоя повисла и сам ты вдруг окаменел, прирос к месту. — Что с вами, Малашкин?

Он сорвался с места, стал совать в руки тебе стакан с водой. Вода заливала твое лицо, попадала за воротник: ты вдруг продрог, зубы застучали по краю стакана, отбивали мелкую

дробь. Ты отлично сознавал: глупости, галлюцинация! Надо взять себя в руки! И все равно: не в состоянии оторвать обезумевшие свои глаза, ты продолжал в упор разглядывать лицо Пахомова. Над тобой склонялся Костя Зверев... его, Костин, профиль! Обороты речи, приемы, направление мыслей — слишком все это врезалось в память тебе, чтобы можно было спутать, ошибиться.

— Костя, — пролепетал ты едва слышно, — откуда ты взялся, Костя?

— Пейте, ну пейте же, черт возьми! — в голосе у Пахомова прозвучали нотки раздражения и нескрываемой брезгливости.

— С вами, оказывается, нельзя дело иметь! Хуже бешевских баба! Пейте...

Шок вскоре прошел, оба вы начали понемногу приходить в себя. Ты с трудом оторвал, наконец, застывший свой взгляд от Пахомовского лица. Нет, конечно, не Зверев! Этот коренаст, плечист; волосы — с проседью; на лбу — складки... как это ты раньше не заметил? Лет на пятнадцать, по меньшей мере, старше Зверева! И рангом, должно быть, повыше. Возможно даже — из старых чекистов, времен Феликса Дзержинского. Какой же это Костя? Померещилось тебе. И тем не менее — что-то общее, племенное...

Кто же они, Пахомовы эти, Зверевы? Тысячи тысяч им подобных, одномастные, крупнопородистые, цепкие, новые хозяева жизни? Не скажешь ведь — тупицы какие-нибудь, деревенщина! Наоборот, некоторый даже лоск, умение при случае блеснуть! И держимордой не назовешь, бандитом с большой дороги, нет!

Никакого там хамежа, мерзости... Этот, например, Пахомов! Как-то он даже расположился к тебе, по крайней мере — вначале: ты ему дерзишь, а он тебя по-братски, лаской. Под конец он уже, правда, насупился, чернее тучи стал — тоже можно понять. В общем — не придерешься, обыкновенные советские люди, таких миллионы. Единственное, чего не следует упускать из виду — когти! Никогда не знаешь, когда именно они будут

выпущены наружу, страшные эти когти! Действительно, особое какое-то племя, нечто вроде крысоволка. Есть такое чудовище — крысоволк: крыса, пожирающая себе подобных! Их специально натаскивают, тренируют. Страшилища! Лучше не попадаться!

Пахомов поднялся из-за стола и совсем уже чужим, холодным голосом произнес:

— Ну-с, не смею задерживать. На досуге — подумайте, взвесьте. Это касается в первую голову вас, вашего будущего. Вам еще жить, подумайте. Коли что — к вашим услугам. Всегда можем пригнать легковушку...

На этом, собственно, и закончилась колхозная твоя эпопея. Пахомов своего все-таки добился, ты отстранился от бешевских дел. Не то, чтобы ты очень уж испугался, отнюдь; тебе — после ночного этого разговора с Пахомовым — попросту все опротивело. Ты рукой махнул на сплошную коллективизацию, на себя, на будущее свое, на которое так недвусмысленно намекал тебе Пахомов. К тому же — у тебя завертелась совсем другая карусель, не менее рискованная и захватывающая, чем твое Бешево. Истинный Костя Зверев, не выдуманный, не поддельный, собственной персоной, появился вдруг на твоём горизонте, и это показалось тебе вовсе уже непостижимым. Настоящий, живой Костя! Правда, он предстал перед тобой не во плоти и крови — одни только письма; но разве это, само по себе, не было событием из ряда вон выходящим? После всего, что между вами произошло, охотиться за тобой по ссылкам, следовать за тобой, из-под земли выкапывать... Для чего-то, значит, ты ему понадобился! Для чего? Ты готов был заподозрить самые коварные чьи-то козни. Может быть — Пахомов? Возможно — недавний твой визит к Пахомову инспирирован был Костей? Какой-нибудь между ними сговор?

Между тем, ничего сверхъестественного не произошло, все объяснилось более чем просто. Сам ты, оказывается, напросился, еще до всяких Пахомовых, задолго до своего ночного визита к нему. Шумиха, поднятая тобой вокруг Бешевского кол-

хоза, докатилась в конце концов до столицы. Тебе удалось наворотить горы материалов по Оренбургской области: бесчинства уполномоченных, необоснованные аресты, раскулачивание середняков, незаконное обложение, угон скота, вывоз семенных фондов, подрыв колхозного хозяйства... Факты, улики, цифры — ты гнал их в Москву, рвал и метал, требовал расследования, выезда авторитетной комиссии. И вот — плоды твоего ревения: ответ из Москвы за подписью члена коллегии ЦКК РКИ К.Зверева. Никаких козней, сговоров: сам ты выпустил Джина из бутылки.

* * *

«Мир, как видишь, тесен, — так начинал Костя свое послание, — и в этом тесном мире, хочешь ты этого или нет, пути наши скрещиваются и пересекаются...»

Отдав затем дань твоему публицистическому дару, он со свойственным ему цинизмом продолжал:

«Реляции твои, при иных обстоятельствах, могли бы обесмертить имя автора. Должен тебя, однако, огорчить: при существующей конъюнктуре ты с обличениями своими выглядишь, в лучшем случае, буйнопомешанным, только что вырвавшимся из больничной палаты. Пойми ты, тонны бумаги исписаны уже на эту тему, миллион корреспонденций, со всех уголков необъятной нашей Родины. Об одном и том же, в одинаковых почти выражениях: «Произвол!», «Извращение генеральной линии!», «Союз с середняком!», «Очковтирательство!», «Подтасовка цифр!» И тому подобные перлы. Сплошная истерика — ты не составляешь исключения. Мне ничего не стоило бы, конечно, отделаться от тебя одним росчерком пера: «исходящий номер... гражданину... Приведенные вами факты проверяются. Оренбургскому исполкому даны указания... Виновники нарушений привлечены к строгой ответственности...» У нас заготовлены десятки тысяч бланков, надо только заполнить имя адресата; я подписываю не читая. Если же я делаю для тебя исключение и сажусь за этот пространственный ответ, не ответ даже, а нечто вроде трактата (своего рода — Анти-

Дюринг, читай Анти-Малашкин), то причина тому, как сам ты, вероятно, догадываешься, наша с тобой старая дружба, хотя и подмоченная... К тому же среди многотысячной армии жалобщиков ты, в единственном числе, претендуешь на какие-то далеко идущие выводы и обобщения, которые также невозможно оставить без ответа. Не будем же растекаться по древу, возьмем быка за рога: что сей сон означает — исторические твои вопли по поводу Бешевских «ужасов», дискредитации ленинского кооперативного плана, «попрания социалистической демократии» и т.д. и т.п.? Самое во всем пикантное — апелляция твоя к Ленину! Будто бы не ленинскому перу принадлежит евангелие социализма — «Государство и революция»! Будто бы не Ленин учил нас, что альфой и омегой марксизма является она и только она: идея диктатуры рабочего класса! Что именно в ней — в диктатуре — ключ к социализму, его надежда и прочная гарантия! Не он ли, Ленин, поставил точки над *i*: государственная власть — это орудие господства, принуждения, насилия, так и знайте! И не стройте на этот счет никаких иллюзий! Совершенствуйте это орудие, улучшайте, но помните: в нем, в аппарате власти, спасение ваше. Используйте же его до конца, не выпускайте из рук!

После сказанного уместно будет задать тебе шекотливый вопрос, сугубо между нами, с глазу на глаз: ты что же, всерьез? Ты, на самом деле, вообразил, что бешевские твои мужики и не только бешевские, но и все сто миллионов способны когда-нибудь воспылать страстью к марксизму, чтобы самим, без всякого понуждения, по доброй своей воле, всей громадой своей, ринуться в колхозы, с чадами своими и домочадцами, с Маньками, Жданками, Дуськами, Муськами, и под руководством посланцев партии начать строить новый, светлый мир социализма? Поверил, по наивности своей, будто без так называемой ликвидации кулака как класса, без того, чтобы до смерти напугать эту ораву собственников, без наводнения деревни армией уполномоченных, оперуполномоченных, «представителей», заготовителей, фининспекторов, контролеров, сле-

дователей, обследователей, словом — без этой государственной махины, одними лишь уговорами, возможно увлечь мелкого хозяйчика на путь коммунизма? Где, в каких романах, ты вычитал эту чушь?

Ты возомнил даже, быть может, что пролетарское государство, его карающая длань, острием своим нацеленная против эксплуататорских классов, не может, по самой своей природе, обрушиться на класс тружеников — творцов и опоры самой власти? Так, что ли? Если так, позволь тогда поллюбопытствовать, как подобная чепуха уживается в твоей голове с такими азбучными истинами марксизма, как «партия и класс», «авангард и массы», «социализм — и пережитки капитализма в сознании людей»... Или ты, возможно, решил, что, вообще, незрел час для обещанного «отмирания государства» при социализме?

Впрочем, еще предстоит основательно с тобой разобраться, что именно вкладываешь ты в самое понятие «социализм», его сущность, исторический его смысл. Похоже на то, что здесь-то, в самом главном, у тебя не сведены концы с концами. Во всяком случае, я никогда не забуду, как во время оно, в комсомольские еще годы наши, ты упивался Блоком, жевал и пережевывал, с поистине телячьим восторгом:

Из-за вьюги невидим
И от пули невредим
Нежной поступью надвьюжной
Снежной россыпью жемчужной
В белом венчике из роз
Впереди — Иисус Христос!

Сусальные эти строчки с ума тебя сводили, вспомни... Хорошо, Блок, с него взятки гладки, он никогда не причислял себя к марксистам-ленинцам. Тебе же полагалось бы выучить назубок, что социализм — это способ производства — и ничто другое! Отношение к средствам производства! Классы! Распределение общественного продукта! И никаких тебе «Венчиков из роз»... Социализм — это национализация заводов!

Выкорчевывание собственности! Совхозы! Колхозы! В том числе и Бешевский твой колхоз, по-твоему — липовый, скороспелый, а все же колхоз! Ты негодуешь, называешь это опошлением ленинизма, пародией на социализм... Что, в этом случае, остается от твоего марксизма? Ответ! Прежде всего — самому себе отвечай»...

Он просто потешался над тобой, тебе не следовало реагировать, портить себе кровь. Тем более не стоило, что ему было трижды наплевать на твои возражения, точки зрения твои, на глубокомыслие твое. Ты вообще был нужен ему, как собаке пятая нога, он даже адреса своего не сообщил для ответа. Просто — человек решил позабавиться, подразнить тебя, довести до белого каления, тебе не надо было поддаваться. Однако же — проклятущее это письмо чем-то тебя потрясло, обрекло на муки мученические. «Что осталось в тебе от марксизма?» Вопрос этот въелся в твой мозг, лишил тебя сна и покоя.

В довершение всего: вылазка Кости на этом не закончилась. Вслед за первым посланием последовали другие, одно другого задиристей, целая серия. Это была назойливая, рассчитанная в деталях, длительная кампания, цель которой так до конца и оставалась для тебя загадкой. Главное же — почтовая эта посылка, она-то и явилась по сути солью всей затеи, ее изюминкой.

Вскоре после первого же письма ты получил от неизвестного тебе отправителя, с явно вымышленной дурацкой фамилией Сосискин и фальшивым, как потом выяснилось, обратным адресом, увесистую почтовую посылку, — ты еле приволок ее домой. Не могло быть двух мнений насчет того, кто именно скрывается под маской этого мнимого Сосискина, и первым твоим побуждением было: швырнуть этот посылочный ящик на мостовую, разбить вдребезги, изрубить, сунуть в огонь. Ты брезговал прикоснуться к посылке, дотронуться до нее: что он мог туда насовать? Кучу сухарей? Кусок паршивой колбасы? Дескать — знай наших, Костя Зверев протягивает тебе руку помощи, жри... Однако, чересчур уж оттягивает руки этот

ящик, удивительно даже, как они, на почте, согласились принять такую тяжесть, можно подумать — слиток золота! Быть может, он и на самом деле сунул туда грудку камней, металлолома, или еще чего-нибудь в этом роде? Лишний раз поиздеваться... Бойся данайцев дары приносящих! К черту эти его дары! На свалку!

Любопытство все-таки взяло верх; трясущимися от нетерпения руками ты принялся распаковывать посылку. О, Боже! Хорошо бы ты был, начни ты орудовать топором, швырять, топить, жечь... Стопка свеженьких, в ярко-красных переплетках, томов сочинений В.И.Ленина! Тебя бросило в жар! Он знал, твой Зверев, на какую наживку ловятся Малашкины...

* * *

Все почти ленинские тома, когда ты начал лихорадочно их листать, оказались расчерчены кистиной рукой во все цвета радуги — красный, синий, черный... Поля испещрены были вопросительными и восклицательными знаками, репликами, обращениями в твой адрес. На каждом шагу — ссылка: см. там-то, см. выше, см. ниже. Он проделал для тебя колоссальную работу, твой наставник, услужливо приглашая следовать за собой. И ты послушно поплелся следом, не подозревая еще, в какую рискованную, опасную игру тебя вовлекают. Игра эта сразу же, с первого шага захватила тебя, ты погрузился в нее весь с головой. Никогда еще ты не набрасывался с такой жадностью на Ленинские творения, никогда раньше они не поднимали в тебе такой бури. Ночи напролет, не разгибая спины, ты просиживал над драгоценными для тебя страницами, рыская, выуживая, пережевывая, поминутно хватаясь за Костины письма, сличая, отчеркивая. Ты исписал все свои блокноты, тетрадки, всякий попадавшийся под руку клочок бумаги; использованные почтовые конверты, бумажные кульки — все пошло в ход, ты горел, пылал буйным пламенем, охваченный давно не испытанным тобой ощущением священного экстаза.

Дело нисколько не менялось от того, что тон в игре — от начала до конца — задавал Костя. В его руках находилась дири-

жерская палочка, он контролировал каждое твое движение, он выбирал тематику, он — трактовал, он — из московского своего далека — обрушивал на твою голову словесные потоки, оставаясь в то же время для тебя недостижимым и неуязвимым. Он так до конца и не удосужился сообщить тебе свои координаты, да если бы и сообщил, ты все равно не вздумал бы воспользоваться. Он по сути не нужен был тебе, хотя подстрекательские его письма подстегивали и возбуждали тебя; ты томился без них и мучился, ждал их с шемящей и страстной тоской наркомана, ожидающего очередного укола. Главное, однако, заключалось не в нем и не в фарисейских его письмах. Между вами на этот раз возвышалась исполинская фигура Ленина, вашего судьи и арбитра. Это-то и вдохновляло тебя, вселяя чувство уверенности, восторга и самозабвения.

Блженство твое, однако, продолжалось недолго. Ты не успел даже уловить, в какой момент и в связи с чем получилась вдруг эта осечка. Именно осечка — внезапная, без всякого, казалось бы повода. Тебя ни с того ни с сего охватило беспокойство, от которого ты не в состоянии был уже освободиться: поналобилось немало времени, чтобы ты сообразил, наконец, что, собственно, произошло. А произошло то, что самым неожиданным для тебя образом совершилось какое-то фантастическое смещение ролей: из судьи и арбитра Ленин сам вдруг превратился в азартного, яростного игрока, и сражался он — самое при этом поразительное! — не против Кости Зверева, нет! И — что само собою разумеется — не против тебя. Он воевал против самого себя... Ленин против Ленина! Это больше всего тебя потрясло. Два Ленина: Ленин Кости Зверева и Ленин Павла Машкина. Они медленно сближались — два дуэлянта, в минуту решающей схватки. Один — воинственный и грозный, в плаще тореадора, с вытянутым вперед пистолетом, нацеленным в голову врага. Другой — в распахнутом пиджачке, безоружный, дуло пистолета — книзу: подмигивающий, усмехающийся, неловкий. Один — Костин Ленин, — бушевал, метал громы и молнии, потрясал кулаками... Это он, Костин Ленин, с небывалым

до этого цинизмом, открыто, во всеуслышание, призывал к насилию, провозглашая его, насилие это, главным средством политической борьбы. Это он — впервые в истории — поднял на смех буржуазную демократию, развенчал миф о свободе, разогнал Учредительное собрание, восславил голую, ничем не прикрытую, диктатуру. Он, играя на инстинктах масс, бросил острый подстрекательский лозунг: «грабь награбленное!» Он, Костин Ленин, а не кто-либо другой, возвел беспощадность и нетерпимость — в догму, а классовую ненависть — в движущую силу нового общества! Он, этот именно Ленин, явился создателем карающего меча Революции — ВЧК, вдохновителем ее подвигов и деяний. Он, Ленин, явил миру образец неутомимой требовательности и непримиримости; призывал отсекать все колеблющееся, неустойчивое; безжалостно рвал узы дружбы, превыше всего ставя непоколебимость и железную дисциплину.

И рядом с ним — другой, твой Ленин, полярная противоположность первому, Костиному. Олицетворение милосердия и дружелюбия, сдержанности и терпимости. Терпимости не только к единоверцам своим, товарищам по оружию. Терпимость к противнику, великодушие к врагу! Это он, твой Ленин, проявил поистине трогательную заботу к завязанному противнику своему, социал-демократу Мартову. С легкостью необыкновенной сменил он гнев на милость по отношению к «штрейкбрехерам» Октября — Зиновьеву и Каменеву, сохранив до конца дней своих доверие к ним и дружбу. Как добрая няня, возился он с инакомыслящими, терпеливо и мудро, без окрика и без палки добиваясь согласия и понимания. Ленинская мечта о бескровном, мирном переходе к социализму. Мирнолюбивое направление самих ленинских идей, их несовместимость с какой бы то ни было агрессией, воинственностью. Человеческие черты твоего Ленина, его демократизм, доброжелательность, доступность...

Нет, ни на секунду ты не мог усомниться в подлинности твоего Ленина. И тем не менее — прежнее твое блаженство кончи-

лось раз и навсегда. Какая-то появилась в тебе червоточина, которую непостижимым образом уловил Костя Зверев и которой не преминул воспользоваться. Он вообще проявил во всей этой истории поразительные телепатические способности: оставаясь в своем ЦК РКИ на расстоянии тысяч километров от тебя, он ухитрялся читать в мыслях твоих, как если бы перед ним разложены были твои конспекты, записи, заметки. Одна такая запись твоя и послужила поворотной вехой в ходе вашей игры и, можно сказать, окончательно тебя подкосила, приведя к самым неожиданным для тебя последствиям.

* * *

Пытаясь как-то отбиться от костиных выпадов в твой адрес, ты, не очень даже вникая в суть дела, просто для себя, сделал у себя в блокноте следующую, не очень вразумительную запись:

«Зверев, — записал ты, — прав в одном. Надо прежде всего уточнить для себя понимание самой сущности социализма, его сокровенного смысла. Конечно же — не самоновейшее сверхгосударство. И не промышленные рекорды, не зерносовхозы, не колхозы-гиганты — это еще не социализм! Главная задача — нравственное обновление общества. Однако — где они, истинные критерии нравственности? Ленин был в моральном отношении вне всяких подозрений. Загадка состоит в том, могли ли такого масштаба деятели, как Ленин, позволить себе переступить существующие нравственные барьеры во имя достижения своих каких-то социальных идеалов? И мыслимо ли вообще наличие каких-то сверхценностей, неподвластных нравственному контролю и вступающих в конфликт с основами человеческой морали?»

Весьма расплывчато, не правда ли? Костя Зверев, однако, на расстоянии, не читая, одним телепатическим своим чутьем что-то унюхал, подхватил на лету. Ни минуты не колеблясь, он юркнул в эту щелочку. Он предпринимает новую и яростную против тебя атаку, обрушивает на тебя цикл своих писем-трактатов, лейтмотивом которых становится отныне щекотливейшая из тем: *социализм и нравственность*.

«... Ты, конечно, попытаешься найти для себя лазейку. — так начинается эта новая глава его сочинений. — В частности, этическая сторона вопроса. Предупреждаю, тебя ждет на этом пути полнейшее фиаско. Не потому, что марксизму вообще безразлична проблема нравственности, нет. Просто — отсутствует необходимость копать в этом дерьме (прости за резкость), поскольку социализм решает эти вопросы попутно, походя. У Ленина, например, ты не найдешь на эту тему ни звука. Ленин не был, как известно, моралистом. «Нравственно то, что выгодно с точки зрения социализма... в остальном разберетесь сами», — такова в двух словах его позиция».

Это было только начало, оно почему-то вызвало в тебе бурный протест. Ты бросил, не стал дочитывать. Все последующие письма на ту же тему ты с презрением отшвыривал, не распечатывая. «Нравственно то, что выгодно для социализма»... С меня вполне достаточно, — решил ты про себя. — Что он там еще может придумать? Какие-нибудь газетные штампы, — в одно ухо входит, в другое выходит. Что-нибудь вроде: «Партия — ум, честь и совесть эпохи»; или «Партийность — высший критерий коммунистической морали»; или «О буржуазном лозунге общечеловеческой, надклассовой морали»... Нет, с меня хватит.

Все же — ты решил себя проверить, еще раз обратиться к Ленину. Азарт исследователя постепенно овладевал тобой. Ты перешерстил заново все тридцать ленинских томов, вторым туrom. Увы — ничего капитального, членораздельного; одни лишь намеки, загадки, действительно: «разберитесь сами»... Издательская усмешка Кости неотступно сопровождала тебя. Не своим, а почему-то Пахомовским голосом, вкрадчивым и слащавым, он лукаво нашептывал тебе: «Не в те двери, дорогой! Не в те двери»... Ты не выдержал, бросился распечатывать отложенные тобой, еще не читанные Костины письма. О! Он оказался не так уж прост, твой Мефистофель! Далеко не так прост, как тебе это казалось. Шаг за шагом, по буеркам и уха-

бам, он тащил тебя за собой, как на аркане, против твоей воли, все ближе и ближе к краю пропасти...

...«Ты удержался на уровне школьных наших представлений о нравственности, — писал Костя, — в наше-то лихое время! Просто диво»...

...«Революция не терпит интеллигентской брезгливости, чистоплюйства. Подумай, что стало бы с Великим Октябрем, буде каждый из нас, следуя примеру твоему, цеплялся за сомнительные свои добродетели, шеголял бы своей девственностью, так называемой нравственной своей чистотой? Взять хотя бы, для примера, тогдашнюю нашу с тобой историю: что, собственно, произошло? Тебе предлагалось крохотное партийное задание, самое пустяковое: потолкаться среди троцкистов, послушать, что говорят, собрать кое-какую информацию — было из-за чего лезть в бутылку? И что же? Партбилет — долой! Сам — на дыбы! Себя обрек, меня подвел. Ты посчитал для себя низостью, падением... Как будто в легендарные дни Октября, в гражданскую войну и позже не приходилось на каждом шагу прибегать к ухищрениям, расставлять сети, ловчить, подставлять ножку... Как будто сама Революция — ее высокие идеи и практика их воплощения — является, если уж на то пошло, образцом нравственной чистоты! Экспроприация собственности! Ликвидация класса буржуазии! Упразднение буржуазных свобод! Диктатура пролетариата! Преследования, аресты, судебные процессы... Сплошное нагромождение ужасов, если, конечно, подойти с меркой буржуазной морали... Тем не менее, надеюсь, ты не собираешься менять вехи, отступаться от Октября, повернуть оглобли»...

...«Тебе кажется непостижимым тот факт, что не кто-нибудь, а я, Костя Зверев, представляет сегодня партию Ленина! Костя Зверев в твоём представлении — интриган, стяжатель, беспринципный карьерист и бюрократ, и он именно уполномочен сегодня говорить именем партии, толковать ее волю, диктовать, решать судьбы людей... Ты не можешь мириться, тебе кажется вероломством, кощунством! Между тем — все так естествен-

но, закономерно! Кто, если не Зверевы, люди здравого смысла и твердой воли, реалисты, свободные от условностей и предрассудков, кто, кроме них, способен вытаскивать громоздкий воз социализма? За нами, помимо всего прочего, имеется то преимущество, что мы, по крайней мере, не кичимся, не выпячиваем своего Я. Прикажут — будет сделано! Сие не следует понимать слишком упрощенно: речь идет о полном совпадении личных и государственных интересов. Мы нужны государству, государство необходимо нам... великая, сильная, могучая социалистическая держава! Мы кровно заинтересованы... Кто же, спрашивается, если не мы, Зверевы, достоин ныне стать надежной «опорой трона»? Ты, что ли, Малашкин Павел? Забудь! Время Дон-Кихотов Ламанчских миновало безвозвратно... Дон-Кихоты сегодня — это шлак, отходы, если не хуже: сорняк, от которого избавляться надо, вырывать с корнем».

...«Беда твоя, Павел, и тебе подобных заключается в том, что вы не усвоили простейшего и в то же время основополагающего принципа социалистической системы: социализм не нуждается в так называемых «критически мыслящих личностях», каковые только и могут что критиковать, рассуждать, умничать, сопоставлять, взвешивать, всегда и все подвергать тлетворному сомнению... Социалистическое государство само призвано осуществлять бдительный контроль, стоять на страже, подвергать всех и каждого сомнению, проверке, взвешиванию — на весах истории... Она уже началась — эта всеобщая проверка. Целые общественные прослойки, классы — кулаки, середняки, интеллигенция, левые, правые, троцкисты, оппортунисты, ревизионисты, — всё швыряется на чашу весов. Никакие там фигли-мигли! Высокопарные фразы, благородство, глубокомыслие — все это больше не котируется. Пожалуйста на весы, не угодно ли? Гигантская агломерационная фабрика, все будет пропущено через ее решето... Все гнилое, рыхлое, склонное к размышлениям и колебаниям, все подпорченное, нестандартное подозрительное на вид — отбраковывается, отбрасывается прочь. Для дела коммунизма нужна отсортированная, тща-

тельно просеянная, очищенная от примесей, однородная масса...

...«И еще одно: ты, кажется, вообразил, что можно уклониться, отсидеться в сторонке, умыть руки? Я, дескать, ссыльный; с ссыльного — какой спрос? Я рассчитался, вышел в тираж... О нет, не обольщайся! Ты побывал уже на весах, шлепнулся на конвейер — всё! Судьба твоя решена! Тебя отныне будут мотать и мотать, перебрасывать, лента за лентой, камера за камерой, шлифовать, подгонять — пока не обкатают! Единство всего народа, политическое и моральное, — таков закон социализма, учти. И сделай для себя выводы. Спихватишься — ты обязательно спихватишься, — но гляди, может оказаться поздно. Боюсь, ты уже прошляпил, пропустил все сроки».

* * *

Он точно в воду глядел, твой прозорливец. Ты, действительно, спихватился, и это оказалось слишком поздно, как он и предсказывал. Но дело не в этом, само по себе обстоятельство это не было столь катастрофическим, чтобы обрекать себя на такие муки. Тебя одолевало другое: как угораздило тебя так дешево купиться? Клынуть на такую мелкую, ничтожную приманку, как эти фарисейские костины письма, его фальшивый грим, жонглерство его ленинскими цитатами? Не мог же ты все это принимать всерьез, знал ведь: за душой у Зверева ничего нет; пустота, тлен, ничего святого, он не особенно даже скрывает.

Что тебя больше всего тяготило на протяжении ряда лет — это какое-то смутное, неуловимое ощущение того, что Костя Зверев тут ни при чем. Не он толкнул тебя на этот безумный шаг, и ты, может быть, напрасно себя казнишь. Где-то в глубине твоего сознания, точнее — подсознания, упорно хранилось в течение нескольких лет, не угасая, неясное воспоминание о необыкновенном каком-то событии, предшествовавшем твоему позору и обусловившем его. Что за событие и какое оно могло иметь отношение к твоему падению — этого тебе никак не удавалось вспомнить, и это-то обстоятельство больше

всего тебя изводило. И только много лет спустя, уже в лагере, лежа на нарах рядом с Грантиком, ты сызнова увидел этот удивительный сон с точностью необыкновенной, во всех деталях: выражение Его лица, когда он склонился над тобой, прищур Его глаз, сокрушенное покачивание головой... Голос Его, картавую его речь... Этот его монолог, потрясший тебя на всю жизнь! Только теперь, после повторного этого сновидения, для тебя стало ясно наконец: вот кто водил тогда твоей рукой! Вот откуда этот внезапный твой порыв! Ночной Ленин! Костя тут ни при чем. Конечно, никто не поверит: где это слышано, чтобы ночной сон, слово в слово, с пунктуальной точностью, повторился дважды, с интервалом в семь-восемь лет! Ты сам себе не поверил. Поэтому-то ты поторопился тут же, не поднявшись еще с нар, не протерев как следует глаза, пересказать все Грантику! Он, Грант, и явился единственным живым свидетелем всей этой истории, больше ты не стал никого посвящать. Мало того: не надеясь больше на память свою, боясь снова упустить ночной этот разговор, ты здесь же, по свежим следам, всё записал, от точки до точки, со всеми нюансами и художественными, так сказать, подробностями. Запись эту ты хранил до конца дней, как некую реликвию, как если бы эта встреча с Лениным была подлинной, реальной. Кстати будет сказать: сон этот был тем и удивителен, что все происходило в сугубо реалистических тонах, совершенно как бы наяву. Ты лежал с широко раскрытыми глазами, явственно слышал Его голос, шевелил губами сам, задавая Ему свои вопросы — сознание твое работало с предельной ясностью...

Началось с того, что ты вдруг почувствовал во сне странное беспокойство, будто тебя просвечивают насквозь, тебе даже жарко стало, судорога пробежала по телу, ты в испуге открыл глаза. Над тобой склонялся Владимир Ильич, на нем была обычная Его одежда, пиджак, галстук, даже кепка; в руках у него была громадная лупа, в которую он самым тщательным образом разглядывал тебя. Орудя своей лупой, он поворачивал тебя во все стороны, неодобрительно покачивая при этом

головой и делая какие-то пометки в своем блокноте — тебе стало страшно! Преодолевая страх, ты прошептал, не смея высказать голос:

— Измучился я, Владимир Ильич... Запутался в трех соснах. Помогите...

Отведя в сторону свою лупу и строго на тебя поглядев, Он ответил:

— Интеллигентщина, батенька мой... Интеллигентские штания!

— От этого, Владимир Ильич, не легче...

— Поближе к жизни, дорогой товарищ. К практике ближе, к массам. Вы все витаєте...

— Но, Владимир Ильич... Отсюда как будто все и пошло? От витания в облаках... Великий наш Октябрь...

— Идеализация истории, — возразил он, вдруг нахмурившись. — Мы, марксисты, никогда не разделяли... Вы путаете нас, молодой человек, с народниками. Прочтите: «Что такое дружба народа».

— Однако же, Владимир Ильич... народнические традиции вы не отвергали? Их романтика, идеализм...

— Вот вы куда гнете! — Он даже присвистнул. — Не-э-эт, батенька мой, не вый-дет! Тут мы вас, батенька, поправим! Крепенько поправим...

Ты поспешил оправдаться: «Я имел в виду, Владимир Ильич, не в философском смысле! Идеализм личный, нравственный...

— Ни в каком смысле! — перебил он тебя раздраженным тоном. — Материализм! Безоговорочный! Последовательный! Неистребимый! — Голос его стал вдруг жестким, безапелляционным. — Научное предвиденье! Расчет! Педантизм! Точность, до копейки... И пусть нас называют сухарями, торгашами от революции, согласен!

— Но, Владимир Ильич... Область человеческого духа? Этическая сторона... Душевная красота?

— Любите вы, батенька мой, словечки...

— Не хлебом же единым, Владимир Ильич?

- Века, молодой человек! Столетия нужны.
- Можно ли подобные вещи откладывать? Ждать...
- Не откладывать. Подводить материальную базу.
- Согласен, Владимир Ильич, но... Не зачерствеем ли? Не захлебнемся ли, в собственном соку?
- Вы, я вижу, нытик, молодой человек! Типичное интеллигентское нытье...
- Мне, Владимир Ильич... Мне почему-то страшно...
- Социализм побеждает, а вам страшно? — голос его дрогнул. — Почему страшно?
- Царство Зверьих... Зверевы задают тон. Владимир Ильич.
- А что Зверевы? — Он вдруг вспыхнул, обрушился на тебя, заспешил. — Что Зверев? — настойчиво повторил он. — Несоветский человек? Непатриот? Фашист, может быть?..
- Упаси Боже, Владимир Ильич!
- Некоммунист?
- Я не говорил, Владимир Ильич!
- Обманщик? Бюрократ? Склочник? — Он засыпал тебя своими вопросами, ты не успевал отвечать. Безобидное твое замечание насчет царства Зверевых вызвало в нем почему-то бурю.
- Что-нибудь криминальное? — продолжал он допрашивать тебя. — Взятничество? Злоупотребление служебным положением? Разбазаривание государственного имущества? Хищения?
- Да нет же, Владимир Ильич, никакого нет криминала. Я имел в виду совершенно другое, гораздо более страшное...
- Он не дал тебе договорить.
- То-то же, — произнес он с явным облегчением. И, помолчав, прибавил.
- Главная забота — партия...
- Лицо Его снова омрачилось, стало вдруг усталым, озабоченным. Он долго очень молчал, углубившись в себя. Ты не дышал; в благоговейном экстазе ты ожидал, не заговорит ли он

снова с тобой, не скажет ли чего-нибудь еще, чего-нибудь, хотя бы слово. Тут-то он и произнес удивительный этот монолог... Именно монолог: Он ни к кому не обращался и уж во всяком случае не к тебе. Он перестал тебя замечать, как и все вокруг себя. Целиком поглощенный собою, Он крупным размеренным шагом прошелся по комнате, взад-вперед, по диагонали. Потом шаги его участились, он двинулся быстрее, еще быстрее, почти бегом, почему-то по кругу. Впереди Него — именно впереди, а не сзади, и это тебя как-то поразило — двигалась, ускользая от Него, собственная Его тень, что создавало ложное впечатление, будто он безуспешно пытается поймать свою тень, ухватиться за нее. Отвлеченный этими деталями, ты упустил начало монолога, чего потом простить себе не мог.

— Ключевое звено — партия, — услышал ты Его голос и вытянулся весь, напрягся, никакими силами невозможно было уже тебя отвлечь.

— Это бесспорно, но...

Он выждал, как бы предвидя возражения, и многозначительно повторил.

— Но... было бы непроходимой глупостью полагать, будто этим все сказано! Дальнейшее развитие событий...

Он говорил невнятно, то повторяясь, то, наоборот, не договаривая, перескакивая, роняя отрывочные фразы, недоступные твоему пониманию. Тебе стоило громадных усилий уследить за общей нитью Его рассуждений; отдельные пункты монолога так и остались для тебя неразгаданными.

— Октябрьское восстание? Пустяк, мелочь, — продолжал он. — Гражданская война? Игра в бирюльки... Так называемая экономика? Скука... Начальный курс, для младших классов! Настоящие метаморфозы — они начинаются позднее, внутри самой системы... Главный очаг — это мы, мы сами, сиречь — Партия! Партия — и власть; партия — у власти; власть Партии... Монопольная, безраздельная, всеобъемлющая власть! И дальше: ЦК партии, Политбюро ЦК, Оргбюро, Секретариат... Гигантский партийно-государственный аппарат, он что угодно

перемелет, сотрет в порошок, включая авторов проекта... Эпигонство, последыши... Теоретическое скудоумие, эмпиризм, тупость; господство посредственности... И над всем этим — «сильные личности», культ Цезарей! Групповщина, интриги, фискальство, подозрительность, страх... Брр! Спекуляция на Традициях, на Единстве... Фальсификация истории! Десятый съезд, двадцатый съезд, тридцатый, до бесконечности... Тошища, просвета не видать! Как это он, юноша этот, сказал? Царство Зверевых... Недурно, черт возьми, сказано! Решать значит будут они, эти Зверевы! Ergo... с этого-то, может быть, и следовало начинать? Отсюда именно разматывать клубок, а? С первичной клеточки... Недурно бы попробовать, хм! Все эти нагромождения, хлам этот... Экономизм, оппортунизм, ревизионизм, идеализм, эмпириокритицизм — на свалку, на свалку! Начать все заново, со Зверева... Ну-да, ну-да, хвосты эти... Материальная база, переход от капитализма к социализму, материально-техническая база коммунизма... до чего же бездарно, плоско! Неужто нельзя было придумать что-нибудь поостроумней, повеселее? Главное же — этот бедный юноша, Малашкин этот, со своими страхами... От него, тоже ведь не так просто отмахнуться!

Он взглянул в твою сторону и в смущении улыбнулся. Лицо твое в эту минуту не отражало, видимо, особой сообразительности и вызывало улыбку. Не смея шелохнуться и широко разинув рот, ты вытянулся в струнку, пытаясь вникнуть в самую суть рассуждений Учителя.

Тебя вдруг охватило чувство непомерной перед Ним вины и глубокого раскаяния. Ты возжаждал раскрыть перед Ним свою душу, всё выложить начистоту: о раздорах своих с Костей Зверевым, о разрыве с Партией, как все получилось; про Бешево, про Пахомова; собственные твои сомненья... Всю подноготную! Просить у него прощения, совета.

Он вдруг отвел от тебя глаза, насупился и, стараясь придать голосу своему уверенность и строгость, сказал.

— Не надо мудрствовать лукаво, умничать не надо... Ком-

мунист прежде всего — боец партии, помните! Стойкость, большевистская выдержка — нет ничего важнее! Партия, ее боевой дух! Ее величие! Чистота ее рядов...

Тебя душили слезы; сделав над собой усилие и не смея взглянуть в Его лицо, ты выдавил из себя:

— Но, Владимир Ильич, где она, эта чистота? И величие? Вы только что говорили...

Он, очевидно, не расслышал, до тебя донесся его глуховатый, удаляющийся голос:

— Железная воля партии, ее сплоченность...

На этом разговор ваш оборвался, ты проснулся. Через какую-нибудь минуту, придя в себя и мучительно напрягая память — ты ничего уже не мог припомнить, восстановить. Пустота и ощущение потерянности, безнадежности... И тягостное сознание какого-то неизвестно кем навьюченного на тебя обязательства, которое тебе предстоит выполнить незамедлительно и беспрекословно, сегодня же, сию же минуту.

Весь этот день ты блуждал, как сомнамбула, не отдавая себе отчета в действиях своих и поступках. Опомнился ты уже после того, как мосты были сожжены, заявление было отправлено по назначению. Ты даже не представлял себе как следует текста собственного своего творения, знал: письмо на имя шестнадцатого партсъезда, признание каких-то своих политических ошибок и тяжелой вины перед Партией, просьба восстановить тебя в партии. Конечно, далеко еще не доказано, что во всей этой кошмарной истории упомянутая ночная галлюцинация сыграла сколько-нибудь решающую роль. Скорее наоборот, истинную причину твоего поступка следует искать в каких-то общих условиях, в первую очередь, в том обстоятельстве, что ссылка, как это и предсказывал Пахомов, на глазах у тебя стала лопаться и рассыпаться, как карточный домик. Настала пора всеобщего замаливания грехов, со всех сторон посыпались покаянные письма, капитулянтские декларации, заявления, признания. Ты попросту не выдержал, в тебе проснулось вдруг стадное животное; предок твой, неандерталец,

заговорил в крови у тебя; ты ринулся без памяти в общий поток. Возможно и другое. Может быть в чем-то прав Агап Агапыч, утверждающий, что «черного кобеля не отмоешь добела»; что партбилет — это смертельный яд, отравка, кто хоть раз вкусил, тот обречен, прикован до конца дней своих, как раб к колеснице. И, следовательно, ночное твое видение само по себе явилось в данном случае всего лишь рефлексом, вспышкой возбужденного твоего воображения, и ничем иным.

Так или иначе — дело было сделано, заявление отослано, и ты — в ожидании развязки — впал в состояние невменяемости, погрузился в небытие. Подобно обитателю камеры смертников, ожидающему появления священника. И священник не замедлил появиться: он предстал перед тобой в лице старого твоего приятеля, начальника Оренбургского областного НКВД Пахомова, в чей кабинет ты вскоре был приглашен, опять-таки с ночным визитом.

Он поглядывал на тебя с нескрываемым торжеством, разглаживая при этом измятую бумажонку, очень уж напоминавшую посланное тобой в Москву заявление. Он всячески щеголял бумажонкой этой, манипулировал ею, поддразнивая тебя и подчеркивая отличное свое настроение. Ты понуро ждал, ничего другого тебе не оставалось.

— Согласитесь, — сказал он наконец, убирая бумажку, — все-таки... вы слишком с этим тянули.

Ты промолчал.

— И вообще — опять вы не в те ворота. Почему в адрес Съезда?

— Как известно, — ответил ты, — партийный съезд — высший орган партии

Получилось у тебя довольно глупо: как школьник на экзаменах. Ты покраснел.

— Партии, — повторил он с насмешкой. — Но вы-то — не партия? На данный момент, — подчеркнул он многозначительно и продолжал. — Для вас как будто существуют другие инстанции? Впрочем, — он закатил глаза и прибавил с при-

творным прискорбием, — вы, кажется, не очень дорожите оными инстанциями... Предпочитаете не иметь дела.

— Я все-таки хотел бы знать, — начал ты тоном вызывающим и резким, — имею я право обращаться к партии? Непосредственно? Что, ссылные...

Он остановил тебя:

— Ох, молодо-зелено, — сокрушенно покачал он головой. — Неужели же вы могли вообразить, что партсъезд станет заниматься Малашкиными, Кудряшкиными, Барабошкинами... Да будет вам известно: подобных заявлений, — он снова извлек бумажку, помахал ею перед самым твоим носом, — тысячи, десятки тысяч! И все — в адрес Съезда. Что вы там, сговорились, что ли?

Наступила неловкая пауза. Тебя коробило от его тона, он держал себя на этот раз гораздо развязнее и бесцеремоннее, чем во время прошлого твоего визита.

Ты первый нарушил молчание.

— Выходит, что же? В партию — через НКВД? Так что ли?..

— Ну, зачем же так грубо, цинично, — обиделся он, — все наизнанку...

— Что все-таки от меня требуется? — ты нетерпеливо поднялся с места. — Зачем вызывали?

— Мы вас, Малашкин, давно ждем уже, ох как ждем! — сказал он понизив голос и перейдя на интимный тон, — ждем не дождемся...

— Напрасно ждете, — отрезал ты.

— Ничего, — ласково возразил он, — мы народ скромный, терпеливый... Вот уже шагок один вами сделан? Сделан! Весьма робко, неуверенно, но сделан. Еще подождем... Кто скажет А, скажет Б.

— Можно идти?

— Думайте, Малашкин, думайте... Думать надо!

Думать тебе пришлось не так уже долго: ровно через двадцать дней пришло постановление Особого Совещания — пять лет заключения, с содержанием в Нижне-Удинском политизо-

ляторе. У тебя гора свалилась с плеч: позорное твое заявление на имя Съезда можно было вычеркнуть из памяти, навсегда предать забвению. Один — единственный человек был впоследствии посвящен тобой в эту печальную историю: Грантик. Больше ты никому не открывался.

* * *

...Агап Агапыч повторил, обращаясь к Гранту:

— Не рекомендовал бы прятаться за спину Павла. Павел, к вашему сведению, не поддавался ни на какие уловки, он не шел ни на какие компромиссы...

— О да! — поспешил согласиться Грантик и, едва заметно усмехнувшись, прибавил:

— Не приходится сомневаться.

* * *

4

ПОЗНАЙ САМОГО СЕБЯ

ЗАВЕТНАЯ твоя мечта, Павел — она сбылась, в самый последний твой час. Ты жаждал этой встречи, мучительно к ней стремился; ты не мыслил без этого расчетов своих с жизнью. Один он и никто другой способен был снять с тебя груз сомнений, успокоить твою душу; и вот он здесь! Притащился! На костылях своих, на карачках — а приполз! Не выдержала душа поэта... Громадная, львиная его голова — она склонилась над тобой, припала к груди твоей. Его глаза — они имели обыкновение глядеть куда-то ввысь, поверх голов, придавая лицу выражение маски. Сейчас они обращены к тебе; скорбные, влажные, они глядят на тебя с укоризной и любовью, допытываются у тебя, вопрошают. Что можешь ты ему сказать? Дело сейчас не в тебе вовсе, у тебя расчеты кончены... Для тебя теперь важнее всего — он, Сократ! *Его* суждения, *его* приговоры... Что думает *он* по поводу всего этого... Ты столько лет ждал этого разговора — с самого тысяча девятьсот пятьдесят третьего года!

Он молчит, Сократ, он всегда был немногословен; тебе, однако, достаточно было его вздоха, поворота головы... И сейчас: ты ловишь учащенное его дыхание, прикосновение его пальцев к слипшимся твоим волосам. Вас обступили, сгрудились вокруг вас, пытаются вникнуть — напрасно! Ты один улавливаешь беззвучное шевеление его губ, биение его сердца.

— Рановато, Павел, рановато, — шепчет он, — поторопился ты...

— Самое время, Сократ; что толку — тянуть ляжку. Мы никому больше не нужны...

— Ты, Павел, не прав. Наш бесценный опыт, прожитая нами жизнь — они еще пригодятся. Слишком дорого все это обошлось.

— Материал для беллетристов! Какой-нибудь Ажаев подберет, использует...

— Ты отстал от жизни, Павел. Засиделся там, в своей норе, отгородился. Кое-что проглядел.

— Увы, Сократ, меня вернули, удостоили меня. Я сейчас нагледелся, наслушался: Кротов, Зверев... Все тот же заколдованный круг. Топчатыся, выхода не находят.

— Вчерашний день, Павел; мертвый хватает живого... По крайней мере — пытается схватить.

— Где он, живой? Вы видите его, Сократ?

— Он заявит о себе, Павел. Уже заявляет.

— Вы все еще, Сократ, не сдаетесь... рветесь в бой! Взгляните на себя: вы еле дышите!

— Ничего, Павел. Не я — другие...

Только и всего, весь разговор. Он никогда, Сократ, до конца не договаривал, всегда какие-то ребусы, намеки. И тогда, в тридцать шестом, знаменитая его речь на барже — последнее слово так и не было им сказано. Теперь, после всего, ты как будто вправе ждать от него этого последнего веского слова: как же он, Сократ, расценивает ход событий? День сегодняшней, завтрашний день? Судьбы людей? И чем все это должно кончиться?

— Ваши прогнозы, Сократ, вспомните: «Кризис партии, неминуемый взрыв, изнутри... Возврат к Ленину»... Десять лет миновало после Сталина. Где он, обещанный золотой век?

— Он в нас, Павел. В нас самих.

— Снова загадки, прорицания. Люди жаждут ясности, они смертельно устали от этой неопределенности, неразберихи.

— Спасение внутри нас — что может быть яснее, определеннее?

— Четверть века, Сократ! Четверть века ненависти, лжи, гнета... Возможно ли оно: вдруг, по щучьему велению — волшебное прозрение людей, повальное их пробуждение? Те же люди, та же партия... Послушайте Агапа Агапыча, поговорите с ним!

Сократ нехотя приподнялся, подтянулся на своих ходулях, стал беспокойно озираться, кого-то выискивать. Сотни незнакомых лиц мгновенно обратились к нему, стали разглядывать с выражением немого любопытства и — ему показалось — снисходительного сочувствия. Он поспешно опустил, спрятал голову.

— Мы, Павел, уже не в счет. Ни я, ни Агап Агапыч. Новое поколение людей, оно поднимается, выходит на какие-то новые рубежи... Воркута для них — всего лишь повод, прелюдия.

— Узнаю вас, Сократ. Вашу устремленность в будущее, постоянное ваше тяготение к чуду... Научите, как совместить: наш жестокий век — с чудом перевоплощения? Как примирить, связать воедино: Костю Зверева — с вами, Учитель?

— Ты, Павел, твой собственный тернистый путь — разве не был он, от начала до конца, усеян этими чудесами? Вспомни...

Сократ распростерся над гробом и долго уже не отрывался, нашептывал взволнованно и торопливо, страстно, в молитвенном забытьи:

...«Крохотная наша докторша, Павел, Регина Антоновна, вспомни... Ее кротость, обнаженное ее сердце, среди воркутских бараков, среди смертей и кошмаров... Не чудо?»

...«Сторублевая Люба, верный твой друг и товарищ. По сей день на ней пламенеет это клеймо: «Убийца!». «Лагерная шлюха»! Она вынырнула из пучины, поднялась, встала с тобою рядом! Не чудо ли?»

...«Грант! Через гитлеровские лагеря смерти, через Лубянку, через Воркуту ухитрился он протащить целомудрие свое, коммунизм свой — разве не чудо?»

...«Дулькин, пролаза Дулькин! Ему-то в конце концов что она, эта Богом проклятая Воркута? Он мог бы трижды от нее отречься, выкинуть из головы вон! Нет, он почему-то цепляется, собирает ее по крохам. Он влюблен в нее по уши, в ее горький хлеб, ее тяжкий труд, ее сыновей и дочерей... Он забыть ее не в силах! Не чудо ли?»

...«И вот ведь — отпетый Агап Агапыч! Он клянет, хулит,

поносит... Попробуй, поскреби его, поскобли! Глеет, глеет в нем священный огонь Воркуты, не гаснет»...

Он не договорил, он не назвал удивительнейшее из чудес — сам он, Сократ... Во всяком случае там, в стенах Цитадели ты воспринял его как милость Божью.

* * *

Цитадель... Именно так представлял ты себе новое свое убежище! После ссылки, после Пахомова, после Кости Зверева — Нижне-Удинский политизолятор! Здесь собрано было все, что осталось на Руси строптивного, неугодного, дерзкого, цвет политической оппозиции — тебе просто повезло! Несчастный! Мог ли ты предположить, что именно здесь, среди таких же, как ты, гонимых, тебе суждено стать чем-то вроде козла отпущения, мальчика для битья! Повиснуть в воздухе над зияющей пропастью!

Тебя атаковали с первой же минуты, обрушились на тебя единым фронтом, хотя, как ты вскоре смог убедиться, единый этот фронт шит был белыми нитками. Здесь были представлены всевозможные оттенки и направления: троцкисты, децисты, рабочая оппозиция, левые, правые, отошедшие, примкнувшие, не говоря уже об эсдеках, эсерах и им подобных — тебе и не снилось, что на нашей грешной земле по сей день еще водятся подобные породы, остатки каменного века... Миллион течений и течений, и в этом водовороте — ты, Павел! Гол, как сокол! Ты вдруг обнаружил: за душой у тебя ничего нет, ты плывешь по воле волн, без руля и без ветрил, тебе, возможно, не место здесь, в этой обители... И прежде, чем представляться им, раскрываться перед ними — не полагается ли тебе разобратся в самом себе, покопаться как следует в собственном «хозяйстве», решить, для себя хотя бы: кто же ты на самом-то деле? Какой веры? Союзники твои? С кем и против кого? Конечные твои цели?

Ядром бурлящего этого потока, его главенствующей силой, задававшей тон и игравшей в нем первую скрипку, по праву считалась многочисленная группа троцкистов, они же — орто-

доксы, они же — большевики-ленинцы... Они пристали к тебе с ножом к горлу: откуда? За какие грехи? Когда исключался? Мотивы исключения? Нынешнее твое политическое credo? Твоя деятельность в ссылке? Вообще о ссылке: состав ссыльных, политические настроения? Выкладывай...

Ты был прижат к стенке: что мог ты ответить, предъявить им? Письма Кости Зверева? Переговоры твои с Пахомовым? Твои подвиги на колхозном фронте? Тебя высмеют... Может быть, самый последний твой трюк, заявление твое на имя шестнадцатого партсъезда? Это-то во всяком случае никого, кроме тебя, не касалось и не могло, естественно, просочиться сюда, за тысячи километров. Кто-то все-таки догадался, спросил у тебя:

— Между прочим... к Емельяну Ярославскому, в ЦК не обращались? Не припадали к стопам? По-честному...

Их, оказывается, интересовало решительно все, всякие детали, они, по-видимому, видели тебя насквозь. Ты молчал, как рыба, язык прилип к гортани, и вся эта процедура первого опроса не предвещала тебе ничего утешительного.

Правда, в скором времени, когда туман вокруг тебя стал понемногу рассеиваться, у тебя вдруг объявился союзник в лице Агапа Агапыча. Он принялся почему-то яростно защищать тебя, афишировать на все лады: «Павел Малашкин — это вызов!», «Малашкин — знамение времени!», «Ленинизм, троцкизм, Сталин — Малашкин знать их не хочет. Он раскусил эту лавочку, повернулся к ней спиной. Утрата веры в политику — вот что такое Павел Малашкин! Конечно, с вашей узкопартийной точки зрения, Малашкин — исторический шлак, отходы... Вы, троцкисты, еще по-настоящему не уяснили себе всей глубины своего провала»... Он пел тебе дифирамбы, этот докторишка, ты готов был сквозь землю провалиться. Ты еще как следует в нем не разобрался, но было ясно одно: союз с Агап Агапычем — тоже палка о двух концах.

Все это выглядело бы не столь уж трагичным, не случись одно, самое, пожалуй, сногшибательное обстоятельство:

Гришин! Он оказался старожилом Цитадели; мало того — он был здесь, среди троцкистов, признанным вожаком!

Гришин... твоя встреча с ним тогда, после памятного партийного собрания! Ксения, среди бушующих страстей, одна брошенная на съедение! Костя Зверев, возглавлявший эту экзекуцию! Твоя размолвка с Гришиным, печальный финал этой истории... Все это мгновенно всплыло в памяти, всколыхнуло тебя, резбередило какие-то старые раны. Он здесь, Гришин, с тобою рядом, в нескольких шагах! Тебе предстоит отныне жить с ним бок о бок, дышать одним воздухом, разделять с ним судьбу... О, Господи, избавь! Благословенная Оренбургская ссылка, где ты, вернись... Увы, что имеем — не храним! Но вот — послал Бог соломинку: Сократ!

Ты не сразу его и разглядел, он держался не очень на виду. Во всяком случае — Гришин как-то затмевал его и даже Агап Агапыч, показалось тебе, третирует его, обходит стороной. Ты ухватился за брошенный тебе спасательный круг. Впрочем — предоставим слово самому герою: как раз в эту безрадостную пору тебя, Павел, потянуло исповедоваться: ты завел у себя нечто вроде тюремного дневника.

Пороемся, давай, в литературном твоём наследии.

* * *

Из дневника Павла Малашкина
1.

Он несколько не изменился, Гришин: такой же громогласный, суматошный; шевелюра та же, бороденка: командирские замашки... Он делает вид, будто не замечает меня: откровенно говоря — я не очень стремлюсь попадаться ему на глаза. До сих пор не могу без содрогания вспомнить этот вечер, после партийного собрания: Ксения поплелась тогда к нему сразу же, с корабля на бал, истерзанная, еле живая; для чего-то она прихватила меня с собою. Он и тогда не сразу приметил меня, мне показалось — он, вообще, никого не замечает, даже Ксению, ее муки, ее смертельную усталость. Он забросал ее вопросами — она еле поспевала отвечать. Состав собрания? Кто председа-

тельствовал? Поведение Зверева? От райкома кто присутствовал? Сущие какие-то пустяки: чьи-то фамилии, реплики, выпады лично против него, Гришина... Он носился по комнате, заставлял Ксению повторять еще и еще, что-то заносил в блокнот, мне показалось — копеечные дела, неужели же он так мелко плавает? Потом я все-таки сообразил: не такие уже пустяки; идет какая-то хитрая, закулисная игра, малейший зевок — полетят чьи-то головы! И все равно я не мог отделаться от этого назойливого, неприятного сопоставления, оно преследовало и угнетало меня: Гришин — Зверев... Какое-то неуловимое, поразительное сходство! Дичь, конечно! Что может быть общего? Политические противники! Враги — непримиримые, заклятые... И повадки разные, огонь и лед, полная противоположность! Как могло прийти мне в голову: примерять их, приравнивать... Нонсенс!

2.

Что-то с ним все-таки за эти годы стряслось, сразило его. Какая-то в нем появилась суетливость, раздвоенность; она в глазах у него, в каждом его движении. Впрочем — не один Гришин; все они здесь, не исключая Сократа... Они живут двойной какой-то, призрачной жизнью. Разбитое, разгромленное войско! Совсем еще недавно, считанные какие-то годы — все это бурлило, хлопотало, потрясало мир! Комиссары, партийные вожакИ, агитаторы и пропагандисты нового строя — они стояли у кормила власти, вершили судьбы людей, творили историю... Сейчас, поверженные в прах, они стараются вида не подавать, изощряются, строят какие-то новые замки, можно подумать — все у них впереди! Искусственный, иллюзорный мир, в котором нет ничего подлинного, достоверного, все обманчиво, выдуманно... Какая же это «Цитадель»?

Кто, вообще, придумал его — Нижне-Удинский этот изолятор? Один такой, на всю страну. Все политические тюрьмы — Центральная Россия, Урал, Сибирь — давным-давно приведены к общему знаменателю: закрытые камеры, изоляция, обычные тюремные строгости... Один Нижне-Удинский изоля-

тор — кому-то пришло в голову сохранить эту вольницу, не разрушать еще, до поры до времени уберечь этот оазис, собственно, — для какой надобности? Никто не может объяснить. Может быть, для собственного удовольствия — потешиться, поиграть с людьми какое-то еще время в кошки-мышки? Быть может, показа ради, для редких зарубежных гостей: полюбуйтесь, какой райской жизнью живут политзаключенные при социализме! Не тюрьма вовсе, не заточение... Безмятежный, игрушечный заповедник, без казематов, без Шлиссельбургских узников. Открытые камеры, запираются только на ночь: днем — пожалуйста, общайтесь, спорьте, воюйте, бейтесь головой об стенку! Вы живете как птицы небесные, вас кормят, поят, у вас духовная пища — груды журналов, книг, газет, штудируйте, переливайте из пустого в порожнее, никто вам не препятствует. Государство позаботилось о вас, оно дарует вам жизнь, оно хранит вас, как музейные экспонаты — вам надлежит ценить...

В добавление ко всему — женщины! В тюремных стенах — семейные камеры, не удивительно ли? Жены, семьи, супружеские пары. Домашние очаги в стенах тюрьмы! Остроумно, не правда ли? Живите, дескать, плодитесь... поймите, наконец: вы ничего больше собой не представляете! Политические нули, ничтожества...

Хвала Всевышнему — нет здесь Ксении. Гришин почему то один. Не приведи Господь встретить ее снова, здесь, в этом каменном мешке!

3.

С утра до ночи, как навозные жуки, роются они в многотомниках своих, выскивают, строчат. Они впряглись все как один, готовые в любую секунду, по любому поводу, сцепиться, вязаться в бой.

— Не станете же вы отрицать: госпромышленность, финансы, монополия торговли! Совхозы! Какой же это капитализм?

— Вам говорят: госкапитализм! Государственный!

— Капитализм — без капиталов?.. Вы когда-нибудь слышали?

— К вашему сведению: Ленин, том тринадцатый!

— Выходит — что же: экономика — социалистическая, государство — капиталистическое?

— Взаимодействие, говорят вам! Экономика — и политика, базис — и надстройка... Обратное воздействие политики на экономику! Азбучные истины!

Они спорят до изнеможения, из-за какой-нибудь фразы, из-за буквы, из-за пустячной запятой. Самое, однако, тягостное — страшнее самых буйных споров и бесплодных сражений — предобеденное затишье в ожидании поступления почты. В предвкушении долгожданного этого часа они затихают, бродят, как зачумленные, по коридору, томятся, места себе не находят. Газеты! Журналы! Как голодные волки набрасываются они на драгоценную свою добычу. Растаскав ее по закоулкам, в уединении, подальше от чужого взора, они впиваются в газетные столбцы и, ничего больше вокруг себя не замечая, смозабвенно пьют этот любовный напиток, не в состоянии оторваться. На этом их и ловит Агап Агапыч, он не упускает случая их уличить, поймать с поличным.

— Вот она, тайная ваша страсть, — рассуждает он вслух сам с собой, ни к кому не обращаясь, — вы жить без этого не можете... Контрольные цифры, первенцы пятилеток, музыка социализма... у вас слюнки текут! Стахановские слеты, социалогора — голова у вас начинает кружиться. Разглагольствования ваши о госкапитализме, о термидоре — чепуха, для отвода глаз... Вы сами не верите! Вас тянет, как магнитом, туда, назад, в лоно Сталинской церкви... Вы не смеете признаться, боитесь, Гришина боитесь! Вы друг друга боитесь! Все равно, вас видно, невооруженным глазом...

Гришина издевки эти доводят до белого каления, хотя — и это ни для кого не секрет — еще больше выводит его из себя невозмутимость Сократа, пропускающего все это мимо ушей. Между тем именно в Сократа, через голову Гришина, метит

Агап Агапыч, в котором Сократ, его загадочное молчание, вызывает постоянное беспокойство, побуждая его к новым и новым наскокам.

— Вы отмалчиваетесь, Сократ, — не выдерживает Агап Агапыч, — делаете вид, будто вас это не касается. Совершенно напрасно... Все-таки вы, вы зачинщик! Смольный, Брест, Кронштадт, десятый съезд партии... всюду вы! Личное знакомство с Лениным! Работа в Главконцесском, под руководством Троцкого! Везде — Сократ... Теперь вы притихли, вас как будто устраивает Нижне-Удинский изолятор, Гришин, покорный ваш слуга — Агап Агапыч — вас вроде не шокирует... Хотелось бы, однако, узнать: что вы обо всем этом думаете, один на один, в глубине души?

Сократ молча усмехается, он не смотрит в сторону Агап Агапыча; престранная его манера глядеть куда-то в пространство, поверх голов. Не будь этой его усмешки — она вспыхивает поминутно, внезапно озаряя его бесстрастное лицо, — это было бы и на самом деле не лицо человеческое — скорее гипс, изваяние.

— Вы склонны называть себя большевиками-ленинцами, — не унимается Агап Агапыч, — просто смешно... Какие из вас большевики, подумайте? Всякий скажет — подделка! Если уж говорить по-деловому — Сталин, вот кто! Эпигон, выскочка, но — Ильичевский почерк, ничего не скажешь! Вы, троцкисты, если на то пошло, в подметки ему не годитесь...

Гришин взрывается, он не в силах больше сдерживать себя:

— Почему вы, Сократ, молчите? Как вы терпите? Морду бить за такие вещи...

— Вы просто восхитительны, Агап Агапыч, — откликается в конце концов Сократ, продолжая усмехаться. — Одно удовольствие говорить с вами. Говорите, Агап Агапыч, говорите!

— Шутить извольте, — лицо Агап Агапыча темнеет, но он продолжает в том же язвительном тоне. — Гришину, однако, не до шуток, сами видите. Ему не терпится все начать сначала: Ленин, Троцкий, Великий Октябрь... Успокойте его, Бога ради.

растолкуйте ему: кончен бал! Полнейшее банкротство, как и следовало ожидать! Одно только название осталось: ВКП(б)! Оно стало пугалом, притчей во языцех!

— Еще мы остались, — Сократ произносит это с неожиданной твердостью, — ортодоксы, большевики-ленинцы...

Самое неприятное во всей этой игре: она рикошетом бьет по мне, ставит меня в весьма двусмысленное, шаткое положение. Именно меня Агап Агапыч избрал почему-то в качестве партнера, ко мне обращается он за сочувствием во время злопыхательских своих выступлений, будто бы у него имеются все основания рассчитывать на мое сообщничество. Гришин, конечно, наматывает на ус; мне кажется, он с трудом сдерживает свое негодование против меня. Я ни минуты больше не сомневаюсь: он по сей день хранит в памяти эту печальную историю и никогда не простит мне тогдашней моей вылазки, неуместного моего заступничества за Ксению.

4.

Это было не партийное собрание, а шабаш ведьм. Разбиралось персональное дело Ксении Куликовой, студентки нашего юридического факультета, по поводу ее связи с Гришиным, бывшим деканом юрфака, исключенным из партии и снятым с работы за троцкистскую деятельность — Зверев как раз и сменил его на посту декана. Сейчас Костя Зверев председательствовал на собрании. Он вертелся, как уж, и ему приходилось довольно туго. Во-первых, он был преемником Гришина по деканату, это ставило его в несколько двусмысленное положение: во-вторых, ему явно не хотелось топить Ксению, для этого у него также имелись какие-то основания. Всякими правдами и неправдами он пытался выгораживать ее, маневрировал, юлил, балансировал на кончике ножа, стараясь незаметным образом гасить страсти и тщательнейшим образом замечая при этом следы, дабы не выдать себя. Он заставил задавать вопросы записками, сокращал время ораторам, поминутно одергивал Ксению, хитрил, изворачивался... Жалкие потуги! Никакие председательские уловки не могли унять это бушующее море! Град

вопросов обрушился на голову Ксении, один другого обнаженнее, наглее. Когда сошла с Гришиным? Их отношения сейчас, живут ли семейной жизнью? Какой месяц беременности? Когда собирается разводиться? Который раз замужем?

Несчастливая, она специально вырядилась, отправляясь на это собрание, напялила на себя платье-халат, чтобы как-то в нем укрыться, припрятать свой живот — ей не помогло. Ее вызвали к столу президума, на самую середину, всем напоказ; так она и застряла там, у всех на виду, худышка, в нелепом своем мешке, с животом своим, который никак уж невозможно было замаскировать.

Она защищалась, как могла. Да, она знала о принадлежности Гришина к троцкистской оппозиции, все знали, Гришин и не думал скрывать. Он был тогда еще членом бюро райкома, никто не мог предвидеть, что так все обернется. И вообще, политические убеждения — какое отношение они имеют к ее личной жизни? Как женщина имеет она право выбирать себе друзей, строить свои отношения с ними, создавать семью... Почему обязательно рвать, бросать человека в трудную минуту? Было бы просто нечестно с ее стороны... Существуют же какие-то семейные узы, чувство долга, человеческая совесть?

Она билась из последних сил. Голос ее, и без того хрупкий, стал разламываться, пропадать, ее стало не слышно. Слова ее вызвали взрыв возмущения, со всех сторон посыпались крики:

- Не вилай!
- Двuruшница!
- Про себя — расскажи!
- Кайся...
- Партия — или Гришин! Выбирай...

В эту-то критическую минуту Зверев и выступил со своей программной речью — о партийном долге, о совести, о партийной ответственности. Он распинался, лил крокодиловы слезы, явно рассчитывая фарисейскими своими рассуждениями отвлечь внимание от Ксении, выиграть время. Только комму-

низм, уверял он, пробуждает в людях подлинное чувство долга, только партия... Чтобы окончательно усыпить собрание, он разразился потоком отборной брани в адрес Гришина, назвав его при этом политическим шарлатаном и грязным оболъстителем. Ксения не выдержала, перебила его, крикнула не своим голосом:

— Клевета! Вы не смеете! Подло...

Зал снова взорвался, заголосил. Кто-то вырвался вперед, подскочил к столу президиума и, тыча пальцем в Ксенин живот, закричал в иступлении:

— Отродье свое, троцкистское... вырви из себя! Выкинь...

Это было уже чересчур. Ксения не выдержала, свалилась. Воспользовавшись замешательством, Зверев прервал собрание, отложив обсуждение пресонального дела Ксении Куликовой до следующей недели.

Вероятнее всего, именно тогда, на разнужданном этом сборище, задолго еще до окончательного моего разрыва с Костей Зверевым, рухнула — вместе с хрупким тельцем Ксени — вера моя в партийность, ее высокое призвание, благородство ее побуждений.

5.

Никогда я над этим особенно не задумывался. Мне в голову не приходило копаться в этих вещах, рассуждать, мудрствовать, я решал для себя эти вопросы на ходу, не замечая того факта, что, по сути дела, все мое брненное существование имеет тенденцию вертеться вокруг этой именно оси: чувство ответственности, долг, совесть.

После рабфака, например, подошло время поступить мне в ВУЗ... Миллион терзаний: «Кто дал право тебе роскошествовать, учиться? Социализм еще только предстоит построить, семь потов из себя выжать, а ты? За парту! У кого-то на шее, нахлебником! Кто-то пускай спину гнет, отдувается. дорогу тебе прокладывает — в науку... Нет, голубчик, попробуй-ка сам, собственным горбом! Подождет она, наука твоя! Не обязательно — ты, найдутся, быть может, более достойные...»

Меня, конечно, высмеяли, окрестили меня гнилым интеллигентом. Образумили, доказали мне ссылками на Маркса, на Ленина: учиться, учиться, еще раз учиться! Проблема кадров! Создание своей, советской интеллигенции... Деваться было некуда, я стал студентом — надолго ли? В январе 1924 года, когда Костя Зверев надумал подводить под все это теоретическую базу: противоречия переходного периода, значение личного фактора, здоровый советский карьеризм, и т.д. и т.п. — я не выдержал, оставил институт свой, подался на восток искупать какие-то грехи свои, возмещать неоплаченные долги... Кто гнал меня? Не она ли, беспокойная моя совесть?

Болезнь эта вспыхнула вновь, с новой силой, когда настал торжественный момент вступления моего в партию. Торжество сие обернулось для меня сплошным мучительством. Не в том смысле, чтобы мне ставили палки в колеса, чинили какие-либо препятствия, наоборот — раскрытые объятия! Сам я подверг себя истязанию! «Что сделал ты для Революции, для Партии? — допытывался я у самого себя. — Подсчитай: Октябрь — помимо твоего участия, ты еще за юбку за маменькину цеплялся! Гражданская война — без тебя, ты не созрел еще! Ты явился, по сути, к шапочному разбору... Какой, спрашивается, из тебя коммунист? Вправе ли ты присваивать себе это высокое звание? Не слишком ли легко все это тебе досталось? Подумай...» Тоже можно назвать интеллигентщиной, ханжеством! Однако где она, грань, отделяющая ханжество от высокого чувства ответственности, от подлинной взыскательности, строгости к самому себе? Так или иначе, и на этот раз все было преодолено. Со скрипом, с трепетом — Рубикон был все же перейден, я вступил на рискованную стезю коммунистической партийности... И вот финал — 1929 год, мое бегство из партии! Это был, строго говоря, защитный рефлекс. Испуг! Смертельный ужас перед лицом пропасти, к краю которой меня подтолкнул тогда Костя Зверев! Речь шла, по существу, все о той же генеральной линии моей жизни: взрыв потрясенной моей совести, бунт против грубой попытки навязать мне чужую во-

лю, подавить во мне сознание ответственности, своей, лично моей ответственности за любое действие, к которому я причастен, независимо от того, сам ли я действовал, по доброй своей воле, Костя ли Зверев толкнул меня, по приказу ли партии... Я не выдержал и на этот раз, бежал без оглядки... Сейчас все это оборачивается против меня же.

Они навалились на меня с поразительным единодушием, мои новые опекуны. Они предъявляют мне какие-то векселя, выносят мне какие-то приговоры. «Подумаешь, геройство какое, — твердят они, — швырнуть партийный билет, умыть руки... Нет, ты впрягись, воюй, со всеми вместе! Существует партийная оппозиция, она выбивается из сил, истекает кровью... Каждый человек — на вес золота! И вот — находятся Робинзоны, типа Малашкина! Они удаляются на необитаемый остров... Как, прикажете, назвать? По меньшей мере — беспринципность, политическая безответственность! Если не хуже: дезертирство!»

Они нащупали самую чувствительную мою струнку, расправляются со мной моим же оружием... Мне трудно от них отбиваться, противостоять им. Требуется еще доказать, уяснить самому себе, где она — истина. Где, в какой плоскости пролегает в данной ситуации подлинная линия моего долга?

Наиболее же пикантное во всей этой истории: фантастическое переплетение понятий, стирание всяких граней между ними, новыми моими партнерами, и Костей Зверевым, Они дословно почти повторяют его, Костины, доводы, варьируют с ним одну и ту же тему. Это он, Зверев, первый запустил в меня этот колючий камень: «Дезертир! Трус! Трудностей испугался... На фронте за такие художества — к стенке! Без всяких церемоний! Спасибо Партии, с тобой еще нянчатся...» Если вдуматься, они мечут в меня, по сути, те же стрелы, новые мои опекуны, их не устраивает моя Робинзонада... Любопытно было бы послушать, что запели бы они тогда, по поводу иезуитской речи Зверева на партийном собрании, когда потрошили Ксению — он жонглировал

тогда как раз этими именно словечками: ответственность, долг, совесть...

— «Товарищи коммунисты, — разлагольствовал он, — кто пытался здесь разжалобить вас, спекулировать на чувствах (он намекал на жалкие попытки Ксении как-то защитить себя, оправдаться), апеллировать к чувству долга... Напоминаю: для нас, коммунаров, нет ничего священнее и выше, нежели долг наш перед партией! Мы с вами строим новое, бесклассовое общество. В корне изменились старые представления о долге, о совести, о личной ответственности. Единый, скованный стальными обручами кулак — вот что представляет собою новое, социалистическое общество! Во главе его — наша Партия, она за все отвечает перед народом, перед грядущими поколениями, перед Историей. Мы же с вами, все вместе и каждый порознь, — мы отвечаем перед ней, перед Партией. Какая еще другая может быть у коммуниста ответственность? Перед кем? Перед Господом Богом? Перед собственной совестью? Но что такое личная, собственная своя совесть — по сравнению с партийной совестью, партийной ответственностью? Ничто»...

Он, конечно, хитрил, паясничал, ему важно было заморочить им мозги, отвлечь от главной темы собрания. Оставшись с ним один на один, я попробовал было уличить его, вывести на чистую воду; из этого, конечно, ничего не получилось, он умел выбираться сухим из воды.

— Недурно придумано, — сказал я, — партийная совесть... Спина! Есть где укрыться, спрятаться...

— Дай Бог всякому такую спину, — вывернулся он.

— Вообще — весьма скользкая формула, — продолжал я. — «Мы отвечаем перед партией, партия — перед народом»... Выполняй приказы партии, от тебя, мол, ничего больше не требуется! Игра в солдатики...

— Мы, коммунисты, мы и есть солдаты, — отпарировал он. — для тебя что, новость?

— Но совесть? Внутренний голос совести!

— Брось дурака валять, — перебил он. — Ты великолепно

представляешь себе суть дела. Воля партии, ее последнее слово...

— Допустим, — согласился я. — Как быть, однако, в том случае, когда воля партии пошла вразрез с голосом твоей совести? Может же случиться? Как быть тогда?

— О чем ты говоришь? — он взглянул на меня с пренебрежением. — Впрочем, — прибавил он, — рекомендую проконсультироваться с Гришиным. Эрудированный товарищ...

Судьба не заставила меня долго ждать: она свела меня с Гришиным в тот же вечер, сразу же после собрания. Встреча эта окончательно сразила меня, выбила почву у меня из-под ног.

6.

Ужасный этот вечер после собрания. Снедаемый азартом игрока, ослепленный, поглощенный какими-то своими планами и расчетами, Гришин продолжал донимать Ксению замысловатыми и назойливыми вопросами, выуживая для себя какие-то никому не нужные, несущественные подробности и отстраняя от себя все то, что касалось непосредственно Ксении, ее мук и терзаний во время изуверского этого собрания. Он морщился, отмахивался: «Ладно, ладно, потом...» Спохватился он лишь тогда, когда Ксения, окончательно выдохшись, выдавила из себя:

— Пусть делают, что хотят. Пускай исключают! Не пойду я к ним больше. Не могу...

Гришин всполошился. Подойдя к ней вплотную, он сказал растерянно, с каким-то даже подобоострастием:

— Что ты, Ксюша? Так вообще вопрос не ставится: не могу, не хочу... Мы с тобой прежде всего — политики...

Подождав, он прибавил уже более уверенно:

— Обязательно пойдешь, нельзя не идти. Добиваться надо, биться до последнего! Партийный наш долг!

Ксения простонала:

— За что биться, Гришин? Толк какой?

— Политика дальнего прицела... — Гришин вдруг вдохно-

вился, зашагал по комнате и, энергично жестикулируя, заговорил с воодушевлением, развивая какую-то очень тонкую, им самим, видимо, придуманную, программу действий.

— На одном подполье, поймите, далеко не уедешь! Сохранить позиции внутри партии — так и только так ставится вопрос сегодня! Бороться за каждый сантиметр, за каждого человека! Каждый наш товарищ, внутри партии, это бастион! Выигранное сражение! Ксения Куликова... Кто она и что она после исключения? Ноль... Удержаться во что бы то ни стало, удержаться в партии — какие могут быть сомнения? Собрание прервали, отложили — уже у нас шанс! Тянуть елико возможно, не отступаться! Общее собрание исключит — еще не все потеряно! Есть райком, горком, обком... Все инстанции, вплоть до ЦК! Ничем не брезговать, использовать любую лазейку, даже ублюдка этого, Зверева... Конечно, элемент притворства, мимикрии, что поделаешь? Военная хитрость... *À la guerre, comme à la guerre!*

Он бросил осторожный взгляд на Ксению, искоса, стараясь не встречаться глазами: она стояла неподвижно, как приговоренная и, казалось, не слушала Гришина. Он помрачнел.

— Ну-ну, — пробормотал он, — нельзя же так, по любому поводу — раскисать. В конце концов — я не настаиваю. Вы как думаете, товарищ? — Он, наконец, обернулся ко мне, заметил меня.

— Чудовищно, — вырвалось у меня.

Гришин опешил, растерялся от неожиданности, и я прибавил извиняющимся тоном:

— Заклюют ведь...

— Кого заклюют? — не сразу догадался он.

— Не выдержит она... — Я не без робости взглянул на Ксению, и мне показалось — губы ее дрогнули.

— Пустяки какие, — Гришин сдвинул брови, отвернулся.

Горячая волна протеста вдруг захлестнула меня, я произнес с неожиданным для себя упрямством:

— Я вообще не пойму, как можно... Двойная какая-то

игра... Вы называете это — партийной борьбой?

Гришин побледнел, но продолжал хранить молчание, не находя, видимо, слов для острастки. Я не в силах был уже остановиться.

— Какая-то мышиная возня, — сказал я запальчиво. — Кто кого обставит, перехитрит... Противно, гадко!

Он, наконец, опомнился.

— Вот как, — прошептал он угрожающе, — вам кажется гадким!

Голос у него сорвался и, не пытаясь больше сдерживать себя, он выкрикнул:

— А что, по-вашему, не гадко? Каяться, на брюхе ползать? Руки по швам?..

— Уйти с честью, — буркнул я, не очень-то отдавая себе отчет, что говорю. — С открытым забралом уйти...

— Уйти? — он с изумлением остановился, замолчал на какое-то короткое мгновение. — Ты слышала, Ксения? Уйти...

Лицо его вдруг перекошилось, побагровело.

— С честью, говорите? — он подступал ко мне все ближе, сжимая кулаки. — Рыцарь! О какой чести вы печетесь?

Подождав и ни на минуту не спуская с меня глаз, он продолжал, все больше свирепея:

— Честь Революции — вы подумали о ней? Октябрь! Власть Советов! Куда прикажете девать? На откуп, бонапартам? Вам легко, видимо, досталось!..

Он неожиданно взвизгнул, заставив меня вздрогнуть:

— Плевать мне на вашу честь! Есть вещи подороже...

Ксения загородилась обеими руками, упавшим голосом произнесла:

— Тише, прошу тебя! Ради Бога, тише... Что за отвратительная манера — повышать голос?

Лицо ее стало вдруг бело, как мел, и она прибавила еле слышно:

— Успокойся... будет по-твоему. Я все сделаю.

Ксения сдержала свое слово, она «все сделала». Очередное

собрание состоялось через несколько дней. Ксения едва держалась на ногах, она была неузнаваема: сутулая, тощая, лицо без кровинки. Я в ужасе заметил — живота как не бывало. Я не посмел дознаваться и так до конца и не узнал: аборт ли, или — если верить пушенной кем-то версии — несчастный случай, выкидыш. Ей на этот раз не пришлось слова проронить. Собрание продолжалось недолго, решение было принято единогласно, без прений: Ксению Куликову за связь с контрреволюционной троцкистской оппозицией из партии исключить. Зверев, под каким-то предлогом, на собрании отсутствовал.

...Где ты теперь, бедное создание? Жива ли? Куда, в какие дебри занесло тебя? Повелитель твой, Гришин, он здесь оказывается, в Нижне-Удинской Цитадели! Такой же яростный, одержимый... Меня он как будто не замечает, либо делает вид, что не узнает меня, уклоняется. Я же, по малодушию своему, стараюсь не попадаться ему на глаза. Стыдись, Павел! Придется же, в конце концов, выбраться из своей скорлупы, объявиться, протянуть ему руку дружбы... Хотя бы в память о ней, о Ксении! Поторопись же, не тяни резину!

7.

До чего же нелепо, глупо! Как можно было так по-ребячьи шлепнуться, попасть впросак! Простофиля! Было ясно с самого начала: он не один здесь, твой Гришин! Дни и ночи он только и делал, что исчезал, пропадал где-то в семейных камерах, этого невозможно было не заметить. Вообще, как могло прийти тебе в голову, будто Ксения способна оставить его одного, при подобных обстоятельствах? Отмежеваться, предоставить ему скитаться по тюрьмам, по этапам, одному — похоже это хоть сколько-нибудь на Ксению? Конечно, ее место здесь, с ним рядом; ты обязан был подумать об этом в первую же минуту!

Она почему-то долго не показывалась, это-то и сбило меня с толку. Сейчас она вынырнула, внезапно, в самый неподходящий момент. Стыд и срам! Я держал себя, как малец, приговорила, не способный дать отпор, отстоять свою честь... Гри-

шин — рядом со мной — выглядел Голиафом! Что могла она подумать обо мне? Ошеломленный, я жался в угол, стараясь затиснуть себя подальше, остаться для нее незамеченным. Безобразная выходка Гришина осталась где-то далеко позади, потеряла для меня всякое значение.

8.

Началось все это с чепухи, я не мог предположить, что кончится таким взрывом.

Окруженный своей командой Гришин, по обыкновению своему, рвал и метал, неистовствовал, призывая к действиям. Поводом послужил какой-то пустяк, кратковременная задержка почтовой корреспонденции. Гришин поднял на ноги все камеры, вызывал начальство, ставил ультиматумы. Агап Агапыч не преминул воспользоваться случаем, выпустил очередную свою мину. На этот раз он непосредственно, даже подчеркнуто, обращался ко мне.

— Хотел бы я знать, — начал он, — чем они, собственно, недовольны? У них библиотека, прогулки, свидания, широкая возможность контактов... Семейные камеры... Не тюрьма, а санаторий! Чего еще надо?

Он умолк, довольный собой: мина достигла своей цели. Гришин вспыхнул, резко обернулся в сторону Агап Агапыча, бросив при этом негодующий взгляд на меня. Я съежился.

— Нас, социал-демократов, так не баловали, — продолжал Агап Агапыч. — Лично я, например: пятнадцать лет меня таскают.... Представления не имел о подобных пансионатах... Оказывается, есть сынки и пасынки!..

Он не обращался ко мне, делая вид, что не замечает вовсе пристального внимания Гришина, глаза которого метали громы и молнии.

— Само собой разумеется, — как ни в чем не бывало заключил Агап Агапыч, — троцкисты, что ни говори, на особом счету. Герои Октября, заслуги перед Советской родиной — партия, видимо, учитывает.

Гришин не стерпел, перебил:

— Чушь махровая! Обыкновенная политическая тюрьма, старого царского образца! Пожалуй — классом пониже...

— Тэ-тэ-тэ, — Агап Агапыч погрозил пальчиком. — Вы не видели еще настоящих советских тюрем! Соловков не видели! Возникает законный вопрос: за что такие милости? Именно им, троцкистам?

Он подождал с ответом, весело подмигнув мне и явно предвкушая последующий эффект.

— Ясно, как апельсин, — закончил он, обернувшись к Гришину лицом к лицу, — у Сталина свои какие-то расчеты... Настоящий хозяин, можно не сомневаться! Он не станет зря на вас тратить, устраивать вам роскошную жизнь... Одного не пойму — меня зачем пристегнули? Завалившийся меньшевик, плехановец, старый колодник, с 1921 года... Просто чудо, с неба на меня свалилось!

— Чудес не бывает! — Одним прыжком Гришин очутился между нами, между мной и Агап Агапычем. — Кому-то вы, очевидно, понадобились! Самое, однако загадочное. — Гришин круто повернулся ко мне и некоторое время пытливо разглядывал меня, — ваш новый Санчо Пансо, Малашкин... Он откуда взялся, его роль?

Я замер и со мною вместе замерло все кругом, притаилось.

— Не находите ли вы более чем странным, — Гришин цедил слово за словом, обращаясь за поддержкой к своим, — бывший член партии, никакого отношения к троцкизму не имеющий, он вообще открестился, ушел в кусты... Волею судеб он появляется вдруг здесь, среди нас... Он вступает в контакт с политическими нашими противниками...

Гришин не успел договорить. За спиной у него раздался приглушенный, сдавленный крик, он пронзил тишину, отозвался в моем сердце острой болью. До ужаса знакомый детский голосок — я ушам своим не поверил.

— Опомнись, Гришин, что ты говоришь?

Она встала между нами, между мной и Гришиным, трепещу-

шая, хрупкая, как подстреленная птица. Мне не видно было ее лица. Гришин вздрогнул, отступил.

— Ксения, — беззвучно прошептал я, все еще не веря своим глазам.

— В чем дело, Ксюша? — Гришин решительно шагнул вперед, пытаясь заглянуть в ее глаза. Она отшатнулась. — Что, мы не вправе усомниться, спросить у товарища... Проверить?

Я не заметил, как все стали расходиться, разбрелись по камерам своим. Как уходила влекомая Гришиным Ксения и как появилась снова, сопровождаемая Сократом. Не слышал разговора между Сократом и Агап Агапычем, ретировавшимся в последнюю очередь. Я был как во сне и не решался открыть глаза, вернуться к действительности.

— Как все это бессмысленно, как ужасно, — донеслось до меня еле слышное бормотанье Ксении, — вечная эта подозрительность, настороженность.

— Успокойтесь, дитя, — голос Сократа звучал неуверенно.

Из своего укрытия я разглядел, наконец, профиль Ксении, ее короткую стрижку, ее удобу — действительно дитя, она утратила за эти недолгие годы всякие следы былой женственности.

— Откуда такая придиричивость, нетерпимость? Начальственный этот тон! — Она резко повернулась к Сократу, голос ее стал настойчивей, тверже. — Совместимо ли все это с программой оппозиции? С демократией, свободой...

— Дитя мое, — повторил Сократ, отводя от нее глаза, в которых в эту минуту не было ничего, кроме смертельной усталости, хотя он и пытался изобразить усмешку. — Будьте же хоть чуточку великодушны... Разрешите и нам, троцкистам, иметь своих воинствующих рыцарей... Свое, так сказать, дремлющее око!

— Вы еще способны шутить, — сказала она невесело.

Тронув ее руку, он прибавил, уже без усмешки:

— В политике, согласитесь, без Гришиных тоже не обойтись.

Лицо Ксении исказилось, и Сократ спохватился, заговорил с

мягкой осторожностью, точно касаясь пинцетом кровоточащей раны:

— Друг мой, вы знаете Гришина... Слишком деятельная натура! Подобные натуры, — он на минуту замялся, подыскивая слова, — они не выдерживают длительного безделья. Они вообще не способны оставаться чересчур долго за бортом. Выдыхаются...

Ксения вспыхнула, произнесла с неожиданной горячностью:

— Уже выдохся! Не только он — все! все! Все это у них напускное, видимость одна...

— Что вы, дорогая! — Сократ попытался остановить ее.

Она перебила:

— Все держится на вас, я знаю...

Она вдруг увяла, свесила руки. Лицо у Сократа потемнело, собралось в складки.

— Вы устали, — тихо произнес он и продолжал в раздумье. про себя, уже к ней не обращаясь. — Самое невыносимое во всей этой истории — женщины... Подумать только: за тюремной решеткою, на лагерных нарах — женщины! Прекрасный пол... Сие следовало запретить, в законодательном порядке! Предусмотреть в ряду первых октябрьских декретов: возбраняется содержание в местах заключения особ женского пола! Запрещено законом!

— Вы не собираетесь ли, — сказала Ксения, и в голосе ее сверкнула вдруг искра задора, — отстранить нас, женщин, от политики, от управления государством?

Искра мгновенно угасла, и Ксения прибавила глухим уже, упавшим голосом:

— Сколько лжи, сколько грязи, пошлости... Все это именуется политикой!

Сократ возразил еле слышно:

— Будет время, дитя... Будет политика достойная, чистая... Без ожесточения, без тюрем.

Ксения уже не слушала его. Поглощенная собственными заботами, она вдруг заметалась, запричитала:

— Что делать, что делать... Не бросать же его! Одного, в камере... Заколдованный круг!

Она беспомощно оглянулась. Глаза ее вдруг расширились, округлились, остановились на мне — в них мелькнуло выражение испуга, она даже отстранилась, заслонилась рукой. Боже, я стал для нее страшилищем. Из-за меня, возможно, она так долго, так упорно пряталась, носа не высовывала, таилась... Кто мог внушить ей этот страх передо мной, неужто Гришин?

Охваченный тоской, я выскользнул из своего угла, бросился прочь. Бежать, бежать, куда глаза глядят! Исчезнуть с лица земли! Только бы не видеть этих испуганных, замученных глаз.

Куда бежать? Тюрьма...

9.

Хвала Господу Богу — про меня начисто забыли, до поры до времени. Нашлась тема поважнее, она вызвала в Цитадели невероятный переполох: «Послание Зиновьева»... Мало кто верит в реальность документа, тем паче — в достоверность авторства. Григорий Зиновьев, не секрет, сам пребывает где-то в заточении, гласном или негласном. С него, говорят, глаз не спускают, ему сейчас не до посланий. Тем не менее, находятся любители сенсаций — единичные, правда, экземпляры. Они подхватили эту басню о «Гришкином манифесте», носятся с ней, требуют публикации, распространения, изучения, обсуждения на широких демократических началах. Из мухи слона сделали, в оборот пущены высокопарные словечки: «Гласность!», «Свобода информации!» Горы цитат из Ленина: свобода слова в буржуазном и марксистском понимании, партия и печать, социализм — и цензура...

Гришин слышать не хочет, он требует изъять из обращения эту «фальшивку», «грязную эту анонимку», «подметную грамоту». Наложить на нее строжайший запрет, уничтожить, сжечь...

— «Послание Зиновьева» — недурно придумано, — негодует он. — Расколоть оппозицию одним росчерком пера. Они ждут этого, не дождутся! И вот, находятся среди нас Маниловы, прекраснородные либералы... Информацию подавай им!

Дискуссию! Гласность! Для кого — гласность? Для провокаторов? Для сексотов? Не бывать этому! Из-за них, беззубых этих Маниловых, троцкизм оказался бит, по всему фронту!

Все кругом ошалели, переругались, запутались в трех соснах. Один Сократ — он в рот воды набрал, и это его загадочное молчание только подливает масла в огонь. Что за странная игра в молчанку! Все-таки существует послание или не существует? Фальшивка — или не фальшивка? Автор кто? Быть может, на самом деле рука Зиновьева? Текст, у кого текст?

Меньше всего суматоха эта касается меня, и безразличие Сократа как-то даже импонирует мне. Но и озадачивает. Что там кроется за этой невозмутимостью? Мудрость? Высокомерие? Может быть — ни то, ни другое? Усталость? Простая человеческая слабость...

Если верить Ксении — именно на нем, на Сократе все и держится. Полсотни этих упрямцев, их неугомонность, усердие их и трудолюбие, неукротимый их пыл — истинной душой всего этого будто является тихий этот, мирный, по сути, человек, с львиной гривой и выпученными, подслеповатыми глазами. На чем, однако, держится сам он, Сократ? Что если за этой его загадочной умиротворенностью, за мудростью его — ничего нет, пустота... И все это троцкистское здание построено на песке, вот-вот рухнет, расползется, как карточный домик, как это и предвещает Агап Агапыч? Он, впрочем, ничего не утверждает, этот Фома неверующий. Когда я сунулся к нему со своими сомненьями, он уклончиво ответил:

— Что говорить? Умница он... Ничего не скажешь! Не в нем, однако, дело. Троцкизм обречен, исторически... И никаким Сократом его не спасти.

Он подозрительно уставился на меня:

— А вам-то, сударь, что? Смотрите, не попадитесь на удочку...

— Уже попался, — вырвалось у меня.

— Вот видите, — Агап Агапыч покачал укоризненно голо-

вой, призадумался. — Удивительное у этого человека свойство... Покорять сердца людей.

Он спохватился, прибавил беззаботно:

— Вообще же, — смею заверить: ничего сверхординарного. Типичный партработник советского образца. Притворство — плюс демагогия...

10.

«Гришкин манифест» продолжает оставаться сенсацией номер один. Никто, по сути, представления не имеет о существовании дела, никто еще не знаком с текстом, никто не знает даже, у кого хранится он, текст этого сакраментального послания. Гришин наверняка посвящен, он, не переставая, клянет послание и его авторов, чем еще больше возбуждает всеобщее любопытство. О чем-то, по-видимому, догадывается Агап Агапыч, по крайней мере, вид у него торжествующий, он потирает ручки и смеется в кулак. У него, конечно, собственная версия, как всегда — неожиданная и парадоксальная. Я просто ахнул, когда он открыл мне свои секреты. «Гришкин манифест», оказывается, дело рук Сократа — ни больше, ни меньше! Своего рода инсценировка... Сократ, видите ли, задумал произвести генеральный смотр своей армии! Подвергнуть ее искусству, испытать силу духа. Он-то, Сократ, и есть скорее всего, искомый автор послания: сам сочинил бумажонку эту, подкинул ее, замутил воду, чтобы самому же ее и опровергнуть, разнести в пух и в прах... Единый в двух лицах — образчик троцкистского двуличия! «Не верите? Потерпите... Сами убедитесь»...

Только Агап Агапыч мог додуматься до подобной ереси! Впрочем, я утратил уже всякую уверенность в реальности окружающего меня мира, достоверности действующих в нем персонажей, осмысленности их поступков и деяний. Все вокруг меня расплывчато и неясно, все окутано туманом, оно ползет наугад, неведомо куда.

11.

Наконец-то! Сократ в воинских доспехах! Первое на моих глазах лобовое между ними столкновение, между Гришиным и

Сократом! Я не склонен, конечно, переоценивать, все это далеко не смертельно; настоящие потрясения, возможно, где-то впереди... В данном случае речь идет, скорее всего, о некоем психологическом эксперименте, не лишенном к тому же привкуса фарса. Игра не нервах... Главное — никто решительно не ожидал уже подобного оборота дела, все успокоилось, махнули на эту историйку рукой, и Гришину ничего не стоило добиться в конце концов своего. Он протащил, наконец, резолюцию, ставящую крест на «Гришкином манифесте».

«Так называемое «Послание Зиновьева», — гласила резолюция, — как документ, явно инспирированный аппаратом НКВД и преследующий совершенно очевидные провокационные цели, к обращению не допускать. Всем сторонникам оппозиции категорически запрещается размножение текста послания, его хранение и распространение. Товарищу Гришину установить контроль»... И т.д. и т.п.

Тема послания, таким образом, объявляется исчерпанной, она снимается с повестки дня, бушующее море входит в берега... В этот-то момент на арене появляется Сократ, никто об этом уже не помышлял. Он вытаскивает на свет божий крамольную грамоту. Без всяких предисловий и комментариев он принимается зачитывать вслух текст «послания», слово за словом, торжественно, важно, как божественное откровение, как некую папскую энциклику... Гром среди ясного неба! Вызов собственным единомышленникам своим! Смертный приговор троцкизму, тем более страшный, что возглашает его не кто иной, как Сократ! Присутствующие в ужасе шарахаются, они жмутся к стенкам, затыкают уши, делают вид, что не слушают; они с опаской озираются на Гришина. Постепенно все же они обступают Сократа, собираются в круг... Один только Гришин мечется из угла в угол, хватается за голову, бросает в лицо Сократу гневные реплики: «Провокация!», «Ложь!», «Брехня!» Агап Агапыч пристроился за спиной у Сократа, с лица его не сползает змеиная усмешка. Он перехватывает мой взгляд, как бы поддразнивая меня: «Ну, кто прав! Что я давеча говорил,

вспомни»... В оцепенении глотаю я страшные слова энциклики, не смея поднять голову, взглянуть в глаза людям. Мне начинает казаться: под разящими ударами грозного «послания» они вот-вот рухнут все, падут ниц, сраженные, бездыханные... Как он может, Сократ?

Он продолжает вещать как ни в чем не бывало, отчетливо, даже вдохновенно, он как будто упивается патетическим звучанием текста, непреложностью, категоричностью его тона.

...«Свое наступление на Партию, — читает он, — мы, троцкисты, зиновьевцы, так называемые, и иже с ними, начинали с крикливой защиты Октябрьских завоеваний от мнимой угрозы справа... Где, по какую сторону барьера оппозиция завершает свой порочный круг? Она готова ныне подвергнуть осмеянию решительно все, что отмечено печатью Октября: его экономические достижения, политический его итог, его творцов и поборников. Гиганты социалистической индустрии, совхозы и колхозы, молодая советская культура — все отвергается, опровергается оппозицией, как нечто, враждебное Революции, чуждое идеалам Октября. Возникает законный вопрос: что может оппозиция предложить взамен?»..

Сократ останавливается, делает короткую паузу, впиваясь близорукими своими глазами в Гришина, как бы в ожидании ответа. О, Боже! Неужели же прав этот хитрюга, Агап Агапыч! И вся эта мучительная комедия разыгрывается Сократом всего лишь искушения ради, с чисто педагогической целью?

12.

Нет, оказывается, — не розыгрыш! И не искуш! Открытый, честный бой — другого выхода Сократ для себя, видимо, не нашел. Слишком уж нагл, слишком оглушительен, смертоносен был текст послания, чтобы можно было отделаться от него резолюциями, запретами. Отмахнуться от него, отмолчаться! Зиновьев, не Зиноев — какое это имеет, в конце концов, значение! Пускай фальшивка, провокация, все равно: вызов брошен, плевков в лицо! Никто не вправе уклониться, уйти! Вы обязаны

выступить, принять бой! Лечь костьюми... И Сократ поднял брошенную перчатку.

Он продолжал с возрастающим пафосом, постепенно, шаг за шагом, наращивая силу накала, доводя его до уровня пророческого экстаза.

... «Свою фракционную борьбу против партии, — читал он, — мы, представители оппозиции, начинали под широковещательными лозунгами защиты внутривластной демократии, по-пранной якобы кликой перерожденцев, захвативших в свои руки все звенья партийного аппарата. Настал час заявить во всеуслышание: в стране Советов не было, нет и не может быть иной демократии, кроме демократии ленинского толка! Не было, нет и быть не может в рядах ленинской партии места для фракционных групп и течений, подрывающих единство партии, ее железную дисциплину, ее господствующее положение в обществе! Нет и не может быть в социалистическом государстве свободы действий для отщепенцев, поднимающих свой голос против святой-святых социализма — ленинского партийного руководства, его негибкой воли, непрерываемости его авторитета! Монолитная партия, грозная и несокрушимая, непримиримая и беспощадная, — это и есть великая партия Ленина, она никогда не была другой, она никогда другой не будет! Сталинский партийный аппарат, столь ненавистный для оппозиции, — это и есть стеновой хребет ленинской партии, ее могучий штаб, ведущая сила и главный гарант социалистической демократии. Нет и быть не может иных моделей ленинской партии, в частности, — троцкистских ее вариантов. Оппозиция, следовательно, не смеет больше присваивать себе звание большевиков-ленинцев, подобные действия оппозиции невозможно расценить иначе, как самозванство»...

Поднявшийся вокруг рев заставил Сократа остановиться, прервать чтение. На побледневшем его лице блуждала блаженная улыбка: мавр сделал свое дело...

13.

На данной стадии раунд «Сократ Гришин» закончился, стро-

го говоря, вничью. Восторжествовал, если уже на то пошло, некто третий, и этот третий оказался не кто иной, как Агап Агапич. Незаметным образом выбрался он из своего убежища как раз в ту минуту, когда Гришин, воспользовавшись смятением, выдернул из рук Сократа текст «послания» и, лихорадочно его полистав, выкрикнул, покрывая голосом своим обший гул:

— Вы только послушайте, что пишут, негодяи! Слушайте! — он потряс листками, прочел:

...«Наш призыв к тем, в ком жива еще память об Октябре... Кò всему, что осталось еще в рядах оппозиции честного, подлинно ленинского: очнитесь, еще не поздно! Долой Иудушку Троцкого — изменника и перебежчика! Назад — к твердыням большевизма! С раскрытым сердцем, с повинной головой — назад, к порогу отчего дома! Партия великодушна, она простит, не отвратит лица своего от блудных своих сыновей... Торопитесь же, выход из тупика один: сложить оружие! Остаток наших сил, революционный наш опыт, наши жизни — к ногам Партии, ее Центрального Комитета»...

— Вы слышали, товарищи? К ногам! — повторил он, обведя всех пылающим взором, — к ногам партии... Какой партии? Есть ли она, эта партия? Существует ли?

Он выждал, взглянул в глаза Сократу и, после минутного колебания, швырнул под ноги ему листки «послания», продолжая:

— Ее выборные органы, ее съезды, ее пленумы — где они? Профсоюзы, советы, печать... глас народа, так называемый? Партия обезглавлена, сдана на откуп, Ежову... Один Сталин — царь и Бог! И вот, находятся какие-то Гришки Отрепьевы, Лжедмитрии, крысы с тонущего корабля... Они смеют поучать нас, шантажировать, спекулируют именем Ленина! Неужели же мы станем дискутировать с ними, отвечать им? Он метнул глазами в Сократа и угрожающе закончил: с провокаторами не дискутируют, испокон веков!

Слова эти произвели какое-то впечатление, люди отхлынули

от Сократа, стали подтягиваться к Гришину, группироваться вокруг него. В эту-то минуту и показался Агап Агапыч, высунил голову, захлопал в ладоши:

— Браво-браво, — весело воскликнул он, — приветствую предыдущего оратора...

С любезнейшей улыбкой он обернулся к Гришину и продолжал вкрадчивым голосом:

— Весьма приятно слышать: печать, профсоюзы, народ... Мы, социал-демократы, вот уже двадцать без малого лет допытываемся, вопрошаем: где печать? Где профсоюзы? Рабочий класс где? Ура-ура, жму руку товарища Гришина... Хотелось бы, однако, уточнить — как сие понимать прикажете? Пересмотр партийной программы? Свобода слова, убеждений? Отмена цензуры? Ликвидация НКВД? Не смею возражать... Наоборот даже, позволю себе предложить... — склонив голову, он описал рукою широкий пригласительный жест. — Не пора ли нам, друзья, заключить, наконец, братский союз?

Этот вызывающий вопрос повис в воздухе, никто не собирався вступать в полемику. Сократ продолжал улыбаться, как бы подстегивая Агап Агапыча: «Давай, давай, братец... крой! Можешь не стесняться»... Гришин же, торопясь покинуть ненадежное поле боя и увлекая за собой всю компанию, бросил на ходу, простирая руку в сторону Агап Агапыча:

— Вот куда нас толкают... На дно пропасти! Не угодно ли?

Поравнявшись с Сократом, он мрачно обронил:

— Вы как хотите, я не считаю возможным якшаться с меньшевиками, выслушивать всякие гадости...

Весь остаток дня он продолжал развивать бешеную деятельность. Рыскал по камерам, собирал подписи, составлял какие-то проекты ответного манифеста. У него, видимо, не клеилось, и он было сунулся в нашу камеру к Сократу, но, наткнувшись на Агап Агапыча, пулей вылетел вон. В общем, все чувствуют себя посрамленными, оплеванными, за исключением, конечно, Агап Агапыча. Этого, что ли, добивался Сократ?

Вечер этого же безумного дня. Знаменательный разговор между Агап Агапычем и Сократом, я оказался единственным в камере свидетелем этого разговора. Остальные все еще бродят, мечутся, переливают из пустого в порожнее, места себе не находят.

Даже Сократ после утренней своей мелодекламации вдруг присмирел, обмяк, впал в состояние глубокой депрессии. До самой ночи провалился на койке, уткнувшись в подушку, не прикасаясь к еде, не откликаясь на назойливые шуточки Агап Агапыча. Время от времени он схватывался, садился строчить, но тут же бросал, валился снова, лицо его час от часу все больше омрачалось, тускнело. Агап Агапыч долго ходил вокруг да около, неуверенно присматриваясь к Сократу и не решаясь начинать разговор. Наконец, перед самым отходом ко сну, он набрался храбрости, присел на койку к Сократу.

— Давайте по душам, — осторожно начал он. — «Якшаться с меньшевиками», ха-ха... Когда-нибудь придется все-таки выбирать! Нельзя же до бесконечности тянуть, висеть между двумя стульями? Что такое троцкизм? Мертворожденное дитя, ни нашим — ни вашим... У этого лже-Зиновьева голова как-то варит.

Не дождавшись ответа, он решительно обернулся к Сократу:

— Кто сказал «А» — тот скажет «Б»! Обязательно скажет. Или-или! Однопартийность, монополия, коммунистическая монархия... или: свобода выбора, свобода мнений, испытанная многопартийная система! Третьего не дано! Не могу понять: что вас может удержать? Все скобки как будто раскрыты — Октябрь, его последствия... Целое поколение революционеров — в порошок! Что вам еще нужно?

— Вы повторяетесь, — нехотя отозвался Сократ. — Неужели вам не надоело?

— Я отлично понимаю. — не унимался Агап Агапыч. — Притягательная сила Октября. Малонна Революция... Не так

легко откреститься. Неистребимый ваш идеализм. неспособность реалистически мыслить...

— Ох, уж этот мне реализм. — Сократ брезгливо поморщился, — он связал нас по рукам и ногам.

— Напрасно вы думаете. — обиделся Агап Агапыч. — у нас, у социал-демократов, своя Мадонна. Демократия. с большой буквы! Мы никогда не позволяли себе оскорбить Ее, ополить.

— О да! — на лице Сократа мелькнула горькая усмешка. — Целомудрие, умеренность... К несчастью — она не способна никого увлечь, ваша Мадонна... Возвыситься, вдохновить!

Агап Агапыч помрачнел.

— Мы никогда, ни при каких обстоятельствах, — сказал он с раздражением, — не пойдем на авантюру! Рисковать свободой, жизнью миллионов, нет, увольте! Вы изволили убедиться. во что все это оборачивается...

Лицо Сократа, до этого хмурое, вялое, стало вдруг проявляться, оживать.

— Прошу прощения, Агапыч, — в голосе Сократа зазвучали лукавые нотки, — вы, ей-богу, никогда по-настоящему не влюблялись, все дело в этом! Вы просто-напросто заядлый старый холостяк!

Он вскочил, сорвался с места, как будто сию минуту что-то вспомнил, нашел что-то до зарезу нужное, важное.

— Ржавая пила — вот вы кто! — весело воскликнул он. — Конечно же, вам не понять нас...

Он засуетился, заспешил, забегал по камере, в поисках блокнота. Всю ночь напролет провозился он над своей писаниной.

15.

В Цитадели — праздник: ответ лже-Зиновьеву обнародован с раннего утра. Он переходит из рук в руки, его читают, перечитывают, смакуют. Сократ так и озаглавил его: «Разговор по душам», намекая, видимо, на ночной свой разговор с Агап Агапычем. Его стоит привести здесь дословно, этот шедевр.

«Оппозиция, — писал Сократ, — разгромлена организаци-

онно и физически, сторонники ее загнаны в подполье. Оклеветанные и очерненные, они томятся по тюрьмам и ссылкам, без права на самозащиту, на открытое декларирование своих подлинных взглядов и убеждений. Можно, впрочем, не сомневаться: все это только цветочки, ягодки впереди! Мудрено ли, что в обстановке сталинского террора, в рядах оппозиции могут обнаружиться деятели, готовые трубить отбой, взывать «к разуму», к трезвости, безбожно спекулируя при этом именем Ленина и лозунгом «единства». Возможно ли, однако, единство воли и единство мысли там, где подавлена всякая воля и где малейший проблеск независимой мысли рассматривается как вызов и как смертельная угроза безопасности государства?»

«Нынешний режим, — поучают нас авторы так называемого послания Зиновьева, — это и есть ленинизм в действии, его продолжение и развитие, его могущество, несокрушимая его сила! Без этого могущества, без разящего и карающего меча, Ленин будто бы не мыслил достижения вершин коммунизма... Неправда! Клевета на ленинизм! Великая партия Ленина достигла расцвета своего как свободный союз единомышленников, а ленинское руководство, его общепризнанный авторитет и высокое положение утвердили себя не насильственным и не захватническим путем, нет! Силой убеждения и безупречной нравственной чистоты ленинская партия завоевала любовь и доверие народа. Оппозиция никогда не примирится с режимом, опирающимся на грубую силу, она не склонит головы перед узурпатором и не сложит оружия в борьбе за свержение тирании.»

...«Нам возразят: вы, троцкисты, поныне именуете себя большевиками-ленинцами. Вы вышли из недр той самой партии, против которой ныне ополчились; вы плоть от плоти, кость от кости ее... Дух этой партии вы впитали с молоком матери и нет для вас иного пути, кроме проторенной дороги, приведшей партию к власти. Вы, следовательно, неизбежно придете к тем же результатам, против которых так яростно восстаете, ибо власть, как таковая, с неумолимой логикой порождает

эти результаты в качестве неминуемых своих атрибутов: насилие, гнет, тиранию...Стоит ли в этом случае копыя ломать, испытывать дважды судьбу? Путь однажды проложен, и вам, троцкистам, с него не свернуть»...

...«Торжественно заявляем: будучи марксистами-ленинцами, приверженцами революционного преобразования общества на началах справедливости и доброй воли, мы, сторонники оппозиции, с чувством отвращения отвергаем любую форму деспотии, в том числе — деспотию сталинского насильнического государства, ставшего отныне главным препятствием на пути мирового коммунизма. Мы отвергаем, как чуждую и враждебную делу социализма, сталинскую власть, опирающуюся на партийных чиновников и карьеристов, на бюрократов и подхалимов, на шкурников, деляг и стяжателей, для которых нет ничего дороже собственной выгоды, выше и священнее — личного своего благополучия. Оппозиция считает непреложным своим долгом — разоблачение бонапартистского характера сталинского владычества и последовательную борьбу за возврат к Ленину, восстановление ленинского наследия и возрождение ленинских партийных традиций...»

...«Плоть от плоти, кость от кости... Да, сторонники оппозиции в большинстве своем, действительно, принадлежат к старой Октябрьской гвардии. Они были в числе застрельщиков и творцов Октября, деятельных участников гражданской войны, зачинателей и строителей нового, социалистического государства. Они, следовательно, несут прямую ответственность за последствия Революции, в том числе, — за роковые сдвиги и провалы послеленинского периода. Оппозиция не склонна умыть руки, уклониться от ответа за неисчислимые страдания и жертвы, выпавшие на долю народа с утверждением сталинской диктатуры. Наоборот, именно сознание гигантской своей ответственности за судьбы социализма побуждает оппозицию к честному анализу опыта революции и поиску новых путей и средств, способных предохранить человечество от повторения драматических ее ситуаций и мучительных провалов.»

...«Оппозиция с презрением отмечает клеветнические измышления сталинской пропаганды о якобы неминуемом пере рождении троцкизма в агентуру буржуазии. Не сковывая себя никакими устаревшими схемами и мертвыми догматами, оппозиция, следуя духу ленинизма, будет неуклонно пробиваться вперед, прокладывая человечеству путь к обновлению и подлинной свободе. Ибо социализм и свобода — неразрывны и слитны. Нет и не может быть для революционера и коммуниста ничего более отталкивающего и позорного, чем рабство, человеконенавистничество, унижение человека человеком! И ничего нет ценнее и выше человеческой личности, ее достоинства и чести! Оппозиция верит в конечное торжество наивысших этих ценностей рода человеческого»...

Без всяких преувеличений, «Разговор по душам» вызвал в Цитадели всеобщее ликование. Даже Гришин, с трудом подавляя в себе раздражение против Сократа, старается не отставать от других, примкнуть к общему хору. Один я... Меня одолевают какие-то сомнения, страхи. «Гришкин манифест», ответный залп Сократа... Вариации одной и той же темы, и дирижерская палочка, как ни парадоксально, одна и та же... Он был не так уж далек от истины, Агап Агапыч: ему мерещились какие-то фокусы, интриги, мистификация со стороны Сократа. Дело обстоит, увы, куда сложнее, запутаннее. Суть дела, вообще, не в лицах вовсе, не в Сократах, не в Зиновьевых, подлинных или мнимых. Кто-то безликий, безымянный мелькает между строк громоподобных этих посланий, вещает, сулит... Некий никому не видимый глашатай: он изворачивается, гримасничает, кликушествует, путает карты, сталкивает лбами... И нет от него спасения. Имя этому глашатаю — История.

Камера все же успокоилась, приутихла. Сократ отлеживается после бессонной ночи. Агап Агапыч исподтишка бросает нежные взгляды в сторону Сократа, что-то невнятно бормочет про себя.

— Вы о чем, Агап Агапыч?

— Горбатого могила исправит...

— Ах, вот вы о чем...

Он наклоняется ко мне, нашептывает мне:

— Чего бы они стоили, все вместе взятые — не будь у них вратаря этого... Сократа!

16.

Партия... Она всегда представлялась мне святыней! Не просто — союз единомышленников! Нет! Не боевая рать, под общим знаменем, под единым командованием... Не то, не то! Нечто куда более возвышенное, недостижимое! Братство людей, наивысшая, наисвященнейшая форма человеческой общности — вот что такое партия! Роднее семьи, прочнее кровного родства...

Ты остался один, как перст, без родных, без друзей; ты брошен, позабыт — не падай духом, ты не одинок! За спиной у тебя — Партия! Любимая женщина отвернулась от тебя, покинула тебя — не отчаивайся, с тобой — твоя Партия! Ты внутренне опустошен, ты зачах, растерял духовный свой капитал; ты утратил веру в людей, в добро... Не сокрушайся, есть Партия! Вершина духа человеческого, маяк, якорь спасения твоего...

Мог ли я когда-нибудь допустить, на сотую хотя бы долю секунды, возможность возникновения в рядах этого братства — раздоров, распрей, интриг? Мог ли заподозрить, что за всеми этими книжными формулами: «демократический централизм», «детская болезнь левизны», «борьба на два фронта» и сотни им подобных — могут скрываться мелкие человеческие козни, коварство, зависть... Борьба за первенство, за преимущества, за господство! Мог ли предположить, что все это в конце концов обернется в самую настоящую свалку — когтями, зубами, в глотку друг другу! Немыслимо! Кто поверит?

Сократ намерен воскресить какие-то ленинские традиции, возродить разрушенную легенду о партии... Пусть все-таки потолкует со Зверевым, пускай договорятся: где же кончается легенда и начинается действительность?

В те отдаленные дни, когда я, вплотную столкнувшись с

этой действительностью, в ужасе отпрянул, бросил прочь партийный свой билет, недалекий от того, чтобы и самому броситься в омут, Зверев, пытаясь просветить меня, прочел мне вдогонку весьма внушительную лекцию на тему: партия, ее сущность, ее исторические пути.

«В тебе, Павел, — сказал он, — никогда не было настоящей партийной хватки! Тебе мерещились какие-то сверхчеловеки, уникамы... Между тем как партия — это, прежде всего, инструмент силы! Всякая партия, тем более — наша, коммунистическая партия, партия нового типа! Вся история партии — перелистай ее, на чем она строилась? Нарастивание силы! Октябрь, вооруженное восстание? Сила! Диктатура пролетариата, гражданская война? Борьба за хлеб? Сила, сила... Разгром противника, его подавление, уничтожение! Государственная партия — это само за себя говорит! Впрочем, партия никогда и не была другою, отроду, от самых пеленок: партия революции, партия, восходящая к власти... Мне тебя, кстати, не учить, ты сам других учил, втолковывал им ленинское учение о партии, «Что делать?», «С чего начинать?». — вспомни... Ты был, как никак, классный пропагандист.»

Мне, по сути, нечего было возразить. Любопытно, как отпарировал бы Сократ? Вообще Сократ — Зверев, поставить бы их рядом, столкнуть... Поучительное получилось бы зрелище...

17.

SOS! Я снова в центре внимания! После «Гришкиного манифеста», после блистательного дебюта Сократа — снова Малашкин! На меня обрушились с небывалым остервенением, можно подумать: не Зверев, а я, Павел Малашкин, подлинный сочинитель, или по меньшей мере вдохновитель злополучного этого письма.

Письмо Зверева... Он настиг меня и здесь, в этом захолустье, в запрятанной, никому не ведомой Цитадели. Для чего-то я снова понадобился ему. Неужели же ради этих двух-трех строчек, за текстом, адресованных, по сути говоря, ей, Ксении, через мою голову! Вся же философская, нравоучительная часть

письма — всего лишь дымовая завеса, очковтирательство?

Он никогда не появлялся на моем горизонте просто так, случайно. Всегда — к месту, всегда — в срок, каждый раз — с каким-нибудь новооткрытием. И сейчас ему, видимо, не терпелось огорошить меня, поразить. Он нашел для меня новую тему, самоновейшую, самую модную.

«Блеск Сталинского гения, — пишет он, — с каждым днем становится ослепительнее и ярче. Никто теперь не станет уже отрицать того факта, что Сталин — следующая ступень, после Ленина, одной ступенью выше... Общая у обоих основа — беспощадный реализм. Никаких ветряных мельниц, никаких иллюзий... Человек, такой как есть! Без прикрас! Его вожденные инстинкты, его мелкая душонка... Ленин блестяще применил этот принцип на примере НЭП'а. Сталин пошел неизмеримо дальше, он пустил в оборот всю гамму человеческих страстишек: тщеславие, алчность, раболепие, страх, в первую очередь, — всосавшийся с молоком матери, передаваемый из поколения в поколение, животный страх миллионов людей за благополучие свое, за дом свой, за жену и детей, за жизнь свою... Все это подхвачено Сталиным, пущено в ход! Какой же надо обладать отвагой! Отмести прочь весь ворох человеческих «добродетелей», интеллигентскую брезгливость, гуманизм так называемый. Бросить вызов миру, современникам своим, предшественникам, самой Истории... Ленин, возможно, не решился бы, Сталин не постеснялся, дерзнул! Рядом с государственным гением Сталина — до чего же мелкотравчатыми, ветхозаветными покажутся будущему историку троцкистские прорицатели — нынешние твои партнеры и наставники»...

Письмо заканчивается небрежным по тону, но, учитывая личность автора, весьма многозначительным, если не угрожающим, постскриптумом: «P.S. Кстати, тебе как будто посчастливилось коротать дни в обществе Ксении Куликовой. Если не трудно, напомни ей: судьба человека — в собственных его руках».

Никто внимания не обратил на эту короткую приписку. Ослеп-

ленные негодованием, все были до последней степени взбешены тоном письма и беспримерной наглостью неизвестного автора. Конечно, мне не следовало вытаскивать эту пакость на свет Божий, дразнить, как говорится, гусей. Я и не собирался, у меня в помыслах ничего подобного не было. Я имел, однако, неосторожность показать письмо Агап Агапычу, рассчитывая с его помощью расшифровать смысл загадочной приписки — этого оказалось вполне достаточно. Он выучил текст письма назубок, цитировал его без запинки, выдергивая из него самые крикливые, самые звонкие фразы. «Сталинский государственный гений!», «Высшая ступень ленинизма!», «Скрижали торжествующего социализма!» — смаковал он, вызывая всеобщую ярость и, в первую очередь, бешенство Гришина. Этого именно он и добивался: выманить Гришина на арену, вовлечь в новую схватку.

Само собою разумеется, я снова попал под ураганный огонь! «Что за фрукт этот Зверев?», «Что за странный альянс: Малашкин-Зверев?», «Фантастическая эта переписка? Дифирамбы Сталину»... Должна же за всем этим скрываться какая-то реальная подоплека, — какая, спрашивается? Со мной перестали общаться. Черные тучи стали снова сгущаться вокруг моей особы, мрачная тень Азефа явственно замелькала за моей спиной... Но вот Сократ — мой ангел-хранитель! Как всегда, он все перевернул вверх тормашками, истолковал все по-своему. Как всегда — не в ногу, не в унисон со всеми. На этот раз задетой оказалась одна из самых животрепещущих проблем, обнажен самый чувствительный нерв, к которому никто еще не отважился приблизиться, прикоснуться.

18.

Высказывание Сократа потрясло не одного меня, все они были застигнуты врасплох, потрясены, сбиты с толку.

Поначалу все это было воспринято как блеф — обычная сократовская манера озадачить, поиграть на нервах. Очень скоро, однако, обнаружилось, что письмо Зверева чем-то понастоящему заворожило, привело в неопикуемый восторг. Сок-

рат вцепился в него с неподдельной жадностью, цитировал во всеуслышание, ликовал, не выпускал из рук, как некую драгоценную, уникальную находку. Мне пришлось, в конце концов, выложить перед ним весь комплект зверевских писем — для чего-то я их приберегал, таскал с собой по этапам и тюрьмам, перепрятывал, сам не пойму, чего ради. Сократ погрузился в чтение, его невозможно было уже оторвать. Только и слышно было: «Браво, Зверев, брависсимо!», «Блеск!», «Блистательно!». Меня, признаться, пробирав озноб: что за неуместные восторги? Какие он там обнаружил для себя открытия? И как все это отразится, в конечном счете, на мне, на моем и без того весьма рискованном положении? Со мной вместе за Сократом — с недоумением и беспокойством — наблюдали десятки глаз.

Взвращая мне мою коллекцию, Сократ сказал:

— Берегите, как зеницу ока! В руках у вас — достояние... Когда-нибудь вас озолотят.

Гришин побагровел:

— Сжечь ее, «зеницу» эту! — вспыхнул он, — Одна мерзость! Спалить к черту!

— Что вы, что вы! — Сократ не на шутку встревожился. — Этакая редкость! Евангелие сталинизма, поймите... Устами его апостолов! Экономика, философия, мораль... все учение, как на ладони! Для будущего историка — клад! Цены нет...

Гришин насупился.

— «Сталинизм», — процедил он сквозь зубы, — «сталинское учение»... не слишком ли много чести?

Он вскочил с места, забегал по камере:

— Неуч! Семинарист! — с бешенством выкрикивал он. — Помрет — следа не останется! Забудут, вычеркнут из памяти...

— Сталина забудут, — спокойно возразил Сократ. — сталинисты, сталинизм — останутся. Пора усвоить, игра эта на долго...

Гришин перебил нетерпеливо, едва сдерживая свою ярость:

— Невежда, бездарь — туда же, в корифеи... Маркс-Энгельс-Ленин-Сталин! Святотатство, как вы мириться можете! И Зве-

рев этот, ваш новооткрыватель из породы апостолов... Провокатор, шпик — сразу видать!

Он подступил к Сократу и продолжал, понизив голос:

— Вам, кстати, не кажется ли подозрительным... Какой-то подонок, чекист, затевает переписку с политзаключенным... Через головы тюремщиков... Он стремится установить контакт с собственной жертвой, преследует ее своими наставлениями, поучениями, он, похоже, влюблен в своего Малашкина... Трогательно, не правда ли? Что бы это могло, однако, означать — вы можете объяснить?

Сократ ответил не задумываясь, с поспешной готовностью, словно бы заранее ожидал услышать этот вопрос:

— Гений Достоевского, — обрадованно воскликнул он, обведя всех восторженным взглядом. — Рекомендую обратиться к нему, его бессмертным творениям, «Братья Карамазовы», «Бесы»... галерея грядущих Зверевых! Всевозможные оттенки, вариации... Они весьма охотно рассуждают, философствуют, выворачивают себя наизнанку. И Павел Малашкин, он, кстати, здесь же, рядом с ними... они всегда рядом, сопутствуют друг другу, сосуществуют. Удивительно ли, что сегодняшний Зверев, современник наш, по пятам следует за Павлом, охаживает его, заигрывает с ним? Он не может без него дня прожить, Павел нужен ему, необходим, как воздух! Вы спрашиваете зачем? Хотя бы во имя самоутверждения, для полноты торжества своего. Зверевым мало одного лишь голого господства, они стремятся в душу влезть, растоптать ее... Достоевский это именно имел в виду.

— Этого не хватало! — Гришин всплеснул руками. — Достоевский — предтеча Октября! Провозвестник социалистической Революции...

Чей-то неуверенный голос подхватил:

— Почему бы и нет? Если иметь в виду — социализм сталинской породы? Достоевщина, от начала до конца! Великий инквизитор и так далее...

На него зашикали, все взоры обратились к Сократу. С изумлением оглянувшись, Сократ повторил в раздумье:

— Социализм Сталинской породы... Кто сказал?

Все кругом зашевелилось, и тот же неуверенный голос прознес:

— Я имел в виду, конечно, социализм в кавычках... Лжесоциализм!

Сократ уже не слушал. Он заговорил вдруг очень тихо, про себя, никого не замечая вокруг:

— Никто, по сути, не сказал еще на этот счет последнего слова... Какой он — подлинный социализм? Самое страшное, что может обнаружиться, что громадная эта махина, с наркоматами своими и главками, шахтами и домнами, голодными колхозами и совхозами-гигантами, ЦУМами, ГУМами, пионерскими своими лагерями и бесчисленными исправительно-трудовыми лагерями... С полчищами командиров и начальников, главных и старших, первых и вторых, орденосцев и героев, и возвышающимся над ними над всеми некоронованным королем, «великим и мудрым»... Что все это вместе взятое, именуется по праву... социализмом! Некая его разновидность, азиатский какой-нибудь вариант... Тогда что, а?

Среди всеобщего смятения Гришин приблизился к Сократу, голос его дрожал:

— Вы не думаете ли, Сократ, — начал он с необычной для него медлительностью, — что это... эти ваши рассуждения, это конец! Начало конца, — поправился он и, запинаясь, прибавил, — к-капитуляция! Иначе не назовешь...

Сократ усмехнулся, но тотчас же, согнав с лица усмешку и спокойно глядя в глаза Гришину, сказал, без всякой напыщенности:

— Оппозиция, друг мой, никогда не страшилась ярлыков. Слава Богу, приучены... Пуще всего бояться следует другого: самообольщения, лжи.

Взглянув на ссутулившуюся вдруг спину Гришина, он прибавил, с оттенком жалости в голосе:

— Послушайте, Гришин... В конце концов, это всего-навсего домыслы мои... Могу я, черт возьми, позволить себе роскошь пофантазировать?

Среди воцарившегося тягостного молчания я услышал над ухом у себя негромкий шепот Агап Агапыча:

— Ленинизм, сталинизм... спросите у них: где грань?

Он выждал немного и задиристо, на всю камеру, воскликнул: «Тех же шей, погуще влей!».

19.

Гром среди ясного неба: Ксению отправляют в этап, не сегодня-завтра ее увезут.

События нахлынули сразу, опережая друг дружку: Ксеньин этап! Известие об убийстве Кирова! Новая волна репрессий! ...Нас захлестывают всевозможные слушки, параши, догадки. Кое-кто склонен выискивать какую-то взаимосвязь между предстоящей отправкой Ксении и выстрелом в Ленинграде.

Ленинградские события застали всех врасплох. Все ломают головы, ищут, пророчат, разброд и смятение. Агап Агапыч утверждает: убийство Кирова — начало новой эры. Теперь ждите, все начнет раскручиваться по спирали: окончательная победа Сталина, террор, беспощадный разгром троцкистов и всех вообще инакомыслящих. Рассчитывать вам больше не на что, пора складывать оружие.

Сократ темен, как ночь, зловещие пророчества Агап Агапыча не вызывают в нем никаких решительно реакций. Он замкнулся, как улитка, и невозможно понять, что именно так пришибло его. Убийство ли Кирова? Или, быть может, угон Ксении в этап? Он молчит. Самое из всего неприятное — безумство Гришина. Смысл ленинградской катастрофы до него вообще, кажется, не доходит. Он знать ничего не хочет, верните ему Ксению, какими угодно путями: мятеж, подкоп, смертельная голодовка, любые средства должны быть пущены в ход. Немедля, никаких оттяжек, проволочек, пока она еще здесь, среди нас! На него не действуют никакие доводы: острота момента, Ленинград, нависшая угроза... Они всех передумат,

всех до одного, стоит подать повод! Возможно даже — Ксения этап специально для этого придуман, подогреть страсти, подбить на выступление. Нельзя поддаваться на провокацию! Гришин ничего слышать не хочет! Он будет действовать один, если на то пошло! Он перевернет всех вверх дном! Поджог, он сожжет, к черту, изолятор! Никто не в силах с ним справиться, обуздать его.

С катастрофической быстротой мы несемся вниз куда-то, по наклонной плоскости. Куда летим? Где она — конечная черта?

20.

Ксения — волшебница! Немошное, хрупкое существо, не женщина даже — дитя, она сумела добиться того, чего не смогла достичь орава отважных, прошедших огонь и воду мужчин! Она «вправила мозги» Гришину, образумила, утихомирила его. Мало того — она заново вдохнула в него жизнь, нашла выход бушующим в нем страстям! Непостижимым каким-то образом ей удалось внушить ему, что все складывается наилучшим образом: ленинградские события, ее собственные дела, судьба самой Цитадели... Она ухитрилась все это связать как-то воедино, в один узел, обнадеживающий и многообещающий. Гришин воскрес. Он снова полон кипучей энергии, неистощимой жажды деятельности! Он ринулся снова в бой, трубит близкую победу. «Нытики! Паникеры! Кто там каркает? Агап Агапыч? Нашли кого слушать... Ленинградский выстрел — сигнал спасения, грозный приговор режиму! Тиран расправляется с собственными своими подручными, что может быть убедительнее? Зверь в своем логове — пожирает сам себя... Сталинский режим сгнивает на корню, он разваливается на глазах у нас! Начало конца — вот что такое убийство Кирова! Агап Агапычам, конечно, не понять, им только скулить, отпевать... Рано, рано вздумали хоронить нас! Мы еще повоюем! Само собою, они начнут теперь свирепствовать, травить нас, провоцировать. Ксения — первая ласточка, за ней последуют остальные! Пустяки, это их не спасет! Развязка не за горами! Держись, Ксюша, будь мужчиной!»

Ксения держится, поддакивает ему, соглашается, она нянчится с ним, как с ребенком. Несчастливая! Кто протянет руку помощи тебе самой, в эту трудную для тебя минуту?

21.

Кончилось супружеское счастье Гришина, оборвалось. И снова мне суждено было стать свидетелем, арбитром между ними, между Гришиным и Ксенией. Как и тогда, в те мучительные дни. Можно было подумать тогда, что на этом поставлена будет точка: выбросили из партии вон, и все, конец биографии Ксении Куликовой. Увы, это была только увертюра, пролог. Сейчас занавес поднимается снова, начинается действие третье, кто знает, быть может — последнее: Ксения теряет единственный свой оплот, свою семью, домашний свой очаг. И снова я очутился с ней рядом, она для чего-то пригласила меня к себе в камеру в самую критическую минуту.

Семейная тюремная камера — вот, значит, она какая! Узкая, шелевидная каменная клетка, зарешеченное крохотное оконце, две железных койки вдоль стены. Подобие столика, пара табуреток, книжная полочка, самодельная. И все же — домашний очаг... Какая-то на подоконнике картонная коробочка с воткнутой в нее веточкой зеленой хвои. Занавеска над решеткой, на столе салфетка ксеньиной вышивки. Под книжной полкой, на резинке, болтается вылепленный из хлебной мякоти петушок — тоже, видимо, ксеньина работа. Забавнейший Петя, воинственный и жалкий, намек, должно быть, на Гришина. Дыханье женщины, оно наложило печать свою на весь убогий скарб тюремного чулана, от узких железных коек и вплоть до деревянной урны в дверях, покрытой бумажной салфеткой. Прикосновение Ксеньиных рук повсюду... Теперь — конец!

Она без толку топчется по камере, из угла в угол, перебирает скупое свое достояние, переставляет для чего-то книжки на полке, взбивает подушки на койках, разглаживает их нежно, прощается с ними... Ей, значит, не так просто со всем этим расставаться, разлучиться. Действительно — «дом родной», семья... А я-то думал!

Точно угадывая мои мысли, она говорит, сама себе, размышляя вслух:

— Ты всего-навсего женщина, Ксеньюшка. Тебе лишь бы бросить якорь, приземлиться, гнездышко свить... Хотя бы в этом каменном мешке, за тюремной решеткой. Дура ты, дура...

Этому невозможно было поверить: она самым серьезным образом оплакивает неудавшееся свое, призрачное, ускользающее из рук, тюремное счастье.

— Зачем вы позвали меня, Ксения? Столько времени уклонялись, избегали встречи...

Во мне вдруг вскипела обида и я прибавил, у меня вырвалось, помимо моей воли: «Третировали меня...»

Я спохватился, но — слово не воробей, — поздно! Она взглянула на меня испуганно, широко раскрытыми глазами, будто впервые увидела меня.

— Какие же вы все, — произнесла она скорбно, — все как один! Только о себе... Просто поражаешься...

Я стал ненавистен себе в эту минуту и сидел, как пригвожденный, не смея поднять глаза. Вообще, я вел себя в высшей степени глупо, чтобы не сказать — пошло. Я принялся вдруг утешать ее, и это выглядело уже, как издевка.

— Есть из-за чего убиваться, — начал я самым беззаботным тоном. — Что может вас здесь привлекать, удерживать? Неужели же — этот семейный «уют»? — Я пренебрежительно обвел рукой вокруг себя. — Занавесочка эта? Казенные байковые одеяла? Скатерка... Глумление над самим понятием «семья». Над человеческими отношениями вообще. Неужели вас не корбит, не отвращает...

На глаза мне попался игрушечный хлебный петушок; я вспомнил про Гришина, и волна раздражения, обиды переполнила вдруг меня, затуманила рассудок.

— Вырваться из этого богоугодного завлечения, — начал я снова с возросшим пафосом, — этап, пересылка, любые мытарства, ничто не может идти ни в какое сравнение с этим нашим склепом.

Взглянув на Ксению, я прикусил язык. Она глядела на меня с таким гневным вызовом, лицо ее исказилось при этом такой неподдельной мукой, что всё во мне похолодело.

— Муж! Поймите же... Муж он мне все-таки или нет? Как вы думаете?

В глазах у нее заблестели слезы.

— Простите меня, Ксения, ради Бога простите, — пробормотал я в отчаянии.

Она вскочила с места, заторопилась. Подбежав к двери, она высунула голову, выглянула осторожно в коридор. Из дальней камеры доносились приглушенные, спорящие голоса, среди них — всех громче — ликующий голос Гришина. «Смеется тот, кто смеется последний», — возглашал он.

Ксения неслышно прикрыла дверь.

— Тешится, — прошептала она с едва заметной горькой усмешкой. — Чем бы дитя ни тешилось...

С внезапной решимостью она присела к столу, рядом со мной.

— Строго между нами, — сухо, совсем уж по-деловому, начала она. — Обещайте мне...

22.

Позор! Это жуткое слово прежде всего другого вспыхнуло где-то в глубинах моего сознания. — Общий наш позор! Всех нас, околачивающихся в этой Цитадели мужчин, бессильных, жалких, ничтожных... Нам не смыть с себя этот наш позор, не оправдаться. Ну и что же, что тюрьма! Все равно, мы обязаны были что-то предпринять, отстоять ее, заслонить! Грудью своей, ценой самой жизни...

Оказывается — вот она где, истинная подоплека Ксеньиного этапа! Боже правый! Все что угодно, только не это! Не подкуп, не плевков в душу... Я слушал рассказ Ксении и что-то во мне надламывалось, рвало мне сердце.

— Позвольте, — прохрипел я вне себя, — при чем тут Зверев? По какому праву?

— Право сильного, — безропотно ответила она и продол-

жала все тем же сухим, бесстрастным тоном. — Вы знаете Костю не хуже моего, от него не так просто отделаться. Зверев, как-никак... Он давно уже подбирается ко мне, забрасывает меня записочками, людей подсылает. Самое последнее его письмо, вами полученное, тоже ведь в мой огород камушек. Он давным-давно добивается от меня заявления на развод с мужем, ни больше, ни меньше. Этого, мол, вполне достаточно: за этим последует свобода, московская прописка, квартира, вплоть до восстановления в партии; он, Костя, гарантирует. Гришин знает, я не собираюсь секретничать, показывала ему эти записочки. Ноль внимания! Он считает Зверева шизофреником. Теперь этот шизофреник подстроил мне вызов в этап, это точно он, его рука, у меня все доказательства. Он на что-то рассчитывает... Ну, что вы порекомендуете? Сказать Гришину? — Она взглянула на меня вызывающе. — Раскрыть перед ним карты?

— Что вы, Ксения! — ужаснулся я.

— Ну вот, — у нее безнадежно повисли руки.

Ком подкатил к моему горлу. Сгорая от стыда за бессилие свое, за беспомощность свою, я еле смог выдавить из себя:

— Мы так этого, Ксения, не оставим... Поверьте!

— От вас, Павел, требуется лишь одно, — она сверкнула на меня глазами, в которых зажегся вдруг недобрый огонек. — Если Гришин опомнится, наконец-то, очухается... — Что-то в ней, видимо, надорвалось, прорвалось наружу, и она продолжала с нескрываемым раздражением:

— Если он поймет, в конце концов, что Кировское убийство к моему этапу никакого касательства не имеет, просто смешно, пришей кобыле хвост... — она вдруг умолкла, задумалась и закончила, пригорюнившись, без всякого уже интереса, потухшим голосом, — в общем, если пойдут какие-то про меня разговоры, байки, скажите им, в первую очередь Сократу: Ксения Куликова никогда никого не предавала и не предаст.

— Господь с вами, Ксения, — воскликнул я, чуть не плача,

— о чем вы говорите? О каком предательстве? Наоборот, мы все... Мы бросили вас на произвол, на съедение...

— Не выдумывайте, Павел, — запротестовала она. — Не такая уж я сирота казанская... — Она испытующе поглядела мне в глаза и прибавила:

— И не Божья коровка вовсе... Вы думаете — Зверев что? Просто так, с неба на меня свалился?

Внезапная догадка, как ожог молнии, сразила меня. Я прошептал, задыхаясь:

— Негодяй этот, Костя Зверев... и вы!!! Не может этого быть!

«Может! Может!» — точно молотком стучал кто-то мне в висок, вышибая из глубин памяти моей какие-то давным-давно угасшие, разрозненные, ничего в те времена не значившие детали: «На квартиру к себе, думаешь, зря тебя Зверев зазывал тогда, заманивал? Ради прекрасных твоих глаз? «На собрании кто тогда изворачивался, ловчил, вытаскивая Ксению из огня? Ты позабыл?» «Гришина кто возненавидел белой ненавистью, закапывал, тебя пытался натравить — не он ли, Зверев?» В конце концов, он, видимо, добился своего... Теперь охотится снова, настигает ее!

Ксения вновь заговорила — безразличным, глухим голосом, точно пойманная с поличным, на скамье подсудимых, перед лицом присяжных. Она сама не может понять, как оно могло произойти. Чудовищное это партсобрание, объяснение с Гришиным, аборт... Гришин ничего тогда не понял, он вообще плохо ее понимал. Какая там любовь! Он был по уши поглощен своим подпольем, партийными своими делами. А тут — Костя Зверев! Это была даже не игра, Костя был, по-своему, увлечен. Он с ума сходил, мучился, готов был идти на жертвы... Вообще — все это было совсем непохоже на то, что у них было с Гришиным, день и ночь. Главное же — Гришин уловил в ней самое для нее заветное, самое тогда болезненное... Мечта о ребенке. На этом он и сыграл.

Я слушал, не смея передохнуть. Она произнесла без всякого

перехода, бесчувственно и тупо, стремясь, по-видимому, свернуть поскорее свой рассказ, побыстрее с этим покончить:

— Я убийца, Павел... Дважды убийца! Второй этот, Зверевский, на пятом месяце беременности...

Разнесчастная! Какое же непосильное бремя взвалила она на слабые свои плечи, на душу свою... Не она взвалила — нагрузили ей, навьючили, друзья ее, ее недруги... Сколько их еще впереди у нее? Она волочит на себе этот груз, тащит, с ног валится. Падает, но тащит, изо всех сил держится, пытается устоять. Она не жалуется, не оправдывается, она даже винится... «Убийца»... Кто же убийца?

Лицо у Ксении вдруг смягчилось, голос дрогнул, потеплел.

— Надеюсь, — сказала она с грустной улыбкой, — вы не станете больше устраивать мне допросы: почему, зачем? Почему избегала вас? «Третировала» вас? Следствию ясно?

Подавленный, разбитый вдребезги, я не отвечал. Мне не нужно было никаких больше подробностей, объяснений, слишком уже все это было мучительно и страшно. Ксения подняла на меня глаза, лицо у нее перекосилось, побелело.

— Не могла я поступить иначе, — сказала она снова по-мрачнев. — Как раз в тот день мне дали свидание с Гришиным, там всё и обнаружилось, до мельчайших деталей. Все зверевские проделки: доносы его, подтасовки, вербовка стукачей, лжесвидетелей... Он поднес им Гришина на блюдечке: нате, ешьте! Тою же ночью я все сделала, как поется: «своею собственной рукой». Не аборт — а мясорубка, сплошное кровопролитие... Меня еле откачали!

— Не надо, Ксения, не надо...

Сократ, Сократ! Ты прокладываешь пути к справедливому, гармоническому обществу. Я верю тебе, Сократ, преклоняюсь пред тобой, готов следовать за тобой...

И ты, Гришин, ты сражаешься против тирании, самоотверженно, сломя голову. Ты воин, борец, и я готов отдать тебе должное несмотря даже на гордыню твою, ожесточенность, на ненасытную жажду возмездия.

Агап Агапыч — полжизни отдал он за мифическое царство Демократии; ни минуты не колеблясь, он отдаст другую ее половину, положит на алтарь Человечества!

Все вы, хоть и по-разному, усердствуете, бьетесь головой об стенку, стараетесь, верные служаки, на побегушках у Истории. Кто из вас, скажите, подумал о погубленной жизни Ксении? Чего стоят усилия ваши, ваши мудрствования, кипение страстей, пока рядом, истекая кровью, бьется как рыба об лед Ксения, в неравной битве, без малейшей надежды на руку помощи, без всяких шансов на спасение?

23.

Я сам загнал себя в этот тупик, и мне некого винить, кроме самого себя. Они вправе теперь шельмовать меня, клеймить, обвинять меня в семи смертных грехах: авантюризм, отступничество! Даже продажность... Одно только я отмечаю с негодованием: намеки на Ксению, ее причастность к этой истории. Кто-то додумался: она, Ксения, толкнула меня на этот шаг, подсказала мне в самую последнюю минуту. Недостойно, глупо! Никакого, самого отдаленного отношения! Мне просто невмоготу стало тянуть эту лямку, дышать этим тюремным воздухом, вариться в собственном соку.

Ее кто-то подменил, нашу Цитадель! Куда девалась былая ее слава, ее веселый задор! Нескончаемые дискуссии, накал страстей, игра воображения... Кончилась вольница наша, раньше времени. Кем-то пущен слух: конец политизоляторам, уже отдан приказ, политзаключенных будут перебрасывать в лагеря. Игра в бирюльки кончилась: открытые камеры, книги, жены... Даровые хлеба... Поиграли — хватит! Существует ГУЛАГ — не угодно ли? Никто не смеет вслух об этом заикаться, Цитадель присмирела, притаилась в ожидании смертельного удара. Какие там протесты, ультиматумы, дебоши... Уцелеть! Сохранить эти крохи тюремного своего комфорта! Уединенные свои клетушки, полочки с книгами, брожение по коридорам... Они судорожно вцепились, прилипли к каменным стенам тюремного своего пристанища. Они готовы молиться ни них, покло-

няться им, слржить возле них свои головы. Только бы не рухнуть раньше времени, не шлепнуться в эту страшную трясиину, именуемую ИТЛ. Одно лишь упоминание о лагере вызывает у всех содрогание, это-то и переполнило чашу терпения моего, подтолкнуло меня. Мне ненавистна стала Цитадель, безмолвие ее коридоров, ужас, охвативший ее людей. Глупцы! Чего утрашили вы? Что может быть страшнее неволи, рабства? Вам, лишенным свободы, познавшим горечь порабощения, не все ли вам равно, где прозябать, в каких вам оковах влачить свое жалкое существование? На тюремных ли нарах? В комфортабельных казематах Цитадели? В дощатых ли бараках северных лагерей? Куда девалась ваша доблесть? Отвага? Самолюбие ваше?

Мучительный зуд охватил меня: вырваться отсюда вон! Выскользнуть из этой теплицы, на воздух... Услышать биение пульса жизни, как бы страшна она ни была, эта жизнь! Увидеть ее, заглянуть в ее омут... Вполглаза хотя бы, через замочную скважину, в просвет вагонной решетки, через щель лагерного ограждения... Я не смог устоять, выкинул этот дурацкий трюк. Он почему-то показался им, тюремным моим сотоварищам, неслыханной дерзостью, выпадом против Цитадели, ударом из-за угла. Какие основания? Вправе человек, на худой конец, распорядиться собственной своей шкурой?

24.

Затея эта сделалась за последние дни заветной моей мечтою, моей болезнью, навязчивой моей идеей. Я потерял всякую способность сопротивляться. Страшилище это, лагерь, пугало, приводящее всех и каждого в трепет, овладело исподволь моим воображением, стало казаться мне раем, землей обетованной. И я решил... Я отправил эту депешу в Москву, не одну даже, целых три, в три разных инстанции. Я просто спятил. В грозный этот час — дамоклов меч занесен над нашими головами, все ждут с ужасом и содроганием, затаились, ни звуком не напоминают о своем существовании — находится вдруг безумец, он обращается в Москву, умоляет перевести его в лагерь, спрашивается сам, по доброй своей воле... Любой лагерь, на лю-

бой срок, он согласен, только бы выбраться из этой дыры, именуемой политизолятором, распрощаться с ним, на веки веков. Зовут этого безумца — Павел Малашкин. вполне законно — они готовы меня растерзать, мои коллеги. Меня подвергли бойкоту, объявили штрейкбрехером.

Гришин, естественно, постарался пригвоздить меня к позорному столбу, он выступил с чем-то, вроде декларации прав. Приближается, дескать, час великих испытаний. Их, троцкистов, собираются загнать в лагеря, перемешать с уголовниками, согнуть их в бараний рог. Моральное подавление троцкистов — вот в чем главный замысел операции. Лишить оппозицию политического лица, доказать всему миру, что троцкизм, как политическое течение больше не существует, он похоронен, раз и навсегда. Что в СССР вообще не существует отныне политических заключенных. Есть преступники, отщепенцы, их не преследуют, их перевоспитывают в трудовых лагерях. Им предоставляют возможность исправиться, приобщиться к общественно полезной деятельности. Труд, добросовестный, честный труд — все, что от них требуется, ничего больше! Гуманизм советского строя... До подобного фарисейства никто еще за всю человеческую историю не додумался, инквизиция, и та не додумалась. Нет, тысячу раз нет! Ни один уважающий себя троцкист не согласится, не сдвинется с места, шагу не делает! Одни беспринципные обыватели, типа Малашкина... Туда им и дорога! Долой лагеря, долой принудительный, рабский труд! Права политическим заключенным! Все, как один, на защиту законных своих прав!

Все носятся с этой декларацией, все подтянулись, воспрянули духом, подняли головы. Надолго ли?

25.

Гроза продолжает надвигаться, медленно, но верно. Она подкрадывается, подползает все ближе, ближе, вот-вот разразится она над Цитаделью. И мне придется сделать свой выбор: к какому пристать берегу, за кем следовать?

За Агап Агапычем? Он пока еще таится, выжидает, не рас-

крывает своих карт. Никто, однако, на этот счет не испытывает никаких иллюзий... Отрезанный ломоть, был, есть и таковым останется. Решусь ли я, в последнюю минуту, заодно с Агап Агапычем, повернуться к ним затылком, уйти в нети, предоставить их собственной своей, роковой, быть может, судьбе? Позволю ли себе?

Гришин и его окружение, с ними заодно?... Замуровать себя со всеми вместе, в ненавистном этом каменном гробу? Окопаться, отгородиться от всего мира, заживо сгнить? Сумею ли? Выдержу ли я? Еще вопрос — удостоят ли они меня этой чести, не прогонят ли с позором, после грехопадения моего, после этого моего «штрейкбрехерства?»

Сократ единственная моя надежда... Увы, он явно выдохся, мой покровитель, на какое-то время вышел в тираж. Часами просиживает он на койке у себя, сложа руки, недвижим, безучастен, без признаков жизни. Тяжелая апатия сковала его движения, парализовала волю, ввергла, похоже, в состояние прострации. К Гришинской декларации он остался равнодушен, ухом не повел. А что, собственно, мог бы он предпринять, противопоставить Гришину? Броситься в огонь, тушить пожар? Вызвать к разуму, к смирению? Урезонивать, вести за собой? Куда вести? В лагерную зону, на поругание? Никто слушать не станет, отвернутся с презрением, камнями закидают.

Когда Агап Агапыч сунулся было к Сократу, стал теребить его, требовать от него каких-то действий, он только руками развел: сами, мол, видите, я тут ни при чем. Агап Агапыч взорвался:

— Вы! Вы во всем виноваты! Ваша школа... Остановите их, пока не поздно!

Сократ даже усмехнулся, лицо его на мгновение оживилось.

— Кто может решить: рано ли? Поздно? — нерешительно взглянув на Агап Агапыча, он с какой-то обреченностью прибавил:

— Надо дать вину перебродить, не путаться в ногах.

— Ах так! — разъярился Агап Агапыч. — Вы еще склонны

философствовать! Хорошо же, поглядим, что запоете вы потом.

Никогда еще я не попадал в такое глупое, безвыходное положение. Впрочем — разве я один? Все они блуждают в потемках, никто, по сути, толком не представляет себе, что могут означать призывы Гришина, его заклинания: «Долой лагерь!», «Все как один!», «Соппротивление!» Как сопротивляться? Какими средствами? Это все-таки не штурм Зимнего, забудьте...

26.

Нежданно-негаданно записка от Ксении... Не записка даже, клочок мятой серой бумаги, без подписи, без указания адресата, неизвестно даже — ксеньина ли рука. И непонятно, как могла попасть к нам, в изолятор. Окольными какими-то путями, через десятки рук, через неведомых людей, по пересылкам, по вагонзакам, через Вологду, Киров, Горький... Несколько строчек, с трудом разберешь: Ксения Кулакова в пути, она сама не ведает, куда везут; на восток куда-то — не то в Норильск, не то на Воркуту. В Бутырках продержали около шести месяцев, без толку. Теперь все, восемь лет заключения, постановление ОСО. Никаких больше подробностей, никому ни слова, даже Гришину. Общий привет: «За меня можете не беспокоиться, прощайте».

Гришин рухнул на одно лишь мгновение. Он побледнел, скрючился, зарылся лицом в колени, но сразу же выпрямился, встряхнулся, вскинул голову.

— Ничего подобного, не верьте, — заревел он не своим голосом. — Очередная покупка, вздор! Дешево вздумали покупать, не пройдет! Ксения в Бутырках, я знаю! Провокация! Вот последнее от нее письмо...

Он потряс в воздухе каким-то почтовым конвертом, потом, для вящей убедительности, поймал полученную ксеньину записку и на глазах у всех, с яростью и остервенением изорвал ее в клочья. Никто не стал допытываться, уточнять, всем хочется верить: ничего с Ксенией не произошло, никаких этапов, пересылок, никаких лагерей... Слишком было бы за нее страшно!

Полгода!.. медленно работает мельница богов! Мы все еще топчемся на месте, томимся в неведении, в страхе, в ожидании беды. Кто знает, быть может ничего вообще с нами не случится, гроза миновала и мы так и останемся доживать свой век в питомнике своем, без катастроф, без потрясений. Может быть, все это было чересчур уже раздуто, все эти слухи, страхи, предположения о лагерях, о ликвидации Цитадели? Утка, досужая чья-то выдумка! Никто, возможно, не собирается нас выдворять, подавлять. Одна только Ксения, она платится за всех нас, по пересылкам где-то, по тюрьмам на сухарях и на воде, погибает ни за что, по милости Зверева? Можно ли с этим мириться, терпеть?

Гришин уверяет со всей категоричностью: Ксения вернется, непременно вернется, очень скоро вернется, увидите! Сюда же, к нам, в родную семью! Он, вообще, круто повернул оглобли, самым неожиданным образом переменял тон. «Ничего у них» не получилось, — утверждает он, — отступили, сдрейфили... Цитадель как была, так и останется твердыней оппозиции, ее оплотом! Мизинцем не тронут! Не посмеют! Руки коротки»...

Он мастер внушать людям, приструнивать их, в этом, очевидно, заключается секрет вождения, командования людьми? Напрашивается, все же, вопрос: не он ли, Гришин, совсем еще недавно бил тревогу, декларации сочинял, клялся, грозил... Теперь, оказывается, «не посмеют!» Поворот на 180 градусов!

Какие же они, однако, непохожие, разные — Гришин и Сократ — в своем рвении, неистощимом своем упрямстве, фанатичности своей...

27.

Посмели! Свершилось! Гром грянул, когда его перестали уже ожидать. Команда поступила ночью и мгновенно, ночью же, доведена была до всеобщего сведения: этап отбывает через сутки — 24 часа на сборы. Временно освобождаются от этапирования одни только коечные больные, они остаются на месте впредь до очередного распоряжения. Никаких деталей: место назначения, маршруты, сроки — все будет сообщено в свое

время. Слух все же просочился: вывозят на Север, в Воркутские лагеря. Очевидно стало для каждого: конец! «Новая эра» — вот она, начинается! Уже началась, наступила, возврата нет!

Короткое, гнетущее замешательство, оно всем показалось нестерпимо долгим, беспросветным. И внезапная команда Гришина, прозвучавшая в эту минуту как вопль отчаяния, как одиочный залп среди необъятного безмолвия тюремной ночи: «Обструкция!»

Словечко это мигом облетело все камеры, перевернуло Цитадель вверх ногами. В окна, в двери, к потолкам и тюремным стенам, с грохотом и треском полетело все, что попадалось под руку: миски, чашки, ботинки, подушки, книги, обломки сломанных полок, табуретки, скамейки, ведра... Цитадель стонала, вопила, лезла на стены, редела во все глотки; после длительного бездействия все ринулись, упиваясь азартом игры. Никто еще не представлял себе толком, что же должно за всем этим воследовать, какие новые выдумки и сюрпризы и чем, вообще, все должно, в конечном итоге, завершиться. Тем не менее, их невозможно было уже утихомирить, унять.

— Обструкция, обструкция, товарищи...

Время от времени все же кое-кого охватывало беспокойство, и в эти редкие минуты протрезвления взоры обращались почему-то к Сократу, словно бы не Гришин, а он, Сократ, затеял эту суматоху, и именно ему, Сократу, придется эту кашу как-то расхлебывать.

Он неузнаваемо вдруг перобразился, мой кумир, его как будто подменили. Растерянность, расслабленность его — как рукой сняло. Не трогаясь с места, он глаз не спускал с Гришина, следил за каждым его шагом, за движением мечущихся по камере людей, что-то прикидывал, взвешивал... Можно было подумать, оно устроено специально ради него, это зрелище, по его, Сократу, замыслу и заданию, и вот, он восседает сейчас в зрительном зале, главный режиссер и постановщик, критическим оком наблюдая творение рук своих. В свою очередь за ним, исподтишка, с тревогой и недоверием, вел наблюдение

Агап Агапыч. Вакханалия продолжалась довольно долго, мне по крайней мере казалось — конца этому не будет. Конец, однако, приближался с фатальной неизбежностью, обструкция с каждой минутой выдыхалась и бунтовщики все чаще и чаще застывали в изнеможении, мрачно озираясь вокруг и чутким ухом ловя звуки, поступающие извне.

Тюрьма пробуждалась, воцарившуюся в камере минутную тишину пререзал вдруг пронзительный свист, взорвавшийся со двора, сквозь оконные решетки. В ту же секунду коридоры наполнились топотом кованых сапог, точно табун скакунов проскакал по зданию изолятора, мимо бушующих камер. Стены затряслись от оглушительного громохання дверных запоров, камеры захлопнулись мгновенно, никто не успел нос высунуть. В тюремных воротах раздался истошный вой сирены и вслед за этим — рев многочисленных моторов попеременно с разнузданным визгом автомобильных гудков. Во двор Цитадели во всеоружии и полной боевой готовности вривалась, видимо, вызванная с какой-то целью, пожарная команда. Десятки пар глаз впились в Гришина с затаенной тревогой и решимостью отчаяния.

Не помня себя, Гришин рванулся, вскочил на табуретку, что-то прокричав визгливо и нечленораздельно. Его как-то поняли, угадали, ринулись врассыпную по камере. Работа возобновилась с новым азартом и лихорадочной поспешностью. Скамейки, стулья, обломки всякие, матрасы, всевозможная рухлядь, все подтаскивалось для чего-то к дверям, сваливалось в кучу и, в развороченном, изуродованном виде нагромождалось у дверей, поднимаясь выше и выше, под самый потолок. Я не сразу сообразил, что бы это могло означать. Люди действовали механически, без ясной цели и здравого смысла, подстегиваемые слепой силой инерции и столь же стихийным ощущением взаимодействия и товарищества. Угрожающий хриплый возглас Гришина: «Пусть только попробуют, сунутся!» — надушил меня, наконец: воздвигается нечто, именуемое баррикадой. И тут произошло самое неожиданное, никто сразу не

мог понять, что собственностряслось, все застыли, остолбенели, обернулись к Сократу.

Мертвой хваткой вцепившись в спинку своей койки, Сократ корчился в судорогах, извивался, дергался, фыркал, давился... Его душили спазмы, конвульсии сводили его тело, из глаз обильным потоком лились слезы. Он делал, видимо, сверхчеловеческие усилия, чтобы как-то превозмочь себя, взять себя в руки — увы, безуспешно. Изо рта у него вырвалось, вместе со свистом, хрипом, с фонтаном слюны, дикое какое-то безудержное клокотанье, не то приступ хохота, истерического, безумного, выматывающего душу, не то мучительный спазм надрывных, с трудом сдерживаемых рыданий — не поймешь. Никому, конечно, в голову не могло прийти, что в камере, при данных обстоятельствах, найдется вдруг весельчак, способный в такую минуту развлекаться, хохотать до упаду, до колик в животе, до истерики. Сократ, однако, настаивал, постфактум: да, именно так! Он помирал со смеху, не в состоянии пересилить себя, остановиться. Слишком уж велика была потеха! Гришин, его фельдмаршальские замашки, бесподобная эта «баррикада»... Зрелище для богов, он просто погибал, Сократ, у него чуть кишки не вывалились.

Хотите верьте, хотите нет. Так или иначе, истерика эта сделала свое дело, спасла положение. Сам того, быть может, не замышляя, Сократ вывел людей из тупика, заставил их очнуться, взглянуть на себя со стороны, образумиться.

Едва придя в себя, Сократ заторопился, кинулся к своим вещам. В чемодан полетели книжки, словари, тетрадки, белье, мелочь всякая, все это запихивалось кое-как, без разбору. Он проделывал все это с лихорадочной поспешностью, точно кто-то подгонял его, не давал ему опомниться. Никогда раньше я не видел его таким деятельным, ловким.

Я оторопел, тяжелый груз свалился с плеч моих. Сомнений быть не могло — Сократ собирается в этап! Цитадели конец, нет больше Нижне-Удинского политизолятора.

Ему же, Сократу, выпала, кстати, честь улаживать затем

злополучный этот конфликт с тюремной администрацией. Гришин отстранился, махнул на все рукой.

28.

Итак, Сократ и на этот раз выиграл сражение против Гришина, выиграл его без боя, без жертв, без капли крови. Действительно, все они поголовно, включая Гришина, последовали за Сократом в ненавистный этот этап. Уже в пути, по дороге в Архангельск, в битком набитом столыпинском вагонзаке, я расслышал ночью тихий голос Сократа. Он нашептывал на ухо безмолвствующему Гришину, растянувшегося во всю свою длину на полу, под вагонной лавкой:

— Пойми ты, я не собираюсь оспаривать, — увещевал он Гришина. — Все это, я с тобой вполне согласен, неоспоримые истины. Концлагеря, как бы их там не именовали, печлаги эти, воркутлаги, устьвымлаги, — что может быть омерзительнее, гнуснее... Так называемый «честный труд» за колючей проволокой, под усиленным конвоем, под лай овчарок... «Перековка» так называемая — можно ли придумать что-либо более уродливое, более отвратительное? Все это так, но... оно переросло уже рамки узкопартийного конфликта! Мы стоим перед лицом национального бедствия, быть может, даже шире — катастрофы общечеловеческого масштаба. Вправе ли мы думать сейчас о себе, своих обидах, своих «правах»? Бесчестье... Кто же, если не мы, наследники Октября, обязан в первую очередь, прежде других, пройти через все это, через позор и бесчестье, через пересыльные тюрьмы, через этапы, через Сталинские лагеря? Испытать все это на собственной шкуре, испить чашу сию до дна... Как иначе сумеем мы все по-новому осмыслить, понять? Ревизия... Не следует пугаться жупела этого! Да, ревизия! Беспристрастная, строгая, честная, как на духу... Единственное, на что мы еще можем пригодиться!

Сократ помолчал и, не дождавшись ответа, продолжил:

— Между прочим, по поводу «морального» подавления оппозиции... Что ты имел в виду? Бесспорно, Сталин жаждет опозорить нас, смешать с грязью, подавить нас морально. Это

само собою разумеется, но это далеко еще не все! Ему нужны наши головы, об этом также не следует забывать. В такой момент становиться в позу, глядеться в зеркало истории!

Это было бы, согласишься, самое постыдное, самое для нас непростительное! Ты слышишь меня, Гришин?

Гришин, должно быть, не слушал. Он пробормотал невнятно, как будто спросонок:

— Нас! В зону! — он скрипнул зубами — С-сволочи!

Сократ произнес успокоительно:

— Ничего, ничего... Лагерь — так лагерь! Со всеми — в куче... Мы народ не гордый.

* * *

На этом, как говорится, рукопись (дневник то есть) обрывается; если оставить без внимания множество всевозможных шпаргалок, носящих слишком умозрительный, либо слишком уже личный, интимный характер. Одна из записей стоит, однако, того, чтобы ее здесь огласить. Она не обозначена никакой датой, никаким порядковым номером, она, вообще, не вписывается в рамки дневниковых записок, представляя собой, скорее всего, литературный эксперимент, попытку автора испробовать свои возможности в поэтическом жанре. Получилось что-то весьма расплывчатое: стихи — не стихи, поэма — не поэма, некое подобие мессы, напыщенной, патетической, и в то же время меланхоличной, зауспокойной. Иеремиада двадцатого века эпохи восторжествовавшего социализма... Она озаглавлена автором: «Прощай, Цитадель!» Намек на обобщающий характер этого опуса, подведение в нем конечного итога неслесой ниже-удинской эпопеи. С твоего разрешения, Павел, предоставим этот твой эксперимент суду благосклонного читателя.

ПРОЩАЙ, ЦИТАДЕЛЬ!

Ты обманула меня, Цитадель!

В стенах твоих

Я чаял обрести быстролетные крылья.

Взмыть, вознестись в поднебесье... И что же?

Я продолжаю барахтаться, ползать, метаться,
Не находя выхода.
Есть ли он вообще, этот выход?
Из глухой непроходимой чащи, без пути, без просвета,
На просторную солнечную трассу,
В царство разума, света, человеческого счастья?
Где ты, благословенная сказочная трасса?
Существуешь ли?

Ты обманула меня, Цитадель...
В каменных твоих стенах, в теснинах твоих,
Я ждал услышать
Голос непререкаемой Истины, божественное звучание Правды:
Обрести ясность Духа, душевный мир,
Свободный от мучительных шатаний,
От иссушающих душу сомнений.
И что же?
Разброд и смятенье — за чугунными твоими решетками.
Блужданье в потемках... Мишура и тлен.
Остатки былого, утраченного величия.
Где ты — ясность умиротворенного духа?
Существует ли она, Абсолютная Истина,
Всепобеждающая сила Правды?

Я жаждал окунуться в лоно твое, Цитадель,
Лоно любви и всепрощения, понимания и сочувствия.
Ощутить прочность братских уз и общности людей.
И что же?
Под тяжелыми твоими сводами
Познал я холод отчуждения и высокомерия,
Черствый дух осуждения
И строгой, придирчивой требовательности.
Даже ты, Сократ,
Это твое озарение — не обманчиво ли?
Свет, от тебя исходящий,

Не есть ли он ответ невозвратимого прошлого?
Мертвый, безжизненный блеск угасшей Звезды?
Без всякой надежды на воскрешение,
Без путей в будущее.

Нет, ты не оправдала сокровенных моих надежд,
Цитадель! И все же...

Я с тобою, Сократ!

С'вами, со всеми, рыцари Цитадели!

Ибо в мире, раздираемом и разобщенном,

Выбор один:

С отверженными, — но не с господствующими!

С гонимыми, — но не с гонителями!

С преследуемыми — но не с преследователями!

С угнетаемыми — но не с угнетателями!

Независимо от того даже,

Кто ухитрился завладеть самой Истиной,

Присвоил себе монопольное право

Распоряжаться ею, навязывать ее...

Я с вами, невольники Цитадели!

Отвергнутыми, изгнанными, обманутыми, как и я!

С тобою, Ксения... Великомученица! Грешница!

* * *

5

«БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»

ВРЕМЯ... Оно вдруг повернуло вспять, стало раскручиваться обратным ходом.

Эра Хрущева... Громадные жилые кварталы на окраинах Москвы, толпы реабилитированных. Новые веяния, надежды...

Год 1953-й, кое-кому почудилось — поворотный год века. Крушение культа Сталина.

Страшная Сталинская эпоха. Дело врачей, космополиты, повторный тур репрессий. Война, превратности ее судеб... Берия, Ежов!

Тысяча девятьсот тридцать седьмой год... Знаменитый наш северный рейс, на край света, в Заполярье. «Аврора»! Не та «Аврора», другая! Достопамятная наша баржа, она доставила незабываемый наш этап к верховьям Усы...

В этом попятном своем беге Машина Времени все на своем пути перекрасила, преобразила. Как в перевернутом бинокле, — все вдруг отодвинулось, помельчало: фигуры героев, их чувствования, мысли...

Разговор их послушай! Не кажется ли тебе, Павел, они как-то все поблекли, утратили свой лоск! Даже эти двое, Сократ, Агап Агапыч: ты склонен был в свое время подхватывать каждое их слово, любой их намек... Ты почему-то уверовал: именно здесь, между ними где-то, за спиной у них, прячется она, искомая тобой Истина. Она заигрывала с тобой, дразнила тебя, давалась почти в руки, чтобы тут же выскользнуть, улизнуть и, высунувши тебе язык, возобновить игру. Теперь послушай, до чего же они выдохлись, оскудели.

— Итак, Сократ, кончилась петрушка эта... Так называемая «эра Хрущева».

— Вы, кажется, в восторге...

— Во всяком случае, волосы рвать не собираюсь. Скорее наоборот. Десять лет фиглярства, сыт по горло.

— Не одно же фиглярство...

— Крохи эти... Амнистии, реабилитации. Это вы имеете в виду?

— И это, не такие уже это «крохи». Однако не только это.

— Что же еще? Фальшивка эта, культ личности? Крапленые же карты, Сократ! Война с ветряными мельницами. Мне ли вас учить...

— Близорукость ваша, Агап Агапыч. Отсутствие чувства истории.

— Это кто же, Хрущев — история? Пародия... Анекдот!

— Тридцать седьмой год — не пародия? «Аврора» наша, припомните, не пародия? Вся человеческую историю можно, при желании, свести до анекдота.

...Они казались тебе тогда титанами, Павел. Ты вообще возомнил, что эта ваша баржонка, «Аврора», старая эта потрепанная галоша, что это не баржа вовсе, а купель, священный сосуд, в котором вам предназначено принять новое свое крещение, очиститься от скверны, искупить какие-то свои грехи перед Человечеством... Путь в неведомое завтра, мучительный переход в светлое Будущее. Оглянись, оно здесь, это Будущее, оно окружает тебя, теснится вокруг тебя, шушукается, рассуждает... Не насмешка ли, вслушайся! Особенно долговязый этот, Кротов; он прилип к Грантику, не отходит ни на шаг, бубнит над самым его ухом:

— Чепуху вы городите, Грант! Какая-то Потьма... Места заключения, они, к вашему сведению, были, есть и будут. Но это же, согласитесь, не Воркута, не Колыма.

— Не спорю, — Грант, по обыкновению, поддакивает, он в этом смысле нисколько за эти годы не изменился, такой же подпевала, соглашатель. — Если, конечно, подойти чисто формально...

— Никаких «если»! Это вам не ежовские лагеря! Другой совершенно принцип.

— Лагерь сам по себе — принцип, — Грантик по старой, лагерной привычке хватается пальцами за кончик своего носа, ощупывает его. — Одно слово «политзаключенный», оно само за себя говорит.

Кротов вспышивает:

— Сказано вам — нет у нас сейчас политических лагерей! Государственные преступники, правонарушители...

— Мы с вами, Кротов, — Грантик тянет, осторожничает, не договаривает до конца, — нас ведь тоже...

— Вздор! Нас не судили! «Необоснованно репрессированные»... День и ночь!

Кротов все больше приходит в раж, его бесит уклончивость Гранта, его податливость: «Законность! Правопорядок! Никаких ОСО! Только по суду! Это вам не Берия»...

У Гранта подергивается верхняя губа. Он начинает с неожиданной энергией тереть кончик носа.

— Тогда, в тридцатые годы, — он говорит нехотя, скучающим тоном, — тогда тоже ведь функционировали Суды... Еще как! Публичные процессы, обвинители, свидетели, защита... Судебные приговоры, вплоть до высшей меры...

— Что вы хотите этим сказать? — голос Кротова угрожающе дрожит.

— Так просто, к слову.

— Тень набрасываете, на ясный день.

— Никто не набрасывает. Она висит, двадцать лет уже, если не больше. Тень Вышинского... Никому не приходит в голову убрать ее, развеять.

...Все это было уже, было! Они, по сути, ломаются в открытые двери.

* * *

Первый наш этап, Павел! Москва-Товарная, Архангельск, речной порт... Белое море, Баренцево, Нарьян-Мар... Берега Печоры... Покидая Нижне-Удинский политизолятор, мог ли ты вообразить, что все это будет выглядеть именно так: немысли-

мая эта кутерьма, феерия, белые солнечные ночи, тьма-тьмушая людей, шутки-прибаутки, цыганщина...

Потом-то тебя потаскали, погоняли взад-вперед: Княж — Погост — Чибью, Чибью — Воркута, Воркута — Хальмерю... По тундре, по станкам, по перевалкам, в пургу, в лютый мороз ты вкусил от древа познания. Зимние северные ночи, лай овчарок, урки на станках, ты ничему больше не удивлялся. Топал в пудовых своих, намокших валенках, грыз сухари свои, тянулся из последних сил, постигал немудрую науку лагеря. Одна только команда: «С вещами!», одно лишь упоминание об этапе вгоняло тебя в дрожь. Все это пришло, однако, потом, потом. Пока же все оставалось еще впереди: Воркута, ее палатки, ее нарядчики... Новоиспеченные зэкашки, мы еще только-только вылуплялись, вылезали на свет Божий. После Бутырок, после Лефортово, в измятых своих пиджачках и сорочках, в домашних своих шлепанцах, очкастые, горластые — какой же это этап? Шантрапа, сброд, цыганский табор, называй, как хочешь, только не лагерники! Само название: зэк... Никто еще настоящему не раскусил, что кроется за этим словечком, какой сокровенный смысл. Что вообще может означать весь этот маскарад: эшелон коммунистов, угоняемых на север, в заключение? Не так уже все это просто, как кажется, для чего-то оно, видимо, понадобилось. Международная обстановка, Гитлер, Испания... и наш этот несчастный этап! Все это как-то взаимосвязано, сплетено, в один тугой узел. Хотя, с другой стороны, не проще ли было бы всю эту ораву нашу, этап, так называемый, повернуть против Франко, против фашистов! Дрались бы, как тигры, не приходится сомневаться. В чем же тогда дело? А дело, видимо, в том, что политика — это вам не арифметика, не дважды два четыре! Политика — это высшая математика! И то, что нам, грешным, представляется аксиомой, оборачивается — с политической точки зрения — в клубок противоречий, в которых сам черт ногу сломит. Отсюда вывод: набрайся духу, жди... Подумаешь, зэк! Ну и пусть! Не один ты такой — тысячи тебе подобных, тысячи тысяч. И не удивляйся

ничему: сегодня — член партии, член ЦК, может быть, завтра — враг народа! И наоборот: сегодня «зэк», «шпион», завтра — командир интербригады, под Мадридом где-нибудь, под Берлином. Генерал Френкель к примеру... Кто был этот Френкель каких-нибудь шесть-семь лет назад? Лагерник, презренный экашка, на Беломорканале! Никто представления о нем не имел. Френкель сегодня — кто-нибудь поверит? Гроза лагерей, Замначгулага, докладывает лично Сталину! Не надо, следовательно, принимать все это слишком уж всерьез: три года, пять лет, десять... Какая разница? Главное — тюрьма уже позади! Давайте, товарищи, партизанскую!

Этих дней не смолкнет слава,

Не померкнет никогда...

Партизанские отряды

Занимали го-ро-да-а-а.

Уже приближаясь к Архангельску, ты услышал, Павел, этот их разговор в вагоне. Это было, по сути, продолжение того ночного диалога, ты подслушал его в первую еще ночь, после Нижне-Удинского политизолятора. Его и диалогом нельзя было назвать: говорил больше Сократ, внушал Гришину, наставлял; распростертый под вагонной лавкой Гришин отмалчивался, стонал, он будто не слушал. Сейчас они поменялись ролями: Гришин наступал, Сократ, как мог, отбивался.

— Как вы можете мириться, терпеть эту мерзость! — Гришин с трудом сдерживал себя. — Какие они политики, политзаключенные! Дерьмо, болото!

— Не называйте их политзаключенными. Просто заключенные, ээки... Устраивает вас?

— Люмпены, чернь! — Гришин сморщился, сплюнул. — На уме у них одно: подачки, милости...

— Дайте людям опомниться, прийти в себя.

Гришин перебил с раздражением:

— Послушайте их разговорчики: «партия»... «революция»... «генерал Френкель»... Они готовы на четвереньках ползать, искупать вину.

— Терпение, Гришин, терпение... Впереди Воркута, не надо забывать.

— Рабы — они рабами и останутся. Представляю, что у них получится там, в лагере...

— Не торопитесь с прогнозами, Гришин. Этап — это еще не лагерь. Только начало начал.

— Они достаточно себя показали. Сцена с проститутками, вы имели возможность убедиться.

* * *

Какое-то на всех напало беспричинное веселье, и началось оно как раз с проституток этих, со станции Москва-Товарная, в лагерь еще начале пути. Нас выгрузили в тупике где-то, среди подъездных путей. Обшарпанные, грязные, с чемоданчиками своими, рюкзаками, узлами (грузины волокли на себе даже перины), мы валялись в грязи, среди угольной пыли и мусора, в ожидании товарного состава. Визави, лицом к лицу, расположились попутчицы наши; полторы сотни московских проституток, также этап, следовавший по направлению на Вологду. Соседство с нами вызвало у них бурю восторга; на нас посыпалось:

— Эй вы, мужички! Жениться будем?

— Осторожно, девы! Пятьдесят восьмая...

— Ну и что? Спробуем пятьдесят восьмую!

— Импотенты... Не наживешься на них!

— Контра самая! Шкуру с них драть!

— Зачем шкуру? Штаны...

Они все больше нагтели, распялялись, поливали нас как из рога изобилия, побивая всякие рекорды. Им показалось, однако, мало, они подвинулись к нам вплотную, стали строить нам рожи, гримасничать, языки показывать. Они пустили в ход руки, ноги, пинали нас, щипались, поворачивались задом, плевались. Они просто с ума посходили, эти девки; мужчины обалдели, не знали, куда деваться. Кто-то буркнул негромко: «Безобразие, куда охрана смотрит?» Возглас этот не остался незамеченным, бабы окончательно озверели. Козлами отпущения на

этот раз стали почему-то грузины. Незаметно подкравшись, проститутки ухватились за перины, разбросали их вдоль путей и принялись на них кувыркаться, отплясывать, юбки задирают. Кому-то из них пришлось в голову устроить своего рода фейерверк: перины были вспороты и над этапом взвилось облако белоснежного пуха. Чаша терпения кавказцев оказалась переполненной. Взявшись за руки, грузины двинулись против проституток, стали наседать на них, теснить их, жать, пытаясь незаметно взять в кольцо. Женщины ответили яростной контратакой; все завертелось, перепуталось, сплелось в клубок, в котором трудно уже было что-либо различить: мужчины, женщины, тонущие в пуху конвоиры...

Этап обезумел, через него как будто пропустили электрический ток. Люди покатывались со смеху, надрывались, валились с ног, стонали, выли. Какой-то вдруг взрыв бессмысленного ликования, никакими силами невозможно было его остановить, прервать. Объятый ужасом, ты сидел неподвижно, не смея поднять глаза. Рядом красовалась Москва, она напоминала о себе силуэтами гигантских корпусов, устремленными в небо стрелами башенных кранов, приглушенным рокотом столбчатых проспектов...

— Ну-с, — раздался неподалеку голос Агап Агапыча, — очень мило, вы не находите?

Не дождавшись ответа, он прибавил:

— Никто не скажет: арестанты, на каторгу везут... Где там! Здоровый советский юмор!..

— Было бы смешно, когда бы не было так грустно.

— Какая там грусть, помилюйте! Энтузиазм... Никто не собирается вешаться, топиться.

Он взглянул с издевкой на Сократа, сказал:

— Вам все еще мерещатся трагедии, драмы... Забудьте! История, как сказано, не повторяется дважды. Начинается — с трагедии, завершается — фарсом. Он перед глазами у вас, этот фарс, любуйтесь.

Сократ возразил:

— Бывает фарс — страшной любой трагедии.

Помолчав, он пробормотал:

— Пусть повеселятся, потешатся. Не так уж долго осталось им развлекаться.

...Потом проституток не стало, их отцепили где-то под Волгодой. Зато в Архангельске, в речном порту, нас ожидал новый сюрприз: пулеметы. Они стали источником нового подъема. Впрочем, второй этот взрыв оказался весьма непрочным, мимолетным. Именно там, в Архангельском речном порту, этапу довелось впервые столкнуться с превратностями судьбы, испытать первые свои сомнения и мучительные тревоги.

* * *

Их не сразу и заметили: полдюжины орудий, в брезентовых чехлах, с приподнятыми к небу дулами; они припрятаны были на «головном» буксире, где-то за капитанской рубкой, на них не сразу обратили внимание. Внимание этапа целиком поглощено было центральным звеном «флотилии» — самоходной этой баржой, вошедшей в историю нашего плавания под вызывающей кличкой «Аврора». На ней-то и размещен был этап во всем своем блеске: четыреста эзков, со скарбом своим, так называемым, вещимуществом, начальниками своими, конвоирами, собаками. Один лишь пулеметный взвод с боевой техникой следовал обособленно, на борту буксира.

«Аврора» представляла собою воистину чудо современного судостроения. По капризу высокого начальства, самоходная эта баржонка переоборудована была в плавучую транзитную тюрьму, для каковой цели над палубой воздвигнут был массивный дощатый навес с двойными и тройными нарами, каютами для размещения охраны, медпунктом и прочими службами, а также круговым решетчатым ограждением, установленным вдоль бортов и выполнявшим назначение своего рода запретной зоны. Главной же достопримечательностью баржи мог по праву считаться подводный ее отсек, помещение трюма. В недавнем прошлом — плавучий загон для перевозки скота, роскошное это помещение было теперь тщательно продезинфи-

цировано, покрашено, оборудовано, как и верхняя палуба, нарами и наглухо закрыто, что способствовало возникновению вокруг него атмосферы таинственности и беспокойства. Чья-то неведомая рука вывела мелом на входных воротах трюма зловещую надпись: «Преисподняя». Та же, по-видимому, рука ухитрилась непостижимым каким-то способом добраться до наружной обшивки самоходки и начертать на ней печатными литерами: «Аврора 1937 год». Надпись эта сопровождала этап на всем пути следования в качестве некоего символа и напоминания. Мощными стальными тросами корпус «Авроры» соединен был с двумя морскими буксирами, каковым выпала честь доставки баржи к верховьям Усы, в северные предгорья Урала. На одном из буксиров, «головном», красовалась кличка «Кроткий»; на другом, следовавшем позади самоходки, не менее выразительное имя «Мирный». Именно на «Кротком» установлена была батарея пулеметов, приковавших, в конце концов, всеобщее внимание этапа и ставших на какое-то время главной злобой дня.

Никто не хотел верить глазам своим: пулеметы! Против кого — пулеметы? Против нас, что ли? Они, что же, всерьез? По всем правилам военного искусства? Не знают, с кем имеют дело? Не враги же, в самом-то деле... Не диверсанты, не фашисты же! Советские люди, все отлично это понимают... По заданию партии — в огонь и воду! Воркуту строить надо — будет вам Воркута! Уголь нужен — будет! Следователям помогать было надо — помогали... Коммунисты же, черт возьми! При чем тут пулеметы? Кто выдумал — пулеметы!?

Этап бурлил и клокотал, охваченный беспокойством, подозрениями и мрачными предчувствиями. Наконец, нашелся кто-то, расшифровал все по-своему. «Идиоты, нашли тему... Неужели трудно догадаться, против кого пулеметы? Вы что, совсем уже голову потеряли? Рехнулись, политическое чутье утратили? Партийцы называетесь, просто срам! Учиться надо читать между строк. Например — КРТД, как понимать КРТД? КРТД КРТД — рознь! «КРТД» в кавычках, липовые, для сче-

та. И КРТД без кавычек, троцкисты, настоящие, ортодоксы так называемые, из политизоляторов, из тюрем, из ссылок. Другая совершенно порода, все прекрасно понимают. Они здесь же, с нами вместе, в нашем же этапе, одна вроде семья. Одна — да не одна! Какой-то у них даже заправила свой ешь, грек — не грек, по имени Сократ. Своя, в общем, организация. И там, на Воркуте, дружки у них, ждут не дождутся, чуть ли не сын Троцкого самого. Теперь понятно, почему пулеметы? И трюм этот, преисподняя так называемая, тоже не секрет... Правда, окончательно еще не решено. Архангельская пересылка из кожи лезет вон, настаивает: трюм занять под рецидив! У них там, на пересылке, шайка подобралась, бандит на бандите, рвут на части пересылку, разносят. Начальство Архангельское не знает, как избавиться, мечтает сплавить их, нам в попутчики. Подумать страшно! Начальник конвоя принимать отказывается наотрез: у меня, дескать, свой рецидив, почище вашего, — троцкисты!.. Чья возьмет — неизвестно, решать будет Москва. Ясно, товарищи, для кого пулеметы?»

Какой-то ушлый оказался тип, газетчик, все знает наперед, все рассчитал, все секреты выведал, собачий нюх у него... Этап воскрес, вздохнул с облегчением. Пулеметы эти, с холодными своими жерлами, брезентовой одежкой, с боевыми своими расчетами, вдруг показались безделушкой, детской забавой. На них стали пальцами показывать, подтрунивать над ними, нежничать. Нашлись весельчаки — они позволяли себе заходить слишком уж далеко. Вытянувшись в струнку, они командовали ко всеобщему восторгу:

- По врагам народа — огонь!
- По изменникам родины — огонь!
- По шпионам, по диверсантам...
- Ха-ха-ха, пулеметы! Хо-хо-хо...

Вакханалия эта продолжалась бесконечно долго. Они стали предметом массового развлечения, эти максимки. Вполне вероятно, это-то и подстегнуло Гришина, побудило его разбросать свои бумажонки. Во всяком случае, гришинское это воззвание

явилось прямым вызовом этапу и попадало не в бровь, а в самый глаз. Оно распространилось с быстротой молнии, мгновенно оборвав свистопляску вокруг пулеметов и ввергнув этап в состояние глубокой депрессии. Какие уж там шутки-прибаутки!

* * *

«Товарищи по несчастью, — гласило воззвание, — Коллеги! Не пора ли, наконец, опомниться, вникнуть в смысл событий! Поймите в конце концов: вы не коммунисты больше, не революционеры, вы вообще больше не люди. Вы буквы, з/к з/к, безымянные, безликие, бесправные эски. Вас будут перетаскивать с места на место, перегонять, как скотину, в товарных теплушках, в трюмах, в клетках... Будут глумиться над вами, угрожать вам: зуботычинами, автоматами, пулеметными очередями. Не верьте никому — они на вас нацелены, пулеметы эти, на нас с вами! Одна и та же участь отныне связывает нас, одно и то же позорное клеймо на всех нас: «Отщепенцы!», «Враги народа!». Помните: смертоносные эти орудия — не шутки ради! Режим не собирается с вами шутить, он готовит всем нам кровавую расправу. Террор, наемные убийцы, уголовный элемент — все будет пущено в ход. В данный момент они навязывают нам в попутчики банду отпетых головорезов, рецидивистов, злодеев, для пушего нашего устрашения и унижения.

Протестуйте же, товарищи, вместе с нами — против системы запугивания, издевательства и террора!

Откажитесь следовать под дулами орудий!

С негодованием отвергайте навязываемое нам общество уголовных преступников!

Долой пулеметы!

Политическим заключенным — достойный режим!

Группа большевиков-ленинцев».

У тебя, Павел, мозги полезли набекрень. Гришинский этот призыв неожиданным образом взвинтил тебя; как очумелый

носился ты по палубе, доказывал, уламывал, стыдил, ратовал за воззвание. К счастью, ты вовремя спохватился.

С этапом творилось что-то невообразимое. Этапа, строго говоря, не существовало больше, он на глазах у тебя разваливался, рассыпался в прах. Они как-то вдруг изнемогли, куда девалась давешняя их ребячливость, веселье... Ужас овладел их воображением, парализовал волю, сковал сознание. «Троцкисты! Здесь они, в двух шагах! Восстали из гроба, ожили, протягивают костлявые свои руки... Безумные их голоса, призывы! «Большевики-ленинцы»... Какие сейчас «большевики-ленинцы?» Они с луны свалились! Сталин! Он согнет их в бараний рог, сотрет с лица земли! И нас заодно! Они на знают, с кем дело имеют, лезут в пылающий огонь, головы подставляют. И нас тянут за собой, на погибель, на смерть! Прочь, прочь! Отмежеваться от них немедленно, всенародно! От имени этапа, от имени всех КРТД, дать клятвенное заверение: никаких «большевиков-ленинцев»! Знать не хотим! Долой! Уголовников дайте нам, уркачей, бандитов, кого угодно, мы согласны! Только не троцкистов!

Руки опустились у тебя, Павел, язык отнялся. Какие могут быть с ними уговоры, увещеванья? Доказывать — что? Они в беспамятстве, пораженные тяжким недугом. Пока мы там отсиживались в своей Цитадели, мудрствовали, переливали из пустого в порожнее, страшный какой-то недуг распространился по стране, отравил сердца людей, поразил мозги... Быть может, это и есть растление душ, прострация? Существуют ли эффективные средства против прострации? Назовите.

Ты в панике бросился разыскивать Сократа. Ты сам не мог бы толком объяснить, зачем понадобился тебе Сократ. И что ты, вообще, намерен предпринять.

...По всему было видно: решение у них согласовано, роли распределены; ты опоздал уже, явился к шапочному разбору. Какая-то состоялась между ними тайная сделка: переговоры какие-то с конвоем — их взял на себя Сократ; на долю Гришина выпала «подготовка людей». Разговор у них, видимо,

подходил уже к концу, хотя Гришин продолжал еще бушевать, наседать на Сократа. Это он, Сократ, сорвал все дело. Он с самого начала занял по отношению к этапу соглашательскую, гнилую позицию. «Постараться понять», «щадить людей»... «Находить общий язык»... Какой может быть общий язык с политическими мертвецами, кастратами? Впрочем, не мертвецы, хуже! Они все еще мнят о себе, кичатся. Мечтают выслужиться, партийность свою доказать, дайте им только волю! Воззвание это, как они реагировали на воззвание, Сократ обратил внимание? Оказывается, не Сталин виновник, нет! Троцкисты — главные виновники, все зло от них... Крохоборы, мелкие душонки, они готовы глотки нам перегрызть, четвертовать, только бы отделаться от нас побыстрее. Плюнуть в лицо им, уйти! Отгородиться китайской стеной! Сегодня же, сию же минуту!

Больше всего тебя поразил Сократ. Он ни в чем Гришину не перечил, со всем соглашался, можно было подумать: действительно он во всем повинен, Сократ, он за всех в ответе, за весь этот безалаберный, громадный этап, за все их проделки, нелепости, за их безумствование. На чем-то Гришину удалось его поймать, заставить его уступить, смириться. Что могут означать разговоры эти: «отгородиться», «китайской стеною»... От кого отгораживаться? Разве не Сократ провозгласил священную эту заповедь: «Не возноситься! Не противопоставлять себя! Быть со всеми вместе, в одной куче»... Он декларировал программу эту еще тогда, в последние дни Цитадели. Что могло заставить его вдруг переметнуться, сменить вехи?

Дождавшись, когда Сократ остался один, ты бросился его тормошить, допытываться у него: что там у них с Гришиным задумано? Переговоры какие-то с конвоем. «подготовка людей»... Что все это означает? Не собираются же они сниматься с якоря, покинуть «Аврору»... Гришин непрестанно долбил: «Плюнуть, уйти». Куда, собственно, уходить? От кого?

Сократ отделялся пустяками и на все твои пристаивания отвечал односложными «да», «нет», «поживем-увидим», «не пу-

тайтесь вы», «не лезьте»... Он был чем-то очень озабочен и отмахивался от тебя, как от назойливой мухи.

Ты ушел от него не солоно хлебавши.

* * *

Не так уж долго пришлось тебе, Павел, томиться, ломать себе голову. Все свершилось этой же ночью. Слух о предстоящем вторжении разнесся внезапно, уже после отбоя, когда «Аврора», ничего еще не подозревая, медленно угасала, погружаясь в ночную дремоту.

Сама природа, казалось, ополчилась против нас этой ночью, она как бы предостерегала нас: осторожно, зэки, будьте начеку! Тусклая осенняя ночь вдруг почернела, насупилась. Над гаванью, где отставалась наша «эскадрилья» в ожидании отправки, взметнулся ураган, вихрем промчался вдоль берега и, наворотив горы песка и прибрежного мусора, окунулся в воду. Двина вздулась, нахохлилась и давай трясти «Аврору», раскачивать ее, угрожая в любую минуту сорвать с цепей, угнать вниз, в пучину бушующего океана. По палубе, сама не своя, носилась охрана; она глаз не спускала с тонущего в сумраке берега, как бы ожидая оттуда предательского удара незримого врага. Никто еще ни о чем не догадывался.

Известие прорвалось неизвестно откуда, прокатилось по этапу шаровой молнией. Уголовники! Из Архангельской пересылки! Они вот-вот появятся, запрудят «Аврору». Конвой не зря бегаёт высунувши языки; они до смерти боятся этого нашествия, еще бы! Банда рецидивистов! Трюм уже подготовлен к приему гостей, кто хочет, может убедиться.

По правде говоря, никакой тут не было неожиданности: угроза эта нависала с первого же дня, все знали, ортодоксы трубили об этом день и ночь, предупреждали, никто слушать не хотел. Сейчас опасность надвинулась вплотную, всем стало мерещиться: идут! поднимаются по трапам! вот-вот появятся, ворвутся. Распахнутые груди, расписанные голые тела. Их двести, нас четыреста, — все равно сомнут нас, перевернут «Аврору» вверх дном! У них финки, железки, бритвы, перережут нас,

как дыпят! Что им конвой, никакому конвою с ними не справиться! Звери, за плечами у каждого десятки судимостей, смертей... Варвары, гунны!

Кто-то пустил слух: они где-то здесь, уже, на дебаркадере. Бесчинствуют, отказываются идти в трюм. Требуют: пятьдесят восьмую в трюм, им — самое там место... «Гноить их, гадов, топить, жечь»... Пока что банду эту всякими правдами и неправдами удерживают на дебаркадере, выигрывают время, ждут воинского подкрепления.

«Опомнитесь, товарищи, успокойтесь! Вранье все! На дебаркадере пусто, ни живой души!» Куда там, этап невозможно было унять, воображение у всех разыгралось, паника росла с минуты на минуту. «Где, кстати, ортодоксы?» Кто-то вдруг обнаружил: пропали ортодоксы! Сократ этот, напарник его, вся троцкистская команда — сквозь землю провалилась... Обстоятельство это окончательно свело всех с ума. «Куда девались ортодоксы!!»

Долгая беспросветная ночь, наполненная призраками и ужасами, редкими проблесками надежды вперемежку с гнетущим ожиданием неминуемой гибели. Левушка Грабовский, общепризнанный бард «Авроры» и ее летописец, попытался воспеть события этой памятной ночи, увековечить их для грядущих поколений. Он вообще по любому поводу «исповедовался» перед Светланой, незабвенной своей подругой и законной женой. Печальные северные пейзажи, путевые впечатления, встречи, происшествия всякие, крупницы собственного глубокомыслия — все облекалось им в форму сонетов, элегий, даже песен, адресуемых «Светику». До адресата литературное это богатство, естественно, не доходило, что, впрочем, не очень Левушку и заботило. Он строчил и строчил, читал свои элегии первому попавшемуся под руку: соседям на нарах, «крестикам» во время их ночных бдений, он готов был читать их стрелкам из охраны, только бы его слушали. Он распевал их в минуты невеселого своего отдыха, бормотал в часы скудных своих чаепитий, накапливал до поры до времени, чтобы в конце концов, пе-

ред очередным «шмоном», подвергать безжалостному уничтожению. Хроника этой ночи, однако, чудом каким-то уцелела. Левушка почему-то особо дорожил этим своим письмом, он, возможно, рассчитывал превратить его со временем в подлинный литературный памятник эпохи. Увы, судьба распорядилась по-другому, обрывки этого письма сохранились в качестве почти единственного образца эпистолярного наследия поэта.

«Светик, любовь моя, — писал Левушка, — мои бестолковые письма едва ли могут порадовать тебя, успокоить твою душу. Помимо всего прочего, они еще и озадачивают тебя, задавая все новые и новые загадки. Бедная твоя головушка, для тебя недоступна стала моя речь, она пугает тебя, оскорбляет твой слух: «зэки», «урки», «ханá»... Тебя коробит, ты рыщешь по словарям, выискиваешь. Успокойся же, дорогая, прими как должное весь этот неведомый, пугающий тебя мир. Помни: отныне он — неотъемлемая часть нашей горькой неумолимой судьбы».

«В частности, о так называемых «ортодоксах». Ты напрасно ломаешь себе голову, роешься в философских справочниках, углубляешься. Позволь уж мне просветить тебя, отрекомендовать тебе эту вымирающую, редкую человеческую породу. Те же троцкисты, ни больше, ни меньше, их почему-то высокопарно именуют «ортодоксами», в знак их особой непоколебимости. Из троцкистов — троцкисты! Самые заядлые, они никого решительно не признают, претендуют на монополию в марксизме, называют себя большевиками-ленинцами. Современные, в общем, якобинцы, рыцари без страха и упрека. Все в ужасе бегут от них, боятся пальцем дотронуться, навлечь на себя беду. Во мне же — тебе одной признаюсь — они вызывают чувство безмерного сострадания, и даже жалости. Впрочем, этой ночью они превзошли сами себя. Они-то, как ты, вероятно, догадываешься, и оказались главными героями ночного нашего Чепе»...

* * *

Слух о загадочном исчезновении ортодоксов окончательно сбил с толку людей на палубе, подорвал последние силы. Кто-то высказал догадку: ортодоксы засели в медпункте, они забаррикадировались там в ожидании нашествия. О да, эти себя дешево не продадут, сражаться будут, стоять насмерть. Неплохо, между прочим, придумано: медпункт! Под рукой у них там всякая всячина, скальпели, пинцеты, ножницы, при случае можно пустить в ход. Не исключено, кроме того, что у них припасено кое-что посерьезнее. Так или иначе — тянуть дольше невозможно, придется выбирать. На палубе вспыхнула жесткая дискуссия, образовалось три лагеря. Одни — за безоговорочное присоединение к ортодоксам, создание общего с ними фронта. Другие настаивали — создать собственную свою, отдельную от ортодоксов, боевую дружину. Третьи из кожи лезли вон, доказывая: любое организованное сопротивление равносильно гибели, оно будет расценено как вооруженное восстание. Они уверяли: кто-то заведомо провоцирует резню, толкает в пропасть; надо всеми силами сопротивляться, не поддаваться на провокацию, тянуть, елико возможно, дожидаться утра — утро вечера мудренее.

Ночь между тем незаметно таяла, расплзлась по швам. Ветер стихал, Двина утихомирилась и неслышно плескалась у берега, до рассвета оставался суший пустык. А берег все еще безмолствовал, никто пока еще не собирался штурмовать «Аврору», не бросался на абордаж. Луч надежды скользнул по палубе, озарил имученные лица людей: скорее бы утро! При свете дня не так жутко... Не так уж просто окажется — открыто, у всех на виду, устраивать резню! Начальство не решится, у них ведь тоже семь пятниц на неделе... Кто-нибудь вмешается, отменит посадку. Только бы дотянуть... Все с замиранием сердца ожидали утренней зари.

Перед самым рассветом началось подозрительное какое-то движение, неясный гул, напоминающий шум прибоя. Все всполошились, вскочили на ноги; сон как рукой сняло. Движение ненадолго прекратилось, шум затих и только с берега доно-

силась плеск речной волны, и кто-то на нарах метался, стонал, не в силах очнуться. Через минуту гул возобновился, стал явственней и ближе: осторожный топот десятков ног приближался в направлении трюма, надвигаясь, однако, совсем не с той стороны, откуда можно было бы ожидать. Угроза была где-то рядом, она наполнила откуда-то изнутри, отнюдь не со стороны берега. Берег, напротив, окончательно заглох и как бы притаился в ожидании развязки.

Кто-то не выдержал, выскочил навстречу и, как вкопанный, остановился; стало вдруг отчетливо видно всех до одного. Они двигались цепочкой, друг за другом, не такое уж великое множество, человек около сорока, не более того. Шли бесшумно, не спеша, навьюченные, как слоны, — за вещами не видно было человеческих лиц. Если бы не книги, никто так бы и не догадался, что за люди — у каждого на горбу висел ворох книг, они-то и выдали переселенцев. Тайна этой ночи раскрылась самым неожиданным образом, прорвалась с треском наружу. Буйный, с трудом сдерживаемый восторг прокатился по палубе: ортодоксы! Восьмое чудо, вместо уголовников — троцкисты! Кто-то переиграл в последнюю минуту! А может быть, никто и не переигрывал; возможно — так оно и задумано было, с самого начала? Какой-то нашелся шутник, все переврал, перемешал карты...

Никто еще не верил глазам своим: неужели правда, грозу пронесло мимо? И нет никакой нужды докапываться, гадать на кофейной гуще, кто да что, да по чьей вине, и спасенье откуда?

Какие-то смутные подозрения продолжали, однако, тревожить сердца, сковывать замутненное сознание: как удалось конвою с такой легкостью справиться с Гришиным, укротить его, заставить смутьянов покорно следовать в эту душегубку? Не взорвется ли пороховая эта бочка в самый решающий момент, перед водворением в трюм? Для чего-то они ночью перепрыгивались, точили ножи... от них всего можно ждать. Несколько сот глаз следили, не отрываясь, за передвижением ортодоксов и с трепетом ждали, чем все кончится.

В своем послании Светлане Левушка Грабовский не пожалел красок, расписывая этот марш ортодоксов в виде траурной процессии смертников, идущих к эшафоту.

«Не нахожу слов для выражения, — писал он, давая волю разнузданной своей фантазии, — они плелись молча, свесив головы, с трудом передвигая ноги... Конвоиры следовали на почтительном расстоянии, почему-то без оружия; они, надо думать, опасались преждевременного взрыва. Какие, однако, взрывы? Герои наши присмирели, как овечки, они стали тише воды, ниже травы. Один только передний, Гришин — его видно было как на ладони — шел напролом, закинув голову, настоящий матерый лось, вожак! И позади, замыкая шествие, другой, Сократ; он поминутно останавливался, озирался, впечатление было такое — вот-вот сорвется, сбежит. Ворота трюма распахнулись перед ними, разверзлись, как двери ада. На нас дохнуло испариной и чем-то удушливым, едким, напоминающим глеющую свалку, действительно — преисподняя. У всех дыхание остановилось: войдут или не войдут? Произошла минутная заминка. Вползли... Медлительно, обреченно, наподобие убойного скота. Этап безмолвно глядел им вослед, не смея шелохнуться. У многих ручьем струились слезы»...

«Светик, дорогой мой! В этот час всеобщего смятенья твой кумир оказался не на высоте. Он слез не проливал, не рвал на себе одежды... Другие совсем страсти одолевали меня, жажда бойни, катастрофы. Я молил Бога о гибели, для себя, для них, для всей вселенной. Да свершится чему свершиться суждено! Банда нелюдей, убийц — пускай хлынет, обрушится на «Аврору», зальет ее потоками крови, пусть! Захлебнуться, погибнуть в неравном бою, только бы не видеть позора этого — изогнутых спин ортодоксов, вползающих в трюм... Меня трясло, я жаждал кровопролития, столкновения миров, всемирного потопа... Он смоем все без остатка, сотрет с лица земли; на опустошенной, расчищенной планете взойдут, быть может, новые всходы, более достойные... Прости меня, моя ненаглядная!»

* * *

Ах, Левушка, Левушка, безгрешная твоя душа! Как часто оно подводило тебя, твое воображение, сбивало тебя с толку, вгоняло в краску. И на этот раз, до чего же ты все, бедняга, перепутал, безбожно, прости переврал.

«Ручьи слез»... Какие же, сам посуди, могли быть слезы? У всех у нас, к сведению твоему, давным-давно все пересохло, глаза наши, наши сердца — из нас капли не выжмешь. Если у кого в ту минуту и блеснуло что в глазах, можешь не сомневаться: это была искра радости, ничего другого! Еще бы, избавиться от такой напасти, от штрафников, от поножовщины! Можно сказать — второе рождение!

Не без того, конечно, кое у кого дрогнуло сердчишко. Не такое уж это было развеселое зрелище, водворение людей в темницу, что говорить! Однако, ты это все порядочно, Левушка, раздул. Какая там подавленность, обреченность, шествие на казнь?! Господь с тобой! Наоборот, все было как раз наоборот: упрямство, бравада, у всех до одного, Гришин в этом смысле не составлял исключения! Шли с поднятой головой, непреклонно, как подобает политическим борцам, демонстрантам. Как мог ты, Левушка, так опростоволоситься, у тебя просто ум за разум зашел. Ты и Сократа с Агап Агапычем перепутал, обознался, что ли? Никакой Сократ не замыкал шествия, его в помине не было на этой церемонии. Его, как впоследствии выяснилось, задержал у себя начальник конвоя в качестве заложника, ответственного за исход «операции».

В своем «отчете» Светлане ты, кстати сказать, допустил непростительный пробел, касающийся непосредственно тебя, собственного твоего поведения в те критические часы. Ты ни словом не обмолвился о том, как бросался ты в гушу ортодоксов, пытался их завернуть, цеплялся за ворота трюма, с ума сходил. Как подхватил тебя конвой и на руках вынес из «Преисподней» — обо всем этом ты счел почему-то уместным умолчать, утаить от Светланы, и это с твоей стороны, согласись, совсем уже нехорошо, неблагоприятно.

Ничего ты, в общем, в ночной этой истории, Левушка, не по-

нял, все исказил, перепутал. Один ты, между прочим! Другие как-то смекнули: не так все обстоит с ортодоксами просто, как это может показаться, уравнение со многими неизвестными. Предстоит еще ломать и ломать голову, докапываться, что за всем этим кроется и чем, в конце концов, обернется для этапа.

Уже к полудню, когда новоселы, включая Гришина и Сократа, с котелками своими, чайниками, жестянками всевозможных образцов и размеров, высыпали из убежища своего на палубу и, как ни в чем не бывало, пристроились к общей очереди за кипятком — в этапе было уже достоверно известно: ортодоксы прочно засели в трюме, каким-то образом договорившись на этот счет с начальником конвоя. Никаких больше подробностей: кто инициатор, каковы мотивы переселения, почему такая секретность — все было покрыто мраком неизвестности. Было ясно одно: никто этой ночью никого никуда не загонял, сплошное недоразумение. Сами себя люди обрекли, по доброй своей воле. В могилу себя загнали, устроили себе тюрьму в тюрьме сами, по собственной прихоти, без всякого понуждения извне. Чего ради, спрашивается? С какой целью? Почему конвой дал согласие? В этом как раз и заключалась загадка.

Впрочем, согласие конвоя особых кривотолков не вызывало. Трюм есть трюм, как его ни именууй. Своего рода изолятор, для конвоя — находка. И вот, находятся охотники, сама мышка рвется в мышеловку, чего больше? Однако мышонок этот, — его что могло завлечь? Какой-то резон во всем этом должен быть? Не такие уже они безрассудные, ортодоксы эти, чтобы лезть на рожон совсем уж попусту, безо всякого смысла: что-то должно же быть у них на уме!

Все сошлись на одном: подполье! Публика эта помешана на подполье! Сборища фракционные, листовки, платформы, жить без этого не могут; само собою разумеется, для таких делишек лучше места не придумаешь: трюм! Они и потянулись туда, дурачками прикинулись. Безмозглый конвой: пустили козла в огород! Впрочем — конвою что? Приняли-сдали, по счету.

Расплачиваться будет не конвой, этап будет платиться, собак будут вешать в первую очередь на нас...

* * *

Призраки ушедшей ночи улетучились, как дым, рассеялись, как дурной сон. Остался, однако, привкус горечи, будто кто-то этой ночью публично надругался над этапом, высмеял его и оставил в круглых дураках. Осталась эта «Преисподняя», с ее ненадежными жильцами, она стала всем поперек горла и томила душу. Оставался еще и Левушка Грабовский, с неуемными своими страстями, порывами и песнопеньями, они также вызывали беспокойство и раздражение. На него-то и повалились все шишки, насмешки посыпались, издевки.

— Ну-с, Александр Сергеич... Пописываем?

— Что-нибудь новенькое наклеивается?

— Новелла какая-нибудь...

— Трагедия, а-ля Шекспир!

— «Гайна Преисподней»...

— Что-нибудь душераздирающее!

Ему опомниться не давали, ловили его, вышучивали, допытывались: хотелось бы послушать, как он, Левушка, расценивает ночной этот спектакль? Маневры ортодоксов? Оккупацию трюма? Великое переселение народов? Он собирался, кажется, примкнуть? За чем же дело стало?..

Ты не выдержал, Павел, обрушился на них с небывалым азартом. Это было, надо признаться, не самое блестящее из ораторских упражнений, украсивших твою биографию.

«Вы считаете себя коммунистами, — начал ты, сразу же впадая в наставительный, резонерский тон. — Эта ночь была для вас выпускным экзаменом, испытанием коммунизма вашего, вашего воинского духа... Казалось бы, чего проще? Не вы ли, еще недавно, показали образцы доблести, геройства? Сражались, других в бой водили, побеждали? И что же? Вы пасуете перед бандой хулиганья, бросаете в панике поле боя, раньше времени... Какие из вас бойцы, коммунисты, вы хоть подумали?»

Это, однако, не самое еще главное. Экзамен на честь, на человеческое достоинство... Коммунист в заточении — что может быть трагичнее? Не у Гитлера, в застенках гестапо, это что! У своих же, у Ежова, у собственной партии, под железным замком, Бутырки, Лефортово... Где, если не здесь, блистать величию духа коммуниста, чувству гордости, внутренней свободы? Взгляните на себя со стороны: где она, ваша гордость, достоинство и честь коммуниста? Вы притворяетесь, лукавите, балансируете на кончике ножа. Делаете вид, будто ничего такого в жизни не произошло, все идет своим чередом, пролетарская революция, партия, социализм... «Аврора» эта, этап на Воркуту — не в счет. Единственное, что может еще привести вас в содрогание: ортодоксы, собратья ваши... Уголовники, и те для вас милее! Что ж удивительного в этом ночном бегстве? Да, да, бегство! От вас бежали они этой ночью, от скудоумия вашего, ханжества и раболепия! В трюм, во мрак, на дно морское, куда угодно, только бы от вас подальше, неужели непонятно? Вызов свему этапу, брошенная в лицо перчатка, весь секрет в этом! И не надо себя обольщать, выдумывать небывлицы: подпольщики, заговорщики, страсти-мордасти... От вас все исходит»...

Ты не договорил, взгляд твой скользнул по лицу Левушки. Оно вдруг вытянулось у него, перекопилось, глаза остановились на тебе с выражением немого укора. Ты оборвал на полуслове, внезапное ощущение неуверенности сковало тебя. Не слишком ли ты разошелся? Взгляни на них: стоят, как пришибленные, носы повесили... И Левушка Грабовский, он готов все принять на свой счет!

Бедный Левушка, он расстроился пуще всех. Своим выпадом, Павел, ты что-то в нем сокрушил, разбил какие-то его воздушные замки, подорвал в нем, возможно, веру в задуманную им поэму, возможно даже — веру в свое призвание. Во всяком случае, письмо его к Светлане заканчивалось в самых мрачных, безнадежных тонах:

«Все, как видишь, обошлось, — пишет Левушка, пытаюсь под

конец перейти на мажорный, беззаботный тон. — Все устроилось наилучшим образом, без всяких ужасов, без пролития крови, без Ледового побоища. Полсотни эков попали каким-то образом в подвал, не Бог весть какое событие... Главное — этап избавился от лютых зверей, от уголовной этой саранчи! Все хорошо, что хорошо кончается. Вот и сказке конец, сказки, по-настоящему, никакой не получилось...

Дорогая моя Золушка, ты, вероятно, догадываешься, что сказка эта, с таким благополучным, счастливым исходом, она прежде всего обо мне, о нас с тобой, о беспросветном нашем будущем. Печальная сказка о нашей навсегда утраченной, растоптанной любви... Сама подумай: после такой ночи — возможно ли на земле какое бы то ни было блаженство, упоение, счастье торжествующей любви?

Прощай, любовь! Прощай и ты, моя робкая муза! Он недосягаем для меня больше, прозрачный светлый мир поэзии моей! Вход в него отныне наглухо для меня заколочен, как ворота пустующего, безмолствующего храма. О чем петь сегодня поэту? Воспевать что? В сумеречные эти годы уничтожения и смерти — бить в литавры, воспевать солнце и звезды, возвышенную красоту и величие человеческого духа? Смогу ли я?

Однако — птицы небесные поют и в заточении своем. Из тесноты своих жалких, загаженных клеток они славят вечную красу и радость бытия, они не могут не петь. Пою и я, в ненавистном моем плену... О тебе пою, моя единственная! О любви твоей, угасшее Солнце мое...

За полярным кругом
Черные, как уголь,
Дикий голос ветра,
Хоть бы луч рассвета!

За полярным кругом
Белой снежной вьюгой,
Не грусти, не мучай,
Если будет случай,

В стороне глухой,
Ночи над землей.
Не дает уснуть;
В эту мглу и муть!

Счастья, друг мой, нет.
Замело мой след.
Не терзай себя,
Вспомяни меня.

Ты слышишь ли меня, моя Светлана? Узнаешь ли еще?»

* * *

Итак, «Аврора» дала трещину, раскололась надвое. Верхняя палуба с ее нагромождениями, пристройками, навесами, ее многолюдностью, бестолковщиной... И «Преисподняя»: ортодоксы притаились в ней, как мыши, зарылись, не подавая признаков жизни. И ты, Павел, как всегда, меж двух огней. Она врезалась в тебя, эта трещина, рассекла твое сердце пополам. раздвоила твою душу. Ты повис в воздухе между небом и землей. Снова, в который уже раз, ты очутился перед мучительной необходимостью выбора. Собственно говоря, — какой же это выбор? Они отвергли тебя, твои ниже-удинские товарищи, не сочли даже нужным посвятить тебя в свои тайные замыслы. Они начисто забыли тебя, отреклись, вычеркнули тебя из списка живых. Барахтайся в этом «болоте», якшайся с ними, ты недалеко от них ушел... Выбирайся, если сумеешь, на свой собственный страх и риск, нам с тобой не по пути... Гришин, конечно, ты всегда был у него бельмом на глазу! Но Сократ! Он что обо всем этом думает?

В первый же вечер — палуба еще гудела, как развороченный муравейник, — прокрался ты в таинственный сумрак «Преисподней». — Ты не отдавал себе отчета в своих намерениях: плюнуть ли на все, на свое уязвленное самолюбие, на обиды, на гришинское к тебе отношение; приткнуться незаметным образом к ним, засесть в трюме... Либо наоборот — скандал

поднять, ответить вызовом на вызов... Ты ничего еще для себя не решил.

Кромешная тьма поглотила тебя, едва за тобой захлопнулись тяжелые ворота трюма; в нос ударило чем-то острым — смесь аптеки и скотного двора, ты пошатнулся. Кто-то подхватил тебя, хихикнул:

— Блудный сын... Вернулся, все-таки?

Агап Агапыч пошел впереди тебя, освещая пролет между нарами карманным фонариком: глаз понемногу осваивался с темнотой, а свет фонаря выхватывал из мрака отдельные детали. Они, видимо, не теряли времени, наши новоселы: нары были местами раздвинуты, разгорожены, постели на них старательно прибраны, заправлены. Кое-где появились полочки, стопки сложенных книг, на стенах мелькнуло два-три портрета — когда они успели? Многие и сейчас продолжали копошиться, что-то прилаживая, перетаскивая с места на место — настоящие муравьи. В памяти у тебя мелькнул ниже-удинский изолятор, горделивая ваша Цитадель... комочек подкатил к горлу. Однако — они не очень как будто унывают! Где-то рокочет командирский голос Гришина, он отдает какие-то распоряжения. В противоположном конце помещения кто-то насвистывает арию Каварадосси.

Согнувшись в три погибели, Сократ восседал на куцем топчанчике, едва освещенном тусклым светом примостившегося над самой головой у него крохотного огарка. В руках у него была записная книжка, Сократ что-то поспешно в нее записывал. Завидя тебя, он заерзал, забеспокоился:

— Как видите, не такая уже и дыра, — он с опаской оглянулся на Агап Агапыча, не сводившего с него глаз, — не правда ли, Агап Агапыч? Это только так говорится — «Преисподняя». Будет не присподняя, будет эдем! Свет будет, воздух будет, все, как у людей... Тогда и вас, Павел, пригласим. Не так ли, Агап Агапыч?

Он явно остерегался Агап Агапыча, как будто даже заискивал перед ним. Острое ощущение жалости пронизало тебя: бед-

ный Сократ, он еще должен перед кем-то заискивать, оправдываться.

— Зачем вы это сделали, Сократ? Объясните мне... — ты подвинулся к самому его лицу, присмотрелся поближе; оно показалось тебе осунувшимся за одни эти сутки, увядшим. — Допустим, — продолжал ты, стараясь подавить в себе волнение, — допустим, Гришин прав: «сплошное болото», все как один! Политические «недоноски», попрошайки, нищие с церковной паперти...

Сократ вскинул на тебя глаза и тотчас же их опустил, потупился. «Зря стараешься, — говорил этот его беглый взгляд. — Все равно не скажу.»

— Они и есть нищие, — продолжал ты, начиная раздражаться. — Нищие духом, обнищавшие... Обобранные до нитки, ограбленные! Ничего у них не осталось. Зачем же грабить еще? Клеймить их, позорить... Поворачиваться к ним спиной!

Сократ вздрогнул, встрепенулся, и ты вдруг выпалил в лицо ему, неожиданно для самого себя:

— Элита, вот вы кто! Партийная знать, аристократия... Окачивается, — и здесь элита, на краю пропасти!

Наступило тягостное молчание, оно тянулось нестерпимо долго. Агап Агапыч продолжал впиваться в Сократа, не скрывая своего торжества. Наконец, Сократ собрался с силами, заговорил гробовым каким-то, не своим голосом. Он сбивался, путался, мямлил, то и дело озираясь на Агап Агапыча и почему-то отводя от тебя глаза, как будто боясь в чем-то выдать себя, проговориться. Ты не узнавал Сократа: он плел что-то невразумительное, тебе показалось — сплошная несуразица!

— Никто, Павел, не бросает никому никакого вызова, ты все истолковал превратно; никто не поворачивается спиной...

— Как бы не так! А трюм? Что означает это внезапное «переселение народов?»

— Никто не собирает никого «грабить», клеймить, шельмовать!

— А Гришин? Он только и делает, что на каждом шагу шельмует, мешает с грязью!

— Гришин, вообще, не в счет, Гришин — вчерашний день. Наступает пора переоценки ценностей, переосмысливания самих основ.

— При чем тут трюм? Какая связь?

— Оппозиция обязана на какое-то время удалиться, уйти со сцены... Она не вправе сейчас соваться со своими рецептами, поучениями, учить людей уму-разуму. Мы просто не готовы, понимаете, Павел, не го-то-вы... Нам в пору самим учиться начать.

— Вот так новость: учились, учились, по тюрьмам, по ссылкам, по изоляторам... и снова, начать учиться?

— Переучиваться, заново, с самых азов! Вот для чего — трюм...

Он вдруг засмутился, попробовал все обратить в шутку:

— За парту, понимаете? Снова за парту! Самое подходящее место. «Преисподняя» эта! Находка для нас...

— Не верьте, ни одному слову не верьте! — Агап Агапыч подскочил к тебе, поймал тебя за руку. Ты вырвался, отстранился.

— Вы, Агап Агапыч, при чем? — Твое раздражение целиком обратилось против него. — Ваша роль во всей этой истории? Убейте — не пойму.

— «Переучиваться»... «С азов»... — продолжал Агап Агапыч, пропуская твою реплику мимо ушей, — Сплошное лукавство. Надо иметь мужество называть вещи своими именами. Банкротство — вот что такое этот трюм, паническое отступление... Гонор свой спасаете, партийную спесь! Вы убедились, наконец: никому вы больше не нужны, ни-ко-му, даже им, несчастным этим зэкам! Троцкизм для них — прошлогодний снег! Они слышать не хотят, бегут... И вы — вы, по сути, сбежали от них! Наготу свою скрыть, вот для чего вам трюм понадобился... Потому что — король-то, оказывается, гол!

Обернувшись к тебе, он задержался, с явным намерением что-то еще досказать.

— Что касается меня, — начал он без особой уверенности, — и моей роли в этой пьесе...

Он помялся еще и самым решительным образом заключил:

— Вóрон я, если вам так уже приспичило... Черный старый вóрон: кружу вокруг да около, дожидаясь своей доли!

— Не дождетесь! — крикнул ты запальчиво, но Агап Агапыча уже след простыл, голос его послышался уже в противоположном углу трюма, он вступал там в пререкания с Гришиным. Свесившись с нар, Гришин вещал в пространство, рассчитывая, видимо, на всеобщее внимание.

— Отсель грозить мы будем шведу, — говорил он отчетливо и громко, с обычной своей самоуверенностью. — И пусть никто, товарищи, не воображает: ушли душегубы эти, троцкисты! Избавились от них! Пускай помнят: мы здесь, рядом... мы вернемся еще! Они сами призовут нас! Не сегодня-завтра явятся сюда с поклонами, будут слезы лить, зазывать нас...

Агап Агапыч не преминул отозваться:

— Хотелось бы знать, — проговорил он, роняя, как и Гришин, слова свои в пустоту, — кто в этом доме задает тон? Гришин? Сократ? Кто Хозяин? Кому, в частности, обязаны мы этой роскошной фирмой, под вывеской «Преисподняя»? Кому из двух?

— Вы слышите, Сократ?

Ты вопрошающе взглянул в лицо Сократа, тронул за руку.

Он вздрогнул, обернулся к тебе. Ничего он не слышал, не слушал, он, видимо, все еще витал где-то, мысленно продолжая полемику с Агап Агапычем.

— Что? Что вы сказали? — переспросил он и, не ожидая ответа, продолжал невпопад:

— Прав, тысячу раз прав этот Змей Горыныч... Гол король! Безоружен... — Бросив на тебя блуждающий, отсутствующий взгляд, он прибавил с неожиданным воодушевлением:

— Но духом не сломлен! Воспрянет, в новых доспехах!

С тяжелым чувством возвращался ты на верхотурье свое, на палубу. Сомнения и тревоги одолевали тебя, не давали покоя. Тебе так и не удалось до конца разобраться в этой кляузной ночной истории, уяснить себе подлинные причины, мотивы, цели. Слишком уже все это выглядело у него неубедительно, у Сократа, слишком неуклюже: поднять на дыбы этап, учинить раскол, загнать себя в вонючий этот трюм, ради мифического какого-то «переучивания», самоуглубления, созерцания собственного своего пупа — кто поверит? Что-то он все время припрятывал от тебя, твой Сократ, мудрил, не раскрывал до конца свои карты.

Этап спал, храпел сотнями глоток, предаваясь после бурного, суматошного дня блаженству ночного покоя. «Аврора» затихла, наконец, почила на лаврах. С вечера известно стало: всяким бедствиям конец, утром отчаливаем. Одни, своей, все-таки, семьей, никаких разбойников, бандитов, страшилищ...

Рядом с тобой, между нар, примостилась на полу какая-то теплая компания, вздумала на радостях пулечку разыграть. Раздобыли где-то самодельные карты, огарок достали, ухитрились каким-то образом замаскироваться. Переговаривались шепотом, опасливо озираясь. Уже засыпая, ты услышал обрывки разговора, заставившего тебя мигом очнуться, настрожиться:

— «Преисподняя», надо же... — произнес кто-то из них слюнявя карты.

Другой возразил:

— Подумаешь, геройство!

— Любопытно, все-таки, на что люди рассчитывают? — Это произнес кто-то третий, развернув веером свои карты. — Толк какой?

— За нас, дураков, отдуваются, — пробормотал первый голос, — кому-нибудь надо же отдуваться.

— Никто их не просил, — с раздражением сказал второй, — без них бы обошлось...

— В том-то и шутка — не обошлось бы! — Первый отложил

карты, подтянулся поближе. Он заговорил еле слышно, тебе пришлось приподняться на локте, чтобы расслышать.

— Вопрос стоял так: или-или! Либо хулиганье это, рецидив, либо троцкисты, одно из двух. Все зависело от них, от этих бородачей. По сути — лобастого этого, Сократа, он был главным парламентаром. Могли согласиться, могли не согласиться, никто бы не заставил. Мы висели на волоске, весь наш этап! Вы представляете картину: в трюме бандюги эти, вольчья стая... Слава Господу Богу, спасли положение, приняли удар на себя: Сократ и другой, вся, в общем, компания. У них там спайка, не то, что мы...

Помолчав, он мрачно закончил:

— Честно говоря, свиньи мы, все-таки... Неблагодарные свиньи!

У тебя, Павел, дух захватило. Вот оно, значит, где собака зарыта. Никакой не вызов, не брошенная в физиономию перчатка, все это фантазия твоя, оказывается. Люди попросту, без всякой задней мысли, взвалили на плечи себе тяжкий груз, во имя общего дела, ради спасения этапа. Выхода другого не оказалось. Ликуй, Левушка, не хорони планету нашу раньше срока, не моли Господа о всеобщем крушении, о гибели! Очищение наше — оно здесь, на грешной нашей земле. Оно придет изнутри нас, не надо никакого второго потопы.

Ранним утром «Аврора» оторвалась от берега, ушла в открытое море. Был ясный, безоблачный день, легкий попутный ветерок, едва касаясь воды, сопровождал нас в дальний путь.

* * *

...Нас волокли бесконечно долго, морями, северными реками, мимо безлюдных каких-то пристаней, мимо вымерших деревень, окольными путями, как прокаженных, подальше от человеческих глаз. Нам, однако, было все равно, нам никого, оказывается, не было нужно. Нас было много, и мы, вцепившись друг в друга, только и делали, что горланили, болтали без умолку, с вожделием, с небывалым остервенением с болезненным слодострастием. После одиночек, после каменного без-

молвия тюремных коридоров, у всех вдруг развязались языки, каждого потянуло что-то с себя сбросить, перед кем-то оправдаться, доказать... Нашупать заново почву под ногами.

Ноев ковчег — кого на нем только не было! Директора фабрик, прорабы, врачи, зав. кафедрами марксизма-ленинизма, священнослужители, разжалованные партийные секретари, военные в шинелях со споротыми нашивками, певцы, математики... Жители столиц и окраин, русские, украинцы, грузины, представители всех республик. «Зарубежные гости» — поляки, прибалты, немцы, китайцы, корейцы. Представители трех поколений — «старые большевики», комсомольцы, Октябрьская гвардия... Четыреста гавриков, осколок необъятной нашей Родины! Россия — ты жаждал увидеть ее, Павел; вот она, долгожданная твоя, с тобою рядом! Душу отводит, рассуждает, негодует, в жилетку плачет... Пристает с расспросами.

— Пятьдесят восемь — десять?

— Ну...

— Что за привычка — нукать. Буквы у тебя, что ли?

— Ну, буквы.

— КРА? КРД? КРТД? Да не трясись ты, ей-Богу.

— Пеша.

— Наконец-то слышу человеческую речь. Шпионаж, значит?

— Пе-ша.

— Подумаешь, тонкости какие: что в лоб, что по лбу... В чью пользу шпионил?

— Не шпионил я! Пеша, подозрение в шпионаже.

— Господи, прости, за кого ты меня принимаешь? Я спрашиваю: на ком женили? Бельгия? Турция? США?

— Ммм...

— Тыфу-ты, ну-ты! Тебе что, язык там прижигали, что ли?

— Энтомолог я.

— Ну и что? Энтомолог, психолог, уролог — не все ли равно?

— Колорадский жучок, слышали?

— Тю! Вон куда тебя пристроили! Прямо сказать, редкий

экземпляр. Диверсия, значит, пятьдесят восемь — семь.

— Было: пятьдесят восемь — семь, вредительство. Потом переквалифицировали: подозрение в шпионаже.

— Пришей кобыле хвост! Колорадский жук... шпионаж при чем?

— Ученый я, работал над докторской.

— Нужна им твоя докторская! У тебя что — родня?

— Одинокий я.

— В чем же дело? Не темни...

— Командировка, по линии Академии наук.

— С этого бы и начал. Заграничная командировочка, так так, ясно...

— Ну...

— Не нукай ты, Христа ради, терпеть не могу. Интеллигентный человек, доктор наук, и туда же — нукать! Подписал, знает?

— Кх-кх-кх...

— Опять двадцать пять, кашель напал... Уймись ты, ей-богу, успокойся. Один ты, что ли? Все подписывают.

— Подписал, не подписал — какая, в сущности, разница?

— Тебе, я вижу, вообще, все едино, никакой разницы: жучки, блохи, люди... Воображаю, что ты там, на следствии, наворотил!

— Ну и пусть, пусть! Мне не жалко!

— О-го-го! Раскачался, однако...

— Я работал над туляремией. Вы в состоянии понять, что такое туляремия? Мне остались пустяки, два-три месяца работы. И вот, меня срывают, вызывают срочно в Москву, телеграмма за подписью Наркома. Меня шантажируют, обманывают. С вокзала — на Лубянку, очная ставка, с кем бы вы думали? С шефом моим! Руководитель кафедры, лучший мой друг... Ученый с мировым именем! Я все теперь подпишу, что угодно, не все ли мне равно?..

* * *

Они готовы были без конца тянуть эту канитель, она нагоняла на тебя тоску и ощущение безысходности. Бутырки, Лефортово, очные ставки, допросы, подвохи — до каких же пор будут они жевать эту жвачку, смаковать, переливать из пустого в порожнее? Об этой ли ты мечтал России; Павел, эти ли речи ждал услышать, когда рвался вон из стен Цитадели?

Больше всего тебя донимала неожиданная их дурашливость, зубоскальство — по любому поводу они готовы были поднимать невообразимую шумиху, пуститься чуть ли не в пляс. Какой-то в них вселился бес: они выискивали все новые и новые темы, вытаскивали на свет Божий детали следствий, свидетельские показания, трюки всевозможные, все это выволакивалось наружу, чтобы теперь, задним числом, превратиться в фольклор, в сплошное шутовство.

— Логунов! Где Логунов?

— На трибуну — Логунова!

— Слово товарищу Логунову!

— Давай, Вася, выкладывай...

— Просим, просим!

И Вася Логунов, управдомами одного из столичных районов Москвы, начинает, в который уже раз, знаменитую свою историю про телефонный справочник:

— Не пойму даже, как могло мне в голову прийти! Осенило меня, сам Бог Саваоф надоумил! Паршивый, понимаете, клок бумаги, из тюремного ларька, селедку, что ли, завернули в нее. Оказывается, не бумага — Божье откровенье! Страничка из телефонного справочника... Все чин по чину: фамилия, имя, отчество, домашний адрес, номер телефона... по-моему, даже год рождения! Впрочем — не ручаюсь. Меня, в общем, осенило! Надергал тридцать две фамилии, с некоторым запасом. выучил на зубок, жду. Следователь мой, такая, понимаете, зануда, пристал, как банный лист: соучастников ему подавай! Назвал ему парочку, кого не жалко — нет, мало! Мало ему двоих! Еще, еще давай. Десять, двадцать, тридцать... Знает, собака, с кого спрашивать, управдом все-таки, народу — пруд пруди! «Назы-

вай, сукин сын! Называй сообщников!» Appetit у него разыгрался, слышать ничего не хочет. Все кишки мне вымотал... Я ему и подсунул: тридцать фамилий, круглым счетом! По справочнику... Можете представить? Ключнул! От меня, во всяком случае, отвязался...

— Гений! Логунов, ты гений!

— По телефонному справочнику! Что может быть проще?

— Научное открытие, Логунов!

— Тише, товарищи, тише...

— Слово имеет Костюченко!

— Внимание, внимание...

— Про негуса, Стасик! Про эфиопского негуса!

Стасик Костюченко, филолог из Киева, также отличился, облапошил своего следователя. Стасик вообще заслуженный, он успел заработать второй срок. Первый свой срок, пустяковый, всего-навсего три года, он подхватил в тридцать третьем еще году, за Скрыпника. В конце тридцать шестого года, Стасику как раз освобождаться, подоспело дело Постышева. Он был еще в расцвете славы своей, Постышев, секретарь ЦК, правая рука Сталина; однако участь его где-то за кулисами была уже решена, материалы подбирались, Костюченко снова понадобился. Его на самолете доставили из лагеря прямехонько в Бутырки. К счастью, следователь попался дурачок, неуч, Костюченко плел ему Бог весть что. У него разыгралась фантазия: имел, якобы, непосредственное отношение к самоубийству Скрыпника, Постышев как раз и свел Скрыпкина в могилу, убил его. Какие-то туманные намеки насчет секретной переписки Постышева с эфиопским негусом (галиматья несусветная: негус как раз в эту пору отбивался от фашистской Италии). Следователь был без ума от Стасика, обещал ему золотые горы... Когда допрос дошел до кульминационной точки: «Кем завербован?» — Стасик, не задумываясь, назвал Рабиндраната Тагора. Имя великого индуса попало, таким образом по иронии судьбы, в анналы советской разведки, вкуче с именами виднейших партийных деятелей Украины — Скрыпника

и Постышева. Номер Стасика, однако же, не прошел: в верхах где-то нашелся грамотей, разобрался. Дело Костюченко вернули для доследования, следователю-дураку попало на орехи. Стасик же получил по постановлению ОСО второй паек — восемь лет лагерного заключения за контрреволюционный троцкизм. Плюс к этому — он остался без единого зуба, в наказание за Рабиндраната Тагора.

— Ай да Стасик! Ай да выдумщик!

— Рабиндранат Тагор, ха-х-ах-а...

— Открой рот, Стась! Челюсти покажи!

— Как у грудного младенца... Пусто!

— Дешево отделался, Стасик!

— Зато ЛФТ! Легкий физический труд! Гарантировано...

— Молодчик... Кантоваться будешь, до конца срока.

— Эфиопский негус, ха-ха-ха.

Ты с ума сходил, Павел, у тебя душу выворачивало! Юмор висельников, как они могут! Как будто не было всего этого кошмара: доносительства, лжесвидетельства, злодейства... Крушения святынь, бессмысленно загубленных жизней! Как могут они, после всего, предаваться зубоскальству?

* * *

Совсем уже невтерпеж показалась тебе потеха эта с Грантиком, хотя в данном случае ты был, возможно, не в меру придирчив. Слишком уже ты склонен был все раздувать, драматизировать. Куда, скажи, деваться, если человек действительно дошел до точки, опустился, каждым своим движением, каждым жестом своим вызывал у людей приступы веселья? Один его лапсердак чего стоил! Кто мог поверить, что хламида эта была некогда чесучовым костюмом заграничного покроя, шитым по заказу из первоклассного материала в одном из самых модных европейских ателье? Как он ухитрился, чудака этот, за каких-нибудь пять-шесть недель так вывалиться, так все на себе перемять, испохабить? Как вообще угораздило его появиться в тюремной камере в таком роскошном облачении? Что, не мог он догадаться, что ждет его там, за тюремной решеткой? Сей-

час он просто пропадал в своей чесуче, замерзал, как котенок, зуб на зуб не попадал. Мы двигались, как-никак, в направлении северного полюса, Грантик был основательно простужен и кончик носа у него вечно сочился; эти сопли также стали предметом всеобщего восхищения. Кто-то подарил ему старый свитер, Грант носил его почему-то поверх пиджака. Свитер был ему не по росту, рукава болтались. Шляпу у него в пути где-то сорвало ветром и на голове у него красовалась немыслимая нашьлепка, также дареная. Она напознала ему на глаза, мешала, и Грант, в конце концов догадался! Оторвал от нее козырек, после чего и вовсе похож стал на спившегося матросика. Однако — выражение его лица! Оно обезоруживало с первого взгляда! Глаза у Гранта сияли, они излучали такую непомерную доброжелательность, преданность, доверчивость и все это настолько не вязалось с жалкими его веригами, что все кругом прыскали, не в силах удержаться. Он ничего этого не замечал, исполненный решимости в любую минуту вытянуться перед каждым, расшаркаться, удружить.

— Грантик!

— Пожалуйста, прошу!

Он не очень еще ладил с русским языком, и эти его мягкие знаки — пожалуйста, Тольстой — также приводили всех в восторг. Он стал, в общем, ходячим анекдотом, над ним потешались все, вплоть до конвоя, и это доводило тебя, Павел, до иступления. Каких-нибудь сорок дней тому назад, всего-навсего... Он гоголем еще разгуливал по улицам столицы в шикарном своем чесучовом костюме, именник, сам черт ему не брат! Шутка ли: ему чудом каким-то удалось вырваться из лап гестапо, дорваться до Родины Социализма — предел его мечтаний! Почти год блаженствовал он в московском раю, катался как сыр в масле, как раз этот злополучный 1936-ой год! Кругом аресты, чистки, «корчевка», а Грант об этом представления не имеет, живет, как во сне. Ему дали лабораторию, квартиру, машину персональную за ним закрепили. Окружили заботами, лаской, еще бы: доктор химических наук, окончил

Венский университет, два факультета... Коммунист! Он достиг своей вершины! Все увиденное в Советской стране радовало его сердце, вызывало в нем гордость и восхищение: московские парады, московское метро, московские партийные активы... Советские люди, деятели науки и культуры, советская молодежь... Правосудие советское, ликвидация пятой колонны! Он глотал все подряд, впитывал, как губка, дышал воздухом коммунизма! Медовый этот месяц длился почти целый год. Боже, во что же превратился он за каких-нибудь коротких шесть недель, поглядите! Эти рукава, эта бескозырка... Но дело даже не в этом — оборванцев в этапе, слава Богу, хватало. Триумфом своим Грант обязан был, в первую очередь, истории с телеграммой; этой именно истории суждено было стать коронным номером Гранта, гвоздем, так сказать, театрального сезона.

— Грантик, телеграмма!

— Не сдавайся, Грант! Требуй!

— Жми, Грант! Душу из них вытряхивай! Где телеграмма..

— Пристань, Грант, пристань! Не зевай...

— Будет, будет тебе телеграмма! Не сомневайся.

* * *

Началось оно с Нарьян-Мара, едва только на горизонте показались смутные очертания ненецкого окружного центра. Грантик стал неузнаваем: он бросился с немислимыми какими-то претензиями к конвою, принялся что-то им доказывать, настаивать, грозиться; он носился, как полоумный, умолял, рвался на берег. Он растерял при этом свой и без того скудный словесный запас, путался, мешал французский с нижегородским, жестикулировал, бил себя в грудь — его невозможно было понять. Одно единственное словечко поминутно срывалось у него с языка, наводя на какие-то размышления: «тэлег-рам!», «тэлег-рам!». Грант повторял это слово с маниакальным упорством. Было ясно для всех: Грант ждет какой-то телеграммы, ждет нетерпеливо, страстно, от жены, может быть, от невесты, от матери? В телеграмме этой заключен весь смысл его

существования, остальное все — трын-трава, его не трогает, холод, голод, насмешки... Он злился, огрызался, свирепел с каждой минутой, его вспышки до того не вязались с постоянной его кротостью и поистине ангельским миролюбием, что сами по себе стали предметом всеобщего развлечения. Когда же, в конце концов, обнаружена была истинная подоплека дела, Гранту просто проходу не стало.

— Ну, Грант, каковы успехи?

— Прячут, сукины сыны, прячут от тебя телеграмму!

— Никому, Грантик, не верь! Выколачивай...

— Москву вызывай! Лично товарища Ежова!

— Вода, Грантик, камень точит! Добивайся!

После подобного глумления слепому, кажется, прозреть! Нет, Грант продолжал упорствовать, не переставал надеяться: будет, будет ему телеграмма! Ему слово дали, честное партийное слово! Следовательно так и сказал ему: «Честное слово коммуниста!». Он поклялся ему, этот следователь: Гранта завернут с пути следования, из этапа вернут, возвратят в Москву обратно. С извинениями, с почестями... Будет телеграмма за подписью самого наркома: «Решение ОСО отменить! Восстановить в правах! Препроводить в Москву, по месту прежней работы... Следователь заверил его: пустяки все это — постановление ОСО, статья, срок... Чистейшей воды условность, формальность. Не надо задавать ненужных вопросов: «Для чего?», «Зачем?» Придет время — Грант убедится, поймет. Пока же давайте не терять драгоценного времени, подписывайте давайте... Чем скорее — тем лучше! Скорее туда — скорее обратно! Телеграмма застанет Гранта где-нибудь между Кировым и Котласом, она опередит его, честное слово коммуниста!

Потихонечку Грант наводил справки, осведомлялся.

— Пожалуйста, товарищи... Когда будем Котлác?

— Какой Котлác? С ума сошел!

— Другой край света, понимаешь? Плыдем на Нарьян-Мар!

— Через пять лет Котлác, понял? На обратном пути...

— Облапошили тебя, милоч.

Отрезвляющие эти голоса Грант с презрением отметал прочь. Часами торчал он на палубе в ожидании пристани, высматривал, томился, ждал. Конечно, все покатывались: довериться какому-то выродку, следователю своему! Оно выглядело тем более чудовищно, что, как выяснилось из последующих повествований Гранта, майор этот, замечательный его следователь, постарался обжулить своего клиента авансом, в первые же минуты ареста. По сути, ареста еще, как такового, не было, жертва ничего еще не подозревала. Майор как бы предупреждал Гранта заранее, намекал ему: гляди, голубчик, в оба... здесь не шутят! История эта стала также притчей во языцех. Гранта, оказывается, разыграли самым бессовестным образом. Ему позвонили на работу, в лабораторию: некий Харламов, Степан Кузьмич, киносценарист из Мосфильма. Гранта приглашают в гостиницу «Прага»: студии Мосфильма необходимо проинтервьюировать его как бывшего узника гестапо для киноочерка. Если, конечно, не затруднит... Беседа состоялась в конце рабочего дня, Грантик поехал в «Прагу» прямо с работы, в этом своем чесучовом костюме. Шикарный номер, вино, сигареты, фрукты... Грант был в совершеннейшем восторге! Степан Кузьмич оказался на редкость обаятельным собеседником, разговор вертелся вокруг жгучих проблем современности — искусство кино, советская поэзия, политика... Об узниках концлагерей, между прочим, ни звука — Грант не обратил на это особого внимания. Он был покорен с первой же минуты, и ему было как-то неловко перебивать собеседника, уточнять цель визита. Опомнился он поздно ночью, уже в Лефортово, в кабинете у того же Степана Кузьмича. Последний успел, правда, к этому времени преобразиться: военный китель, ботфорты, какой-то, видимо, высокий чин, Грант глазам своим не поверил. Он вскочил с места, распетушился, попробовал было протестовать, но Степан Кузьмич остановил его, с тою же обворожительной улыбкой:

— Ну что вы, что вы, стоит ли шум поднимать, расстраи-

ваться... Поверьте, все обстоит гораздо проще, чем вам кажется. Вы не совсем представляете нашу обстановку...

Грантик пересказывал эту историю сотню раз, без малейшей обиды. Он и сейчас был самого высокого мнения о своем следователе: какие могут быть, позвольте спросить, обиды? Прекрасный товарищ, у них сложились самые лучшие отношения. Он поставил Гранту условие, на первом же допросе: полное взаимное доверие, откровенность, никакой официальности. Гранту необходимо усвоить: все это вздор и чепуха, никто его всерьез за врага не принимает. «Подумайте сами, разве так разговаривают с врагами? Профилактика, друг мой, элементарные меры предупреждения»... Как коммунист, Грант обязан понять: на западе — фашизм, внутри — пятая колонна, троцкизм; враг поднимает голову! «Обязаны мы принять какие-то ответные меры?» Гранту придется примириться с кое-какими чисто процедурными формальностями, два-три протокольчика, постановление ОСО...» Ну и что особенного? Нас, русских коммунистов, такими вещами не удивишь»...

Для вящей убедительности он закинул Гранту весьма соблазнительную удочку: у них, в органах, имеются в отношении Гранта кое-какие особые планы. Коммунист, с европейским образованием, блестящим знанием языков, — просто преступление в такое время держать его в какой-то заштатной, простите, лаборатории, среди банок, склянок, пробирок... Наука наукой, это верно, но... для Гранта найдется миссия посерьезней. Однако — молчок, ни слова на эту тему. Пока что — небольшая инсценировочка: статья, срок, этап... испытание нервов, так сказать. Вот тогда-то он и намекнул на телеграмму Наркома.

Нарьян-Мар остался далеко позади, а Грант все еще не унимался, не успокаивался. Наоборот, терпение его постепенно истощалось, хотя он и делал невероятные усилия, чтобы как-то себя побороть, скрыть свои мучения от чужих глаз. Это ему, однако, не удавалось, — стоило ему учуять поблизости хотя бы самую паршивенькую, захудалую пристанюшку, и он ста-

новился сам не свой, начинал всех теребить, приставать к конвою, канючить, неугомонностью своей подогревая восторг у зрителей.

— Молодчина, Грантик! Так держать!

— Во все колокола, Грант! Телеграмма где, мошенники?

— В Москву, Грант! По прямому проводу!

— Степану Кузьмичу, шефу своему!

— Не сдавайся, Грант! Коммунисты не сдаются...

Гомерический хохот! Откуда он, такой, взялся? Доктор наук, коммунист, всю Европу обшарил... Неужели же все они там такие вот, недоделанные? Как же, интересно, они собираются у себя революцию делать, социализм строить? Любой наш комсомолец за пояс заткнет его, этого доктора, обведет вокруг пальца. Учись, Грант, учись у нас уму-разуму... Тебе в жизни пригодится...

* * *

Несчастный Грантик... Судьба его тяжелым грузом нависла над тобой, Павел; она преследовала тебя днем и ночью, терзала твою душу, стала для тебя чем-то, вроде второго твоего я. Тебе стало казаться: это ты мечешься по палубе, дрожишь на ветру, трепещешь в томительном ожидании заветной этой телеграммы! Это из тебя сотворили посмешище, разыграли тебя, как медный пятак, высмеяли без зазрения совести... Надругались, превратили в петрушку, в циркового клоуна!

Над кем глумитесь вы, подумайте! Он всему, оказывается, верит, этот заморыш, всему решительно! Газетам нашим верит, докладчикам на собраниях, дикторам на радио. Вышинскому верит, громоподобным его прокурорским речам: верит в правосудие, в законность, в справедливость! Людям верит, их честности, их доброй воле... Следовательно своему верит по сей день! Верит в торжество разума, в коммунизм, эту свою веру он пронес нетронутой через гитлеровские застенки, через Лефортово, он донес ее до борта «Авроры»... Теперь вы топчете ее, измываетесь над ней...

Справедливости ради, Павел: не слишком ли ты далеко за-

шел в рвении своем? Такие ли они уже в самом деле вокруг тебя были изверги, уроды? Не они ли, пересмешники эти, пустобрехи, голодные и холодные, наперебой спешили из последних своих крох покормить Гранта, отогреть его жалким своим тряпьем, спасти от гибели?

Согласись, Павел, еще можно поспорить: в сегодняшнем мире — какое зло меньшее, предпочтительнее, которое из двух? Зубоскальство, столь тебе ненавистное, пустозвонство... на все наплевать, выпотрошить себя, вывернуть наизнанку — это ли худшее из зол? Или, быть может, другое, во сто крат невыносимее, опаснее? Святая эта простота, легкоеверие это? Хождение по канату, над бездонной пропастью, вслепую, с завязанными глазами? Ничего не видеть, не слышать, принимать все за чистую монету... Пусть помыкают тобой командуют, водят за нос... Которое из двух зол страшнее, ты можешь решить?

Так или иначе, для тебя стало очевидно: невозможно дольше мириться с этой клоунадой, оставлять Гранта одного, отдавать его на поругание. Ты обязан вмешаться, вырвать его из этого заколдованного кольца, сорвать с него шоры, — пусть взглянет на мир открытыми глазами, увидит его таким, как есть, без прикрас, без декораций. Увы, ты слишком на себя понадеялся.

Грант оказался на удивление во всех этих делах непонятным. Ему невозможно было втемашить в голову, что все эти приговоры, признания, обвинительные заключения, чистосердечные раскаяния обвиняемых... что вся эта, в общем, липа, ломаного гроша не стоит. Всего лишь инсценировка по заранее разработанному сценарию. Грант слушал тебя с бессмысленной улыбкой, он не верил ни одному твоему слову. Он не способен оказался переварить простейшую истину, заключающуюся в том, что человек, обыкновенный советский гражданин, тем паче — коммунист, может за здорово живешь, по приказу, по наущению, по собственной даже прихоти, писать фальшивые доносы, давать ложные показания, выдумывать небылицы против друзей своих, товарищей. Оговаривать кого бы то ни было, себя самого, отца

родного, сына... Какой-то телефонный справочник... «Это же шутка!»

— Но, Грант, вы испытали эти шутки на себе, на собственной шкуре!

— Я не клеветничал.

— Вас оклеветали, Грант.

— Никто меня не клеветал, неправда.

— Вас оклеветал ваш следователь. Он сделал из вас шпиона, фашиста. Врага советского народа. Заставил вас чернить себя, признаваться.

— Неправда, ничего не заставил.

— Вы подписывали протоколы, давали показания против самого себя.

— Ничего не писал. Один толко протокол.

— Вполне достаточно... Вы даже не знаете, что вы подписали. Восемь лет лагерей, собственной своей рукой.

— Еще будем пасмотреть.

Он намекал на телеграмму.

— Вас обманули, Грант. Выудили у вас подпись, наобещали вам. Вы доверились негодюю, следователю...

— Не можно так гаварить. Он коммунист, член ВКП(б).

— И вы, Грант, вы тоже коммунист. Вы с ним товарищи по партии... Как могло получиться: коммунист коммуниста топит, в тюрьму сажает, в лагерь угоняет, вы подумали?

На глазах у Гранта показались слезы.

— Вы обязаны знать, Грант. В этапе нашем четыреста человек, советские люди, коммунисты... Их гонят в заключение, в рабство, ни за что. Многие из них подписывали, как и вы. Признавались в несовершенных преступлениях, лгали. Продавали один другого...

Лицо у Грантика сморщилось, губы запрыгали; он вдруг задергался весь, завизжал и, не в силах уже остановиться, продолжал что-то выкрикивать, беспорядочно, отрывисто, короткими вспышками, безо всякой связи:

— Нет, нет! — выкрикивал он. — Я знаю, нет! Гитлер! Пя-

тый колон! Сталин! Коминтерн! КРТД! Я не КРТД! Я есть коммунист! Я приехал Совэцкий Сюз!

Голова у него тряслась, глаза налились кровью.

Взъерошенный, с мягкими своими дергающимися губами, с ушами, торчащими из-под бескозырки, и влажным, поблескивающим кончиком носа — он стал в эту минуту похож не на человека вовсе. Зверек, из породы грызунов, бурундук какой-нибудь, затравленный, доведенный до исступления.

— Успокойтесь, Грантик! Бога ради успокойтесь. Поймите же, я не хотел вас обидеть. Чистая правда, Грант... Жестокая, но правда.

Он вдруг выдохся, присмирел, голос его надломился. Он бормотал невнятно, в нос себе, то и дело приостанавливаясь и бросая в твою сторону подозрительные, опасливые взгляды. Москва... Он совсем еще недавно жил в Москве, теперь ему кажется — века прошли... Красная площадь, мавзолей Ленина, кремлевские куранты... Интернационал, надежда народов! Он часами стоял, слушал... Миллионы москвичей, трудятся, создают. Метро создали, академию наук. Университет будут строить... Расцвет социализма, какие могут быть сомнения? Народ бурлит, ликует, с врагами расправляется... Собрания, митинги, у всех на устах Сталин! Счастье, что есть Сталин! Пусть Павел скажет: есть на земле Москва? Есть партия? Советская власть? Надо вызывать члена ЦК, члена Политбюро... Пусть придет, посмотрит этап, разберется. Немедленно, сию же минуту!

Жалкий, смешной бурундучок, он уставился в тебя круглыми, покрасневшими от натуги глазами, в которых засверкали вдруг искры надежды. Тебе было, Павел, не до смеха, чувство отчаяния охватило тебя. Ты взялся, видимо, не за свое дело! Вправе ли ты, подумай, ковыряться в этих кровоточащих язвах, сдирать с них покровы, обнажать их? Расшатывать этот мир иллюзий, без которых, сам видишь, Гранту не за что ухватиться, дышать нечем на этой планете. Что можешь ты предложить ему взамен? У тебя у самого концы не сведены с концами! Пальцем нельзя до него дотрагиваться, разубедить его,

обрекать на мучения; он и без того трижды обижен судьбою. Пусть себе живет в скорлупе своей... Пускай охотится за телеграммой этой, пусть надеется. Попробуй, поди, растолкуй ему, как это все произошло: этап этот, «Аврора», ее люди, собственная его судьба.

— Ежовщина, Грантик, ежовщина...

Ты без конца повторял это вязкое слово, вертел его и так и этак, на все лады, жонглировал им, хотя и чувствовал заключенную в нем бессмыслицу и обман.

— Ежовщина, Грант. Все дело в этом!

— Эжовщина, — как лесное эхо отдалось в ушах у тебя.

Это произнес за тобою следом Грант. Он совсем угас, отвалился от тебя, первоначальный его задор окончательно иссяк. Он не стал больше к тебе приставать, голова его поникла, а губы шевелились, продолжая что-то нашептывать. Тебе показалось, он передразнивает тебя:

— Жовчина, жовчина, жовчина...

* * *

Ежовщина... Головоломка эта не сходила с повестки дня плавучего нашего каравана; мы толкли эту воду в ступе дни и ночи, во сне и наяву, до полного изнеможения. Кто, в конце концов, объяснит сущность ежовщины? Ее сокровенный смысл? Истоки, причины, цели... Скрытый ее механизм... Когда все началось, когда кончится? Марксисты мы все-таки, должны же вникнуть, проанализировать...

— Он, он все изобрел! Уродина этот, карлик, самозванец!

— Чушь! Что такое Ежов? Пустой звук! Исполнитель! Существует ЦК партии, дирижерская палочка — там...

— Су-ще-ству-ет ли? Еще требуется доказать!

— Не станете же вы утверждать, что какой-то проходимец, авантюрист, без ведома ЦК...

— Цека, цека... Три четверти вашего цека отдали концы. Остальные — на очереди...

— ...без санкции Политбюро, лично Сталина...

— Ему эти санкции, извините... Пигмей, выскочка, а всех под себя подмял, включая Самого. Советский вариант Распутина — вот что такое Ежов.

— Выходит, по-вашему: Ежов — это и есть ежовщина? Простая тавтология... веревка — вервие простое!

— Хотя бы и так. Вам обязательно — дебри...

— Во всяком случае, логика какая-то должна же быть? Ни с того, ни с сего, советский Раепутин — с неба свалился. Почему вдруг? Куда девалась партия?

— Хорошо, будь по-вашему: тон задает партия... ЦК, Сталин, допустим. Тогда позвольте спросить: наш этап хотя бы — разгром партийных кадров? Рубить сук, на котором все держится — есть какая-нибудь логика?

— Как вам сказать... Политика дальнего прицела! Мы с вами, по сути, многого не знаем...

— Сергей Мироныч Киров — вот где собака зарыта!

— Киров при чем? Киров убит в тридцать четвертом, еще ничего не было. Ежовщина, к вашему сведению, с тридцать седьмого года.

— Это только так говорится: 37-ой год. Ни для еого не секрет, началось гораздо раньше. В 34-ом, если не в 33-ем.

— Позвольте! Тридцать третий год — год «великого подъема»... Завершение коллективизации, семнадцатый съезд партии.

— Вот-вот, «Съезд победителей». Знаменитое выступление Кирова, его лебединая песня. Ежов начинается отсюда...

— Любите вы загадки загадывать. Ежовщина и 17-ый съезд партии... Какое отношение? Что вообще может происходить на партийных съездах? Отчетный доклад, директивы... Съезд, как известно, ничего не решает, решает Политбюро.

— Не только директивы, еще и выборы, избрание руководящих органов, вы забыли...

— Но... мы же знаем, что такое выборы. Вождей не выбирают, за них голосуют... — Вот именно, го-ло-су-ют. Притом

— тайно, шарами! Вы скажите — предрассудок? Тем не менее...

— Никто же не станет, помилуйте... Кому придет в голову рискнуть...

— Представьте себе, нашлись любители, рискнули.

(Шепот, друг другу на ухо.)

— Что-о-о? Вы с ума сошли?

— За что купил...

После тягостной паузы:

— Допустим: Киров получил большинство, какое это имеет значение? Это же ничего не могло изменить. Состав политбюро, генсек — все осталось на месте!

— Остаться-то осталось, однако... Моральная пощечина! Триумф Кирова! Такие вещи не прощаются...

— Подумаешь, какой-нибудь десяток-другой голосов. Неизвестно к тому же — чьи голоса... Шары — поди разберись.

— Тем хуже! Подозрение пало на всех! Весь состав съезда, вся партия... Теперь понятно — откуда Ежовщина?

— Но это... Это же шестнадцатый век! Иоанн Грозный! Быть этого не может.

— Тише!, Ради Бога — тише...

— Какие-то должны же быть объективные факторы? Нельзя же свести проблему ежовщины — к личности Сталина, его характеру, индивидуальным его качествам. Материалисты мы, все-таки...

— Ленин, как известно, тоже был материалистом, и все-таки... Он предвидел, предупреждал. Где ленинское завещание?

— А что завещание? Чисто психологическая характеристика: нелояльность Сталина, неуживчивость, грубость... Ничего особенного.

— ...Злоупотребление властью, вот что! Ленин предлагал убрать его с поста генсека!

— Ну, злоупотребление властью... А за кого, скажите, вы можете поручиться? Кто из них не груб, не заносчив, уживчив? Власть — она не терпит ангелов, мягкотелых. Как вождю, как

марксисту Ленин отдавал ему должное. По сути — Ленин же и вручил ему бразды правления. Из рук в руки, можно сказать.

— Когда это было? Восстал бы Ленин из гроба нынче, в тридцать седьмом году... взглянул бы! Куда девались ближай-шие его соратники? Кто правит миром? Что осталось от Октя-бря? Глазам своим не поверил бы!

— Вы убеждены?

— Стоит представить себе, хотя бы на секунду: Ленин в наше время, Ленин рядом с Этим. Ленин — и Ежов! Волосы встают дыбом!

— Игра вашей фантазии... Взгляните со стороны, глазами историка. Советская власть — на месте, партия — на месте, экономика, техническая база... Ленин был, прежде всего, вели-кий реалист.

— По-вашему, все это совместимо? Советская власть и ти-рания? Ленинизм — и ежовщина... Вы считаете это естествен-ным?

— На какой-то стадии... При известных обстоятельствах.

— Нет, нет, не виляйте! Скажите: совместим ли марксизм, социализм — со зверствами, репрессиями, лагерями? Убийца, деспот, под личиной марксиста — это, по-вашему, возможно?

— Но... Это же два различных плана! Политика и мораль...

— И это говорит заключенный... Жертва сталинского терро-ра!

— Не советую на эту тему распространяться: Киров, съезд, выборы... Выбросьте из головы! Мало вас, видно, учили!

— А что? Я ведь так только, к слову! Вам одному...

— И вообще, этот треп: «Ежовщина! Ежовщина»... Какая ежовщина? Никакой нет ежовщины!

— В таком случае... Как, в таком случае, вы все это назове-те?

— Что «это»?

— Ну, все вместе взятое... Весь этот кошмар, безумие это...

— «Кошмар», «безумие»... надо как-то придерживаться поли-

тической терминологии. Мы все-таки, политики!

— Ну... произвёл этот, репрессии... Террор! Не лезет же ни в какие ворота!

— О, Боже! «Ворота»... Слова какие!

— Я имею в виду: противоречит самой природе социализма!

— Но почему? Кто вам сказал — противоречит? Что, собственно, противоречит?

— Как же! Липовые эти процессы... Следствия, допросы эти, лагеря...

— Процессы — они и были, испокон веков. Процесс эсеров, процесс меньшевиков... Двадцать второй год, вспомните, Вандервельде приезжал. Шахтинское дело, промпартия... УВО... И лагеря наши тоже не новость. Соловки — когда были? Скоро, даст Бог, юбилей справлять будем! Думаете — тогда не было всех этих фокусов? Ночные бдения, допросы, признания... не извольте сомневаться, все опробовано, проверено на практике... Многолетний опыт!

— Какое же сравнение, помилуйте! Двадцатые годы, только-только кончилась гражданская война... Разгром контрреволюции, подавление классового врага. Пролетарская диктатура — никто же не собирается от нее отказываться...

— Я и говорю вам: никаких противоречий... Любишь кататься — люби саночки возить.

— Но мы, мы с вами, весь наш этап! Какие мы классовые враги? Курам на смех...

— Напрасно вы думаете, куры здесь совсем уж ни к чему. Враги врагам рознь, разные, батенька мой, бывают враги. Враги подлинные — и мнимые, открытые — и скрытые, реальные — и возможные, потенциальные. Враги заклятые, злобствующие и враги половинчатые, виляющие, и нашим — и вашим, двурушники, так называемые, самые, между прочим, ненавистные! «Враги», вообще, — понятие в высшей степени гибкое. Вчера — троцкисты, сегодня — бухаринцы, завтра — шептуны, анекдотчики всякие... Дело, если хотите, не в конкретных носителях — я, вы, кто-нибудь еще, важна мишень, по-

стоянная мишень для прицела... Сегодня на мушку попали мы с вами.

— Какой смысл — плодить врагов?

— О-о-о-! Великий смысл! Мудрый государственный расчет! Нашему брату только намекни: точка, дескать, нет больше врагов! Сошли на нет, вывелись... С нами сладу не будет, начнем рассуждать, допытываться: государство, борьба классов, диктатура... НКВД? К чему, для чего, для какой надобности? Тысячи всевозможных вопросов...

— Интересно у вас получается: никакой ежовщины... Все выходит так и заметано, согласно программе и уставу... Так, что ли?

— Во всяком случае, ничего сверхъестественного, неожиданного. Разве что — масштаб, размах, так сказать, ежовы, так называемые, рукавицы! Тоже — не его заслуга, продиктовано временем...

— При чем тут время? 1937 год, торжество социализма! Морально-политическое единство народа! И вдруг — враги народа! Мил-ли-о-ны врагов! Почему вдруг?

— Ничего вы, батенька, не смыслите в медицине! Ровным счетом ничего. Когда же еще, если не теперь, подумайте. Все, слава Богу, подобрано, прибрано к рукам, зажато, никто пикнуть не смеет! Самое время, игра без проигрыша! На марксистском языке — обострение классовой борьбы! Или — что то же — репрессии в геометрической прогрессии...

— Вам все — хиханьки да хаханьки! Не представляю, как можно шутить на такие темы!

— Просто диву даешься: люди мудрствуют, головы ломают, ищут... Правой рукой за левым ухом! А ключик — вот он, под самой рукой...

— Вы имеете в виду...

— Да, да! Диверсия! В чистом виде!

— Чья диверсия? Позвольте...

— Гитлера, чья же еще? Немецкого райха.

— Прошу прощения, мы говорим с вами, должно быть, о разных вещах. Я говорил о ежовщине... Нарком НКВД, Ежов!

— Он и есть: агент Гестапо! Личный эмиссар Гитлера! Не один, конечно, шайка... Возглавляет Ежов!

— Вы спятили! Громадный аппарат НКВД, могущество это... Верховный хозяин страны! Вы отдаете себе отчет?

— Хозяин положения, в этом весь ужас. Все ключевые позиции — в его руках: органы безопасности, армия, вплоть до аппарата ЦК. Всюду — его ставленники.

— Сталин, подумайте! Куда смотрит Сталин?!

— Опутан, с ног до головы. Окружен ежовскими молодчиками, по сути — изолирован.

— Но... это ведь конец! Государственный переворот!

— Конец и есть, разве не видно?

— Бред, никогда не поверю! Детектив...

— А что? История с Кировым — не детектив? Бухарин, Рыков, Крестинский — не детектив? Политика, вообще, кончилась, пошла уголовщина...

— Мы с вами, выходит, тоже уголовный элемент. Так, что ли?

— Не о нас речь, мы в данном случае — десятая вода на киселе. Главная цель — верхушка, обезглавить руководство, власть захватить.

— А мы при чем? Миллионы репрессированных, на черта мы ему понадобились, хотя бы фюреру?

— Что тут непонятного? Массовый террор, паника... Психологическая война, так называемая! Все по плану.

— Ловко придумано, не придерешься. Главное, винить вроде некого...

— Я про что и толкую.

*

— Смею вас заверить, чепуха все это, от начала до конца. Как говорится, ерунда с маком, на постном масле! Очередная кампания, только и всего...

— Ничего себе кампания — ежовщина... Головы летят!

— Перегибы, дорогой мой! Самые обыкновенные перегибы... Что мы не знаем — что такое перегибы?

— Вы говорите так, как если бы речь шла о каких-нибудь мясозаготовках... Облигации какие-нибудь, подписка на заем. Человеческие жизни, поймите!

— Кампания есть кампания! Установка из центра, плановое задание, разверстка по районам... Инициатива мест! Места, конечно, преребарщивают! Аресты, думаете, производятся так, на фу-фу? Кому что взбредет? Как бы не так! Каждому району — контрольная цифра, срок, дата... Строго по плану!

— Ужас! Как вы можете так говорить!

— Охота вам мучить себя, ужасы нагромождать! Перебиться надо, перетерпеть... Пошумят, наломают дров, доведут до белого каления: враги народа, диверсанты, шпионы... Потом команда — от-бой! Как будто и не было ничего... Что мы не знаем, как сие делается?

— Отбой — после нас уже. Нам не дожить...

— Бросьте вы, ей-Богу. Поверьте — к нам еще явятся с повинной... В ножки кланяться будут, извиняться перед нами, помните мое слово! Ошибочка, дескать, произошла, не взыщите уж... За нас с вами кое-кого еще за жабры возьмут, голову даю! А ну, скажут, голубчики, вы куда смотрели, отчитывайтесь....

*

Кто в лес, кто по дрова. Перегибы, Киров, семнадцатый съезд партии. Коварный фашистский заговор, Ежов, Сталин, политическое завещание Ленина... Мрачная загадка века, она запутывалась все больше и больше, и в непролазных ее сетях барахтались, как рыба в черпаке, четыре сотни обезумевших людей, а среди них, самый из всех непонятливый, бестолковый, доктор химических наук, борец за мировую Коммуну, оборванец этот — Грант... Он шнырял втихомолку между нар, ловил, затаив дыхание, обрывки фраз, намеки, усмешки, что-то про себя засекал, сличал, сопоставлял. Содрогался, хватался за голову... Над замутненным его сознанием, застилая землю и небо, и дремучий лес на проплывающих мимо безлюдных берегах

Печоры, громоздилось и нависало стоголовое это чудовище, неумолимое, беспощадное, грозное, под загадочным и злоевшим именем: ЕЖОВЩИНА...

И все же, Павел, это было еще не самое для тебя страшное, сознайся. Нашлось для тебя нечто пострашнее, и это «нечто» высывало голову откуда-то изнутри, из самых недр твоего существа. Какой-то въедливый внутренний голос, он стал ни с того, ни с сего преследовать тебя, издеваться над тобой, стыдить, науськивать тебя, он прожужжал тебе все уши, и это было, пожалуй, похлеще всякой ежовщины. Ты вдруг во всем разверился, усомнился, потерял критерий истины.

* * *

Нашелся, оказывается, властный, могучий аккорд, полностью перекрывший всю эту царившую на «Авроре» разноголосицу, подавивший все вообще голоса вселенной. Некая навязчивая идея, она взяла верх над всем прочим, сплотила воедино весь этот разноязычный человеческий поток, всю эту шушеру, именуемую этапом, всех объединила под единым всепоглощающим девизом: «За что, скажите? За какие грехи?» Они вцепились судорожно в этот свой щит с поразительным единодушием, ныряли под него, головы прятали, жались друг к другу, в сотый раз выкладывая один другому свои затаенные обиды, находя в этом целительную усладу и взаимное утешение.

«За что, подумайте! Без вины виноватые!»

— Десять лет на руководящей работе! Какие, заметьте, годы... Троцкизм, Ленинградская оппозиция! Левые, правые... Ни разу, понимаете? Ни на чем не споткнулся... Доклады, лекции, командировки, дважды выезжал с пропгруппой ЦК! Донбасс, Урал. Районную газету редактировал. И вот — не угодно ли? «Доложите следствию, когда возглавили подпольный троцкистской центр? Год, месяц...» Это я-то — глава троцкистского центра! «Вспомните, — говорит, — ваше выступление на комсомольском активе»... Какой актив, помилуйте! Я не был никогда комсомольцем, с двадцатого года — член партии, минуя комсомол. «Нет уж, голубчик, не отпирайтесь». Вытаскивает

какую-то газетенку пятнадцатилетней давности: действительно, какое-то мое выступление: «Комсомол обязан задавать тон в строительстве социализма»... Выцарапали откуда-то! Позвольте, говорю, какая-то случайная фраза, ничего же нет! Пятнадцать лет партийной работы, ни одного взыскания! Влепили мне: КРТД, пять лет! Северные лагеря...

— Прошу прощения: все-таки у вас хоть что-то, какое-то выступление... Пустяк, конечно, но все же есть к чему придаться. У меня и этого нет, ровным счетом ничего! С девятнадцатого года, без сучка, без задоринки! В двадцать девятом году назначили председателем комиссии по чистке — о чем-нибудь это говорит, как вы думаете? Я шел на допрос с высоко поднятой головой! Ни малейшего пятнышка. И что бы вы думали? «Кем завербованы?» Он с этого и начал: «Кем завербованы в троцкистскую контрреволюционную организацию?» Шутка, думаю, не иначе, как шутка! Через день — очная ставка. С кем? Вам в голову не придет! Крестничек мой, в двадцать девятом году самолично из партии его выгонял... Восстановился, представьте! Теперь примчался, уличать меня явился...

— Все шиворот-навыворот! У меня, например: «развал колхозного строя». А кто, спрашивается, создавал его, колхозный этот строй, если не я? Допытываюсь у следователя: какой из меня вредитель? Объясните мне! Из года в год — на хлебозаготовках, зерно выколачивал, план выполнял. Всегда впереди других, первый по области... У меня характеристики, грамоты, могу представить. «Ты, говорит, самый отъявленный вредитель, доказано фактами, показаниями очевидцев. Семенной фонд вывозил, обрекал людей на голод, на голодную смерть. Подрывал саму основу»... Я, конечно, на дыбы: директива Обкома партии, вы должны знать! Государственный план прежде всего! Вывезти все до грамма! Ничего не оставлять! Запросите у секретаря Обкома, он не откажется. Пожалуйста: пятьдесят восемь — семь, вредительство...

*

— Лотерея, братцы, лотерея, кто что вытянет! Я вытянул нацвопрос: украинский национализм, Петлюровщина... Доказываю следователю: «Какой я петлюровец, взгляните! Еврей, с головы до пят! Меня самого во времена Скрыпника гоняли, как сидорову козу». — «Бросьте, бросьте, — говорит, — видали вы когда-нибудь такого еврея: Ворона, Опанас Иванович?»... Я, признаться, обрадовался, недоразумение, дескать, сейчас разъяснится. «Правильно, — говорю, — Опанас Иванович Ворона; после Октября, не секрет, все перекрасились, все мои товарищи. Политика, знаете, она к чему-то обязывает... А был я: Воронель, Пíня Волькович, только и всего!» Вытаскивает он паспорт мой, сует мне под самый нос: «Читайте: национальность — украинец. Кто писал, Пушкин? — зубы скалит, издевается. — Ну, Опанас Иванович Воронелькин, проворонили?» Взмолился я: «Еврей, русский, какая разница? Большевики мы, интернационалисты»... Хохочет: «Вы нам очки не втирайте, рассказывайте: ваши контрреволюционные связи с Центральной Радой»...

* * *

Они били себя в грудь, клялись, негодовали, упивались обидами своими, заслугами перед партией, и этот их пафос и единодушие вызывали в тебе, Павел, смятение и растерянность. Вещи, на первый взгляд предельно ясные, недвусмысленные, стали вдруг расплываться, поворачиваться вверх ногами, утрачивая при этом свой смысл и значение.

О чем шумите вы, плачетесь на что? Без вины заклеянные, преданные, невинно пострадавшие... Жертвы клеветы, обмана, растоптанные, вырванные из жизни, закону вопреки, вопреки даже здравому смыслу. Так-то оно так, спору нет, в этом ли, однако, суть? Перед лицом Закона, высшего, справедливого, неподвластного Времени — пристало ли вам головы задирать, претензии предъявлять, непорочность свою доказывать? Клясться верностью своей, непогрешимостью, незапятнанностью и чистотою совести своей?

«Без вины виноватые»... «Жертвы мы, невинные жертвы

Ежовского произвола». «Они, они во всем повинны! Предатели, братоубийцы, их кровавыми руками все творилось»...

Кто же, однако, эти «они»? Откуда возникли вдруг, высыпали, как грибы после дождя, расплодились... Миллионная рать предателей этих, клеветников, доносчиков, лжесвидетелей... Следователей, обвинителей, судей, так называемых... Военных и штатских, в мундирах и без мундиров, партийных, беспартийных, ученых и неучей, молодых, старых. «Опричнина» эта, хлынувшая вдруг из-за каждого угла, — кто высеял ее, вы хоть подумали? Вы не допускаете ли, что они — это вы, и обратно, вы — это они, из одного теста вылеплены, одна и та же мать вспоила всех, вскормила, можно как угодно перемешать, переставить — ничего от этого не изменится. Вас, по сути, это-то главным образом и терзает: почему нас? Почему других не коснулось? Чем мы хуже других? Вы всей душой рветесь, туда, назад, в утраченный рай, вы только об этом и мечтаете. Можете быть уверены: «они» убедят вас, при первой же с вами встрече, докажут вам именем Маркса, Ленина, Сталина, что не они суть виновники зла. У каждого найдется своя лазейка, алиби свое...

Печать поколения — об этом следует, прежде всего, помнить. Она на всех нас, на спинах наших, на нашей совести. Она не смыта еще, не вытравлена, нам предстоит еще отмаливать грехи свои. Не мойте же руки раньше времени, не стройте из себя праведников, хотя бы перед Грантом. Он бежал от коричневой чумы, ему посчастливилось добраться до Мекки... Он увидел живое воплощение мечты своей, коммунистический Рай, Россию... Взгляните на него, во что мы его превратили? Все мы перед ним в ответе, все вкупе. Не юлите же, не увильвайте!

Ты сделал попытку сунуться с этой своей философией к Грантику, втолковать ему.

— Видите ли, Грант, нельзя подходить к этим нашим советским делам с обычными мерками: «насилие», «тирания»... Насильников этих человечество перевидало на своем веку немало,

Цезарей всяких, Иванов Грозных... Не так уже все это оригинально, в конечном счете, все списывается, как плата за «прогресс». Дело, следовательно, вовсе не в ежовщине, как таковой. И не в том даже дело, что на этот раз братоубийство приняло чересчур уж остервенелый характер, тоже ведь, не так уже ново: «Каин, где брат твой Авель?» Убийца, он убийца и есть, испокон веков, здесь нет еще никакой особой загадки. Авель! Несчастный Авель — вот в чем гвоздь вопроса... Его ведут на заклание, тащат на аркане, и он следует, не упираясь, безропотно, покорно. Авель, младший брат, народ то есть, из него, оказывается, веревки можно вить... Куда девалась строптивость его, гордыня? Конечно, сила устрашения, не всякий устоит. Однако не так еще давно, они были смельчаками, шли на муки, на верную гибель. Тот самый Авель, тот же народ, — какую показал силищу! Одним броском — на тысячу лет вперед! Европу обскакал, новую открыл эру... И что же? Четверти века не прошло, что осталось от нашего Авеля? Ему ничего больше не нужно, он знать ничего не хочет, только бы выбраться, ноги унести... Секрет Ежовщины — в этом!

Ты слишком увлекся, Павел, и не удосужился заметить перемену, вдруг происшедшую с Грантиком. Он неожиданно ожил, встрепенулся, глаза его вдруг блеснули. Взглянув на тебя с радостным изумлением, точно впервые тебя разглядев, он восторженно пробормотал:

— Авел! Это хорошо! Это очень хорошо!

Этот его восторг показался тебе весьма подозрительным, восторгаться тут, казалось бы, не было никаких оснований. Он, должно быть, истолковал тебя по-своему, вверх ногами.

— Вы о чем, Грант? — осторожно осведомился ты, не без некоторой тревоги в голосе.

— Очень хорошо, — повторил он, все так же сияя. — Каин Авел... Замечательно!

Чтобы как-то его образумить, ты счел нужным заметить:

— Хорошего мало. Во всяком случае, Грант, все, мною сказанное, носит сугубо русский отпечаток. У вас, у европейцев,

все это, наверняка, будет происходить по-другому. Менее хаотично и без этого изуверства, с меньшим кровопусканием...

На лице у него появилось выражение разочарования. Замявшись, он возразил:

— Муссолини, Гитлер — не Европа?

— Фашизм, — сказал ты, несколько озадаченный, — он долго не удержится. Сталин же — надолго, у него глубокие корни.

Грант снова развеселился, захопал даже в ладоши.

— Авел, Авел, брависсимо! — восклицал он с каким-то детским упоением, заглядывая тебе в глаза с видом заговорщика. — Советская Русия! Ветхий завет! Замечательно!

— Чему вы радуетесь, Грант? — спросил ты, недоумевая.

Он уже не слушал тебя. Переполненный своим каким-то, неизвестно откуда свалившимся на него счастьем, он поспешно ретировался, оставив тебя посрамленным. Философия явно обернулась против тебя.

— Так или иначе, лед тронулся, — попробовал ты себя утешить, довольный хотя бы тем, что тебе удалось как-то растормозить Гранта, вырвать его из заколдованного круга.

Действительно, вскоре после знаменательного вашего разговора Грант стал на глазах у всех воскресать, преображаться. Никто на «Авроре» не в состоянии был объяснить подоплеку этих удивительных его превращений, и ты склонен был заслугу эту приписать себе. Очень скоро, однако, обнаружилось, что философские твои ухищрения к эволюции Гранта никакого, самого даже отдаленного, отношения не имеют. Крестным отцом Грантика, ко всеобщему изумлению, оказался не кто иной, как сухарь этот, Кротов, начетчик, ходячий устав партии; именно к нему приткнулся Грантик, его именно избрал своим духовным пастырем и наставником. На чем-то они стакнулись, сплелись, и этот их неожиданный союз так и остался до конца лагерных дней никем не разгаданной загадкой. Один только Дулькин, он принимал этот странный альянс как нечто само собой разумеющееся; но это уже никого не могло удивить. Для Дулькина

вообще загадок не существовало, и лагерную жизнь он читал легко и бегло, без всяких запинок, как карманный справочник. В том числе и незаконный этот брак между Кротовым и Грантиком. Дулькин, кстати, сыграл впоследствии роль буфера между ними двумя — и «Преисподней».

И вот — полжизни прошло, многое с годами прояснилось, и цена на Кротовых не очень как будто возросла, а Грант по сей день все еще канителится с ним, возится, никак не решится поставить крест. Даже сейчас, в торжественный этот момент, у гроба твоего, Павел, они продолжают препираться, друг друга поддевать, ворошить старое-престарое Воркутское свое белье.

— Я знаю, Грант, вы считаете меня отпетым сталинистом.

— Тем лучше для вас. Сталин как будто снова входит в моду.

— Вы знаете, я никогда не гнался за модой.

— Вы догматик, Кротов. Он у вас в крови, догматизм ваш.

— Я не собираюсь отречься. Я и тогда не отрекался, вы должны помнить. «Догмы» эти спасли меня, помогли сохранить партийное лицо.

— Не спорю. Пятнадцать лет лагеря — они ничему вас не научили.

— Меня партия учила, мне других учителей не надо. Было время, Грант, вы думали так же.

— Двадцатый съезд партии, Кротов. Вам ничего не говорит?

— Говорит, говорит! Одного не пойму: ветхозаветный ваш Авель... Вы тогда бредили им днем и ночью: Авель! Авель! Теперь носитесь с двадцатым этим съездом! Где логика? Надо как-то связывать концы с концами...

6

«ДА, ВИНОВЕН!»

ПЕРЕМЕНЫ, так неожиданно приключившиеся с Грантом, застали тебя, Павел, врасплох: в один прекрасный день ты перестал узнавать Гранта. Он как-то остепенился вдруг, подобрался; все эти его фантазии по поводу мифической телеграммы, истерики на пристанях, домогательства, приставания к конвою — как рукой сняло, по крайней мере — с виду. Человек ни с того ни с сего преобразился, взял себя в руки. Он как-то даже расцвел, не стало в нем прежней робости, подобострастия, а при встречах с тобою он и вовсе выглядел победителем. Кому-то, оказывается, удалось, без особых, возможно, усилий, вышибить из Грантика всю эту дурь, возродить его, поставить на ноги. Кому же, черт возьми? Кто он, таинственный этот чудесник?

Тебя подмывало заговорить с Грантиком, порасспросить, выведать у него его тайну. Он, однако, всячески уклонялся, избегал встреч с тобой, а с некоторых пор вообще пропадать стал, проваливаться сквозь землю. Мог ли ты предполагать, что истукан этот, долговязый Кротов, что именно ему суждено было стать душеприказчиком Грантика, вдохнуть в него искру Божию, вернуть душевный мир и ясность духа? Какими чарами ухитрился он с такой молниеносной быстротой околдовать Гранта и добиться того, что не удалось тебе несмотря на все твои старания и ухищрения? Сам-то он, Кротов, всеми отвергнутый, презренный, обладает ли он бесценным этим даром душевного равновесия и ясности духа?

В этапе Кротова не влюбились с первого взгляда. Только что он показался на палубе «Авроры» — тут же все от него шараянулись, без всякой видимой причины. Он стал почему-то всеобщим пугалом; справедливости ради, следует отметить: он и сам не проявлял никакого решительно интереса к завязыванию зна-

комств, наоборот, впечатление было такое, что человеку этому никто на свете не нужен. Он окопался где-то на задворках, за кипятильником, свернулся ежиком, никаких признаков жизни не подавал. Вокруг него день и ночь галдеж, этап гудит, бурлит, не умолкает — Кротов знать ничего не желает. Уткнется в свои четьи-миней (он ни на секунду не расставался с заветным этим томиком: «ВКП(б) в резолюциях и постановлениях»), долбит... Не скулит, не ропщет, на вопросы не отвечает. Никто так и не смог добиться от него членораздельного ответа: откуда взят, статья, срок. Однако — шила в мешке не утаишь! Какие-то, в конце концов, обнаружились соседи по камере, однодельцы, в черном вороне кто-то его приметил, в общем — известно стало: не такой уже этот Кротов бессловесный! Какие-то высокие посты занимал, В Ленинградском Обкоме партии работал, в Красной профессуре успел побывать, статьи какие-то публиковал в журнале «Под знаменем марксизма»... Персона! В тюрьме, в период следствия, он, вообще, побил все рекорды: раздирал на себе одежду, плакал, писал во все концы — в ЦК, в ЦКК, лично товарищу Сталину. В камере со всеми подряд воевал, бичевал всех, обличал, прокуратуру вызывал, добивался перевода его в одиночку. В этапе он, правда, присмирел, отмалчиваться стал, молчанка эта, однако, никого в заблуждение ввести не могла. С первого взгляда было видно — человека распирает, душит, он вот-вот взорвется, достаточно малейшего повода. Повод, в конце концов, подвернулся, и не такой уже пустяковый. Совершенно случайно, без чьего бы то ни было умысла, всплыла вдруг эта тема, самая из всех страшная: она пролегалла где-то на грани между бытием и небытием, все были начеку, никто не рисковал приблизиться к этой запретной черте, и всех, вместе с тем, снесало любопытство, каждого тянуло — заглянуть в этот омут, дух захватывало... Тема Сталина! Зачинщиком на этот раз, по щучьему веленью, оказался Левушка Грабовский; сам того не подозревая, он-то и выманил зверя из логова. Кротов вопреки вылазку Левушки и весь вообще этот кощунственный разговор

как личное оскорбление. Очертя голову, он ринулся навстречу — яростно, страстно, с обнаженным мечом! Один против всех!

* * *

Разговор возник ночью, под покровом темноты. Именно возник, сам по себе, как сновиденье, — томительный навязчивый сон... Никто его не жаждал, все в страхе отмахивались, прятали головы под одеяла, делали вид, что не слушают, притворялись. Тишина, все как будто кончилось, все, слава Богу, выдохлись, исчерпались! Нет: чья-то запоздалая реплика, исподтишка, инкогнито... И вновь — сновиденье продолжается, плетет свои нити, гляди — не попадайся!

Один только Левушка Грабовский не лукавил; он лез в огонь беззаботно, не оглядываясь, со свойственным ему вдохновением. Ему в эту ночь не спалось; в голову лезли забытые стихи, отрывки из любимых поэтов, бессвязные, сырые строчки собственных, еще не написанных, стихов. Энергично размахивая рукой, он что-то про себя бормотал, нашептывал, тихонько напевал, пощелкивал в такт пальцами, блаженно улыбаясь. Вдруг лицо его исказилось; порывисто присев, он простонал:

— Ах, Мандельштам, Мандельштам! Бедный наш Осип Мандельштам! Забубенная головушка...

Кто-то ворчливо отозвался:

— Это еще что за птица? Моргенштам...

Другой голос возмутился:

— Не Моргенштам, а Мандельштам. Величайший советский поэт... Пора бы знать!

— Не слышал, не слышал. Маяковский — да, знаю. А этого...

— Ну и молчал бы! Лес дремучий...

В наступившей тишине что-то дрогнуло вдруг, разорвалось, безмолвие палубы наполнилось трепетным ожиданием и жутью. Закинув голову и не помня себя от восторга, Левушка начал, чеканя слово за словом:

Мы живем, под собою не чуя страны,

Наши речи за десять шагов не слышны,

А где хватит на полразговора —

Там помянут кремлевского горца.

Он застыл на полуслове, точно чего-то вдруг испугавшись, никто на палубе не шевелился, не дышал. После долгого молчания кто-то спросил — то ли по наивности, то ли с лукавством:

— Это про кого же так, а?

Не отвечая на вопрос, Левушка продолжал вполголоса, но внятно, с тем же самозабвением:

Его толстые пальцы, как черви, жирны,

А слова, как пудовые гири, верны.

Тараканьи смеются усища,

И сияют его голенища.

— Какой язык! — закончил он. — Никто, после Пушкина, не достигал еще подобной простоты.

Кто-то негромко пробормотал:

— Какая же это поэзия? Агитка... Политическая эпиграмма!

Левушка вскочил, рванулся в бешенстве вперед.

— Кто? Кто сказал — агитка?

Никто не откликнулся, и Левушка, все еще трепеща от негодования, произнес.

— Поэзия дерзостная, гневная — тоже от Пушкина... Поднять голос — против Самого! Развенчать! Свергнуть с пьедестала! Кто другой посмеет...

Несколько минут царило всеобщее оцепенение. Потом чей-то приглушенный голос осторожно проговорил:

— Чепуха все это... Никого он не развенчивал, не свергал, наоборот, вознес до небес. Богатырь, титан! На десять голов выше своего окружения.

Кто-то подхватил, стараясь сгладить восточный свой акцент и оттого еще более коверкая слова:

— Правильно товарищ сказал: сильный, выдающийся личност! Партию возглавил! Апазицию разогнал, Троцкого, Зиновьева, Бухарина — всех уничтожил. Гениальный государственный деятель! Как Ленин! Еще выше!

Чей-то голос буркнул и сразу же скрылся, замолк:

— А Гитлер? Тоже гений?

— Гитлер не теоретик, — возразил кто-то еще и прибавил с издевкой, — не марксист.

— Марксизм всегда подчеркивал роль сильных личностей, — без толку произнес чей-то тусклый, без выражения, голос.

И снова, после короткой паузы, послышался восторженный, обращенный внутрь себя, Левушкин голос:

— Мандельштам, — сказал он, — как никто другой знает цену этим сильным личностям. Он ненавидит их, священной ненавистью поэта!

Помолчав, он прибавил мечтательно, среди всеобщего затаенного молчания:

— Истинное величие — не в грубой силе! Величие духа...

— А Иван Грозный? Петр Великий? — кто-то размышлял вслух, или, может быть, прикидывался размышляющим вслух. — Наполеон? Не выдающиеся личности?

Волна холодного страха обрушилась на палубу, придушила людей, сковала языки. Кто-то взвизгнул тонко, по-бабьи:

— Господи! Когда-нибудь это кончится? Кому-то не терпится — второй срок заработать.

Долгое тягостное молчание нарушил все тот же бойкий, с восточным акцентом, голос; его задело за живое упоминание о Наполеоне.

— При чом Банапарт? — воскликнул он, срываясь со своего ложа. — Пралетарская ревалюцьа видвигает гасударственных деятэлей новово савершено тыпа... Ленин, Сталин! В чом сыла пралетарских важдей?

Не дождавшись ответа, он закончил:

— Каласальный авторитэт в масах! Без авторитэтнейших важдей — партия ничто, ноль без палочки. Правильно, нэт?

Кто-то поспешил согласиться:

— Без Ленина не было бы Октября, факт!

— А без Сталина? — кто-то, пользуясь потемками, явно подзуживал, подбрасывая хворосту в огонь. — Кто был Сталин в Октябрьские дни? Кто-нибудь слышал такое имя: Сталин? — Наркомнац, пешка.

— Тише, вы...

— Была пешка, теперь туз! На весь мир прогремел...

— Что-то, значит, есть... Незаурядное, выдающееся!

— Что? Что? Вы можете объяснить? — кто-то вдруг расхрипался, охваченный решимостью отчаяния. — Ничего же нет, пустое место... Индустриализация, колхозы — все от Ленина, ничего своего! Лагеря — и те не его выдумка... Что же остается — от великого, от мудрого?

— Сущий пустяк — эпоха...

Все всполошились, стали рыскать глазами по палубе, выискивать этот неожиданно молодой, почти юношеский голос. В углу, на крайних нарах, смутно белела в сумраке северной ночи чья-то широкая, окладистая борода, издали казавшаяся наклеенной, бутафорской. Как, впрочем, и сам обладатель этой роскошной бороды, в своем пестром халате, перехваченном поперек живота грязноватым вафельным полотенцем, также казавшийся призрачным, кукольным. Кто-то произнес с усмешкой:

— Наконец-то дед!

— Какой же он дед? Отрежь у него бороду, увидишь, каков дед.

— Неважно... Мудрец — он мудрец и есть, с бородой, без бороды.

— Давай, давай, профессура, говори!

Бородач в халате повторил с некоторым кокетством, и юношеский его голос никак не вязался с бородой, в полутьме казавшейся белоснежной.

— Эпоха... Безвестный этот Наркомнац сочинил, представьте себе, эпоху.

Кто-то возразил с ехидством:

— Это что же, в ИКП вас так учили? По Марксу, я слышал, немножко по-другому получается: не личности творят эпоху, наоборот, сами они — продукт эпохи.

— И то, и другое, — с готовностью согласился бородач, — одно порождает другое, одно переходит в другое. Например, Сталин — типичный «продукт», ничего, по сути, творческого,

своего, сплошной плагиат... Эмпирик, до мозга костей. А эпоха — сталинская, попробуйте, возразите! Все перекроил по своему, по образу своему и подобию... Вохра, ээки, мы с вами, распрекрасная наша «Аврора», все, как есть — евонное, сталинское! Стиль, весь секрет — в стиле...

— Выходит, что же, — кто-то тяжело вздохнул и с тоской выдал из себя, — гений, все-таки? Титан? Лицо эпохи...

Не задумываясь, бородач пояснил, все с тем же непрекращаемым апломбом:

— Титан — среди пигмеев. Великий — среди малых, ничтожных. Гениальная посредственность, если позволено будет так выразиться.

Немного подумав, он прибавил:

— В этом, собственно, и заключается глубокий смысл мандельштамовского намека на «тонкошеих вождей».

* * *

На этом, возможно, и закончился бы ночной этот разговор, не вздумай Левушка Грабовский возобновить свою мелодекламацию. Вытянувшись во весь свой небольшой росточек, он снова принялся за Мандельштама:

А вокруг его сброд тонкошеих вождей,

Он играет услугами полулюдей.

Как подковы кует за указом указ:

Кому в лоб, кому в бровь, кому в пах, кому в глаз.

Тут-то и вынырнула из своего укрытия длинная, как жердь, фигура Кротова, с продолговатым, гладким своим черепом и свисающими, как у гориллы, лапами. Он, должно быть, все слышал, от начала до конца. Остановившись среди нар, он заговорил глухим, монотонным голосом, с трудом подбирая слова и с размаху, как камни, швыряя их в пространство:

— Конец-то, выпустили свое жало... Змеи подколодные, вы и здесь продолжаете злопыхательствовать, жалите исподтишка, оскверняете имя Его... Грязной метлой Он прошелся по Советской земле, вы простить ему не можете... На что вы рассчитываете...

те? Мандельштамы сгниют в лагерях, и заодно с ними — единомышленники, пасквилянты...

Судорога пробежала по нарам, палуба в мгновение ока вымерла вся, заглохла. Кротов продолжал молча возвышаться среди мрака, с высоко задранной головой и блуждающей улыбкой на застывшем, изможденном лице. Никто не подавал признаков жизни, не поднимал головы; один только Левушка Грабовский во все глаза, не отрываясь, глядел на зловещую фигуру Кротова, и губы его беззвучно шевелились, не в состоянии вымолвить ни слова.

— Что же вы, братцы? Кротова не узнали? Тоже ведь — знание эпохи.

С юношеской легкостью скатившись с нар, бородач в халате подошел к Кротову и без всякого, казалось смысла, наобум, первое, что подвернулось на язык, произнес:

— Скажи-ка, дядя, ведь не даром...

— Но-но, брось эти штучки, — угрожающе огрызнулся Кротов, сделав шаг назад, — слышал я твои медовые речи, помню тебя.

— Так вот, — продолжал как ни в чем не бывало бородач, — сто лет прошло, а Лермонтова каждый юнец знает! Все помнят, чтут... Пройдет еще сто лет — будут помнить Мандельштама, чтить его имя, стихи учить...

Кротов продолжал стоять навтыяжку, молча, с устремленными вдаль глазами, будто действительно пытаюсь заглянуть туда, в это будущее, на сто лет вперед.

— Как жить будешь, безумец? — продолжал наступать бородач. — Жить-то тебе не в Кремле, со Сталиным. С ними жить, — он широким жестом обвел палубу, — на нарах валяться, сухари лагерные сосать.

Он замолчал, не сводя глаз с лица Кротова, по которому все еще блуждала бессмысленная усмешка. Глухой гул прокатился по палубе и тотчас же оборвался, заглох. Кротов пробормотал:

— Не сухари... камни буду грызть, все равно не отступлюсь. Не стану порочить, предавать...

— Грязной метлой, говоришь, — перебил бородач. — Она и тебя, однако, прихватила, метла эта не миновала тебя... Как же так, ты можешь объяснить?

Кротов ссутулился, упрямо мотнул головой:

— Таких, как мы с тобой, — сказал он загадочно, — в первую очередь...

— Не мы одни! В этапе четыреста человек, стар и млад... Их за что, ты подумал?

Лицо Кротова окаменело, глаза потухли. Он прохрипел во всеуслышание, на всю палубу:

— Четыреста... четыре тысячи... четыреста тысяч... Не нам считать! Есть Партия, она решает. Воздаст каждому — по заслугам.

Тишина на палубе треснула, наконец, не выдержала, разорвалась в клочья:

— Глумиться пришел, гадина!

— Не глумиться, людей губить!

— Продажная твоя душа, серебренники куда девал, скажи.

— Он себя еще покажет, ждите!..

— Выродок, изверг!

— Утопить такого не жалко!

— Не мы его — он нас!

— В трюм его, к ортодоксам!

— Да, да, — в «Преисподнюю». Они вправят ему мозги...

Кто-то подобрался к нему вплотную и, отстранив бородача, выкрикнул в лицо Кротову:

— Тебя, святоша, за какие заслуги? Признавайся!

— Пятнадцать лет, все-таки, — вставил кто-то, становясь рядом. — Не всякий удостоился.

— За какие подвиги — докладывай!

— Оставьте его, — бородач снова продвинулся вперед, заслоняя Кротова. — У нас здесь не военный трибунал.

— А ты, профессор, не загораживай! Тебя же первого — продаст!

— Виновен — или нет, пускай скажет!

— Скажи, Иуда: да или нет. Чего молчишь?

Кротов покачнулся, поднял руку, как бы для крестного знамения, и глухим, но внятным голосом, торжественно, как под присягою, отчеканил:

— Да, виновен!

От неожиданности все кругом замерли, остолбенели.

* * *

Согласись, Павел: он не так уже нуждался в твоём заступничестве, этот Кротов. Никто не собирался, после ночного этого скандала, четвертовать его, сводить с ним счеты; на него просто плюнули, махнули рукой. Долгими днями не вылезал он из своего закоулка, никем не замечаемый, брошенный, никому не нужный. Его обходили за сто верст, никто не удостаивал его добрым словом. Не говоря уже о том, чтобы поделиться с ним крохами своими, куском хлеба насущного. Он, между тем, сох с каждым часом, тошал и тошал, и в глазах у него ни на минуту не потухал голодный волчий огонек; с наступлением же темноты его сутулую фигуру безошибочно можно было обнаружить у помойного ведра, он постоянно рыскал там в поисках объедков. Дело, впрочем, не в этом; в конце концов, все в этом смысле находилось в равном положении, всех мучил голод, томила жажда, у всех слюнки текли при одном лишь напоминании о куске мягкого, пахучего хлеба. Тебя, Павел, удручало в Кротове другое: нависшее над его головой проклятье, вакуум, в который он сам себя загнал, и редкостный этот стоицизм, с которым он нес свой тяжкий крест. С трудом удерживался ты от того, чтобы не перешагнуть, не нарушить негласного вето и не протянуть руку братской помощи этому парии. Фантазия твоя разыгралась во всю: ты готов был с пеной на губах утверждать, будто именно он, Кротов, самый среди вас обездоленный, самый несчастный. Он, как никто другой, испил чашу до дна; на его именно долю выпало — познать всю боль, всю меру унижения. Никаких скидок, никаких уверток — на себя одного, на собственные плечи взгромоздил он непосильную свою ношу. Не восстает, не бунтует, по примеру других; один, как перст, валяется он на своей подстил-

ке, вознося до небес карателей своих, без всякой надежды на спасенье. Жалкий, бездомный пес! Хозяева избили, изуродовали его; выгнали со двора вон; на шее у него болтается обрывок веревки; его вот-вот удавят, прикончат... Бежать бы ему без оглядки, пока душа в теле, шкуру свою спасти... Нет, он хвостом виляет, ловит истязующую его плеть, руку хозяйскую ловит, норовит лизнуть — возможно ли зрелище более тягостное, удручающее? Вправе ли кто бы то ни было клеймить его, превосходство свое показывать? Десятки лет молился он своим богам, верил в них, душу за них положил; и теперь продолжает цепляться, поклоны бить — ничего у него больше не осталось. Не будем же чересчур к нему строги, согласитесь: не всякий способен одним росчерком пера все сразу перечеркнуть, сломать, повернуться спиной...

Тогда-то, Павел, ты вытащил на свет Божий сомнительную эту находку: терпимость! Ты вбил себе в голову, что нашел некий талисман, панацею от всех бедствий: терпимость — этим будто бы все сказано!

Терпимость к чужим вкусам, повадкам, привычкам; к чужим слабостям терпимость, к чужим прегрешениям, порокам; терпимость к чужому мнению, чужим убеждениям, идеям; к чужой вере, чужим предрассудкам, заблуждениям...

Терпимость во всем, согласие, снисходительность — разве не в этом основа подлинного союза людей, их единства, братства? Не это ли стремление к единению, ко взаимопониманию, заложено было в самой революции, в идее социализма? И если не это, не добрая воля, не терпимость, то что же? Мертвые догмы, доктринерство, инквизиция? В мертвечине этой захлебнулось уже однажды чело́вечество, растеряв немеркнущие ценности христианства. Наше поколение нашло для себя новую веру — неужели ей уготована та же участь?

Короче говоря, ты взял на себя, Павел, неблагодарнейшую миссию: во что бы то ни стало выгородить Кротова, изобразить его казанским сиротой, новейшим вариантом короля Лира... Само собою разумеется, ты попал в глупейшее положение: у же

не Кротов — ты, со своей проповедью милосердия, стал главной в этапе мишенью. «Новое течение в ленинизме, слушайте!», «Павел Малашкин интерпретирует Ленина!», «Мирное сосуществование идеологий!», «Христианский социализм: согласие, всепрощение, терпимость!», «Ленин — тринадцатый по счету апостол!», «Дорогу Кротовым! Мир и дружба с тюремщиками!»

На тебя стали с подозрением коситься, присматриваться к тебе; когда же разыгрался новый этот фарс с Грантиком, тебе и вовсе житья не стало. На тебя стали вешать всех на свете собак: Малашкин во всем виноват! Это он поднял Кротова на щит, он возвел его в ранг великомученика; он толкнул лягушонка этого, Гранта, в пасть акулы, теперь попробуй, вытащи... И подлинно: сентенции твои, должно быть, окончательно сбили с толку Грантика; он без оглядки бросился в объятия Кротова. Он зашел при этом слишком уж далеко, гораздо дальше, чем ты мог предположить. В лице Кротова он открыл для себя некую программу, символ веры, которой так ему недоставало. Отсюда, собственно, и начались баснословные эти метаморфозы с Грантом, его второе рождение.

Грант просто прилип к новому своему божеству. Он в рот ему глядел, подхватывал каждое его слово, угадывал каждое желание. Он таскал ему жалкий свой пай хлеба, за кипятком для него бегал, писчую бумагу, карандаши доставать для него изловчился, словом — раньше времени постигать стал выучку лагерного дневального на побегушках. Он даже перебрался к шефу своему поближе, устроился где-то в ногах у Кротова — в этапе по этому поводу пошли анекдоты сочинять, охотиться за Грантом, донимать весьма прозрачными намеками, вопросы двусмысленные задавать.

— Как живем, Грант?

— Лутше всэх!

— С каких же это пор — лучше всех, а?

— Говорят — медовый месяц у тебя...

Грант счастливо улыбался, утвердительно тряс головой:

— Интересно... Оч-чен интэресно!

— Семейная жизнь — великое, брат, дело! Особливо — в лагере...

— Ты не смущайся, Грант, рассказывай... Свои люди!

Грантик несколько не смущался, не отпирался: он ничего ровным счетом не понимал в этих намеках, не подозревал никаких подвохов и охотно откликнулся, с готовностью отвечая на вопросы. Он был по-прежнему со всеми ласков, предупредителен, плюс к этому — что-то новое появилось в тоне у него, приподнятость какая-то, действительно — медовый месяц... Все сгорали от любопытства: Грантик — и Кротов! Что может быть общего? Грантик, что ни говори, на голову выше! Неужели же? Чушь! Никто не поверит! Стоит взглянуть в глаза Грантику — голубое, ясное небо! Не может человек с такими глазами притворяться, очки втирать.

Грант, между тем, носился по палубе, не в силах скрыть своего торжества. Физиономия его сияла от восторга, она как бы возвещала всем и каждому: а я что-то знаю, знаю... Его явно подмывало с кем-нибудь поделиться, раскрыть душу, но Кротов, должно быть, основательно его приструнил, и Грант изо всех сил тянулся, придерживал язык за зубами. Из отдельных его восклицаний можно было все же заключить, что Кротов — человек необыкновенный, что любое кротовское слово — откровение, что его Докладная записка — кладезь мудрости... Тут Грант умолкал, делая мучительное над собой усилие удержать себя, не выдать тайны.

— Что-то грандиозное, — заговорщическим тоном ронял он, осторожно озираясь. — Новое евангелие, философия эпохи...

В конце концов, он не удержался, приоткрыл завесу. Одному лишь тебе, Павел, рискнул он доверить свой секрет и то чуть-чуть, намеками, с тысячью оговорок: именно — только край завесы, не более того...

* * *

Секрет, оказывается, заключался как раз в этой Докладной записке — Кротов именовал ее Новым Заветом. Записка предназначалась им для ЦК Партии и начата была еще в тюрьме; за-

кончить свой труд он рассчитывал в ближайшем будущем, уже в лагере: «Ничего, и в зоне, при желании, можно выполнить свой партийный долг».

В основу Записки положены были три кита — три основополагающих идеи: 1. Идеология — решающее звено современности. 2. Троцкизм — ударная сила антикоммунизма. 3. Единомыслие — краеугольный камень партийного устава.

Грант был в неопишемом восторге; у него, уверял он, завеса спала с глаз, все вокруг прояснилось, предстало в новом свете. Больше всего его захватило «Введение», посвященное философскому обобщению самой сущности современного исторического этапа. «Вы послушайте, Павел, послушайте!»

«...Ключевую особенность нынешней стадии — третьей по счету стадии коммунистического строительства — можно выразить однозначно: *идеология!* Контроль над сознанием...»

Концепция Кротова, изложенная им во «Введении», показалась Гранту поразительной по своей простоте и ясности. Три фазы строительства социализма. Первая, послеоктябрьская, — Кротов назвал ее Ленинской фазой — утверждение политического господства партии, подавление крупного капитала и его агентуры, всеобъемлющий контроль партии над политической жизнью страны. Вторая, послеленинская, названная Кротовым материально-технической фазой: завоевание партией экономического господства, подавление мелкой собственности, всеобъемлющий контроль партии над экономикой страны. Третья и последняя, нынешняя стадия — Кротов окрестил ее Сталинской фазой — утверждение господства коммунистической идеологии, всеобъемлющий контроль партии над мышлением, над сознанием людей. На этом последнем, Сталинском, этапе все коренным образом меняется, по сравнению с предшествующими двумя фазами, особенно же — по сравнению с начальной, Ленинской фазой: масштабы классовой борьбы, формы, методы, расстановка сил... По сути — здесь нет больше классового врага в прежнем понимании этого слова: монархисты, белая гвардия, кулачество — все это отходит в область преданий. На этой

именно почве возникает куча кривотолков, заблуждений, теоретической путаницы, в частности, в связи с событиями самых последних лет, получивших крылатое название «Ежовщины»... Этой злободневной проблеме Кротов посвящает специальный раздел свой рукописи под сенсационным заголовком: «Социальная профилактика и так называемая ежовщина». Грант считает этот раздел самым из всех потрясающим: «Шедевр! Читай, как увлекательный роман! Не оторвешься!»

Он цитировал длиннейшие выдержки из этой главы на память, залпом, без сучка и задоринки.

...«Сколько исписано бумаги на эту щекотливую тему, — в упоении читал он зажмурив глаза, — сколько истерики, сколько крокодиловых слез! «Ежовщина!», «Избиение ленинских кадров!», «Огонь по своим!»... и т.д. и т.п. Сплошное лицемерие, фарисейство! Ибо любому, самому неискушенному в политике младенцу, нетрудно догадаться, что водораздел между «своими» и «чужими» переместился нынче в другую совершенно сферу: он пролегает сейчас не по Перекопскому перешейку, не по маршрутам Гражданской войны... Линия фронта проходит ныне где-то рядом, среди нас, внутри нас, в извилинах собственного нашего мозга. Сегодня судьба каждого в отдельности определяется им самим, она не зависит больше от социального положения, от ранга, от «заслуг»; ветеран ли ты, командарм, нарком — какая разница? Чем дышишь ты, что там у тебя за пазухой — вот что сегодня решает. Разговорчики, анекдоты... Мыслишки твои сокровенные, усмешечки, наедине с собой... О колхозах, например? О партийном режиме? Экивоки — в адрес вождя? Тут уже поблажек не жди! И не выдумывай, пожалуйста, научись называть вещи своими именами. Какая такая «Ежовщина?» Выдумка твоя, миф! Так называемая «Ежовщина» твоя — это партия сегодня, ее сегодняшний день, ее новые задачи, решения, новые ее кадры, наконец»...

— Блеск, не правда ли? — Грант пожирал тебя горящими от восторга глазами. — Новая постановка вопроса: контроль над мышлением.... Гениально! Конгениально!

Странное дело, Павел: ты слушал, не в состоянии слова произнести, тебя будто в цепи заковали. Ты съежился весь, обессилел, пальцем не мог пошевелить. Что случилось? Неужели кротовская эта мазня могла произвести на тебя какое-то впечатление, потрясти, вышибить тебя из колеи?

— Глупости, Грантик, отсебятина! — опомнился ты, наконец. — Бред сумасшедшего! Кто позволит? Подумайте!... Существует программа партии, план построения социализма, коммунизм у порога, вот-вот... Конституция СССР, новенькая, с иголки: свобода слова, печати, свобода совести... И вдруг — какой-то Кротов, контроль над сознанием... Пусть лучше не суется, в порошок его сотрут, предупредите его!

Грант взвился, пришел в неистовство: при чем тут конституция, программа партии? Кротов как раз настаивает: менять! Все решительно менять, камня на камне не оставить! Конституцию, Уголовный кодекс, нормы партийной жизни, программу, устав — все заново, в соответствии с духом Сталинской эпохи! Павел представления не имеет, что такое Кротов и его Докладная записка. Революция в марксизме! По крайней мере он, Грант, благодаря только Кротову прозрел, нашел для себя точку опоры.

Спohватившись, Грантик умолк: его охватило опасение, не чересчур ли он разоткровенничался и не слишком ли далеко зашел в пропаганде сокровенных воззрений автора Записки.

* * *

Конечно же, Кротову не стоило особого труда внушить Грантику, что сам он, Грант, не составляет исключения из общего праила. Наоборот, он представляет собой нагляднейшее его подтверждение и как коммунист обязан прежде всего — безоговорочно, чистосердечно, честно осознать свою вину и подтвердить справедливость понесенной кары: да, виновен! Он, Грант, трижды виновен перед партией.

В самом деле, давайте разберемся. Грант самовольно пересек границу, он ступил на священную советскую землю, никто не звал его, не приглашал; он сам, на свой страх и риск. Где гаран-

тия, что он, Грант, не стал при этом, помимо даже воли своей, игрушкой в руках фашистской разведки? Что он, помимо, быть может, ведома своего, не оказался вовлеченным в ее черные дела в качестве слепого орудия провокации, ширмы хотя бы... Может Грант поручиться головой своей, коммунистической своей честью, что этого нет? Может он принять на себя всю полноту ответственности за возможные последствия, за безопасность советского государства, его границ, самого его существования?

Это, однако, еще не все, далеко еще не все. Допустим на секунду, что Гранту удалось себя обелить. Ему как-то посчастливилось доказать, черным по белому, что все эти опасения на его счет совершенно беспочвенны; что нет за ним никаких решительно хвостов и что он именно тот, за кого себя выдает: австрийский подданный, химик по образованию, коммунист, бежал от гестапо, искал убежища в СССР — придраться не к чему, допустим. Подождите радоваться, подождите: пока еще только присказка, сказка впереди... Ибо речь идет в данном случае не о личной судьбе Гранта и не о частной его биографии: речь идет о чем-то гораздо большем, затрагивается судьба государства Российского, страны Советов, оплота мирового коммунизма... О нем-то, об этом оплоте, мы и обязаны подумать прежде всего.

И вот, оказывается: в великую эту советскую державу вклинивается в один прекрасный день чужеродное тело, некий Грант! Он, правда, считает себя марксистом, ленинцем, он ратует за мировой Октябрь, за социализм, так-то оно так, но... Долгие годы, десятилетия варился он, этот Грант, в зловонном котле капитализма, его воздухом дышал, впитывал — их замашки, их нравы, их образ жизни... Кончал у них какие-то факультеты, по ресторанам шатался, роскошествовал; театры тамошние посещал, журналы почитывал, всякие фíгаро-мигаро, глотал, что попадет; по собраниям рыскал, путался с социалистами всех мастей, пикировался, спорил — не без этого, конечно, спорил — требуется, однако, еще доказать, далеко ли он от них ушел, этот спорщик?.. В общем — человек погряз по уши, пропитался, до мозга костей! Теперь вот явился: я ваш, прини-

майте гостя! Как прикажете поступить? Добро пожаловать, с распростертыми объятиями, — так, что ли? Тысячи таких Грантов, широкой лавиной устремились они к советским границам, снуют, ухитряются каким-то образом преодолеть все и всякие кордоны, заставы, наводняют просторы советской земли. Москву им подавай, социализм достраивать... Армия бациллоносителей, они прут и прут, неся с собой тлетворный дух «свободного» мира, его насквозь прогнившей культуры, его идеологии... Спрашивается: вправе ли партия распахнуть перед ними врата Храма, открыть настежь двери строящегося здания социализма? Не обязана ли она, наоборот, воздвигнуть мощный барьер на пути этих непрошенных пришельцев, дабы оградить миллионы советских людей, их боевой дух, их коммунистическую мораль — от вторжения гнилых паров гибнущего старого мира? И не обязан ли сам он, Грант, взвалить в данном случае все бремя ответственности на собственные плечи и принять, как милость, решение Особого Совещания, даровавшего ему возможность жить и трудиться в едином строю созидателей нового, социалистического общества?

Грант возносил благодарение небу, ниспославшему ему такого попутчика и наставника, как этот замечательный марксистский теоретик, Кротов. Он с радостью и надеждой взирал на ближайшее свое лагерное будущее, лишь изредка, во время коротких стоянок на унылых северных пристанях, поддаваясь вдруг чувству смутного беспокойства: таясь и озираясь, подкрадывался он к трапу и молча наблюдал за суетливой беготней конвоиров, с щемящей тоской вспоминая про обещанную ему следователем высочайшую телеграмму Наркома.

* * *

Больше всего Гранта донимала теперь участь самого Кротова, она удручала и мучила его. Какой-то зловещий призрачный знак исключительности тяготел над судьбою этого человека. Именно на его долю выпало наитягчайшее во всем этапе наказание: пятнадцать лет заключения, плюс пять поражения в правах! Никто другой не удостоился такого сурового приговора; даже ему,

Гранту, достался куда более легкий жребий — ему, чужестранцу, выходцу из вражеского окружения, прокаженному — пять лет заключения, всего-навсего! Даже без поражения в правах! Кротову — пятнадцать; три грантовских срока, за что? Но это еще не все: Кротова, в отличие от других, судил Военно-Революционный Трибунал! Не Особое Совещание, без суда, без всяких церемоний, заочно, нет! Кротова судили, по настоящему судили, как опаснейшего государственного преступника, по всем правилам революционного закона! Грант приходил в содрогание при одной только мысли о том, что Кротов, непреклонный коммунист Кротов, стоял навтыжку перед судьями, его окружала вооруженная охрана, на нем, возможно даже, громыхали кандалы...

К нему обращены были каменные лица членов Трибунала, таких же, как он, коммунистов. Мертвая тишина судебного зала. Кротов отвечает на вопросы: признаете ли себя виновным — да, нет? Что побудило... Имеете ли что-нибудь добавить в свое оправдание? Представитель обвинения, защита, свидетели... Какие могут быть свидетели? О чем свидетельствовать? Против кого? Неужели же — против Кротова, который с такой беспощадностью на каждом шагу сам себя казнит? Он и там, вероятно, на этом чудовищном заседании Трибунала, не щадил себя, выворачивал себя наизнанку, в усердии своем превзойдя все усилия судей, прокуроров и свидетелей вместе взятых! И вот — жестокая ирония судьбы: пятнадцать, плюс пять! Кротову, которому пристало самому творить правосудие и диктовать законы... После подобного приговора — можно ли, вообще, доверять беспристрастию Суда и справедливости Закона?

Грантик не раз порывался заговорить с Кротовым на эту скользкую тему, выспросить у него досконально, как все это могло произойти, как могло случиться, что человек, беззаветно преданный идеалам Октября, коммунист до мозга костей, верный ученик Сталина, заклятый враг Троцкого, попал в число опаснейших «бациллоносителей»... Как согласовать теоретическую программу Кротова — с собственной его судьбой? Гран-

товские эти попытки кончались неизменным провалом; он умолкал, не успевши слова произнести, отшатывался сразу же, стоило ему взглянуть в непроницаемое лицо Учителя. Сам же Кротов, по собственному почину, никогда этой темы не затрагивал, он избегал малейшего намека на этот счет. Молча проглатывал он отпускаемые в его адрес колкости и насмешки, камел, притворялся, будто не слышит, лишь изредка издавая глухое, угрожающее урчание. Эта его замкнутость только раздражала людей, его ни на минуту не оставляли в покое.

— Пятнадцать лет, подумаешь.. Детский срок.

— По благу. Сразу видно.

— Свой же. Какие могут быть разговоры!

— Удивительно — по конвейеру не пустили. Своих, как правило, на конвейер... В штаб Духонина, без визы...

— Кого как, по указанию свыше.

— Пощадили все-таки...

— Для чего-то берегут.

Кротов не откликался, и эта его невозмутимость приводила людей в бешенство. Его стали травить открыто, без всякого стеснения. Завели привычку обсуждать в его присутствии возможные варианты его «дела», выдумывать, обсасывать детали. Чего только они не выдумывали; какие под него мины не подкладывали, только бы уязвить побольнее, разрушить эту стену молчания. Он, Кротов, махровый троцкист, еще со времен Гражданской войны, под фамилией «Кроткий». Фамилию свою впоследствии переменял, стал Кротов. Вообще — мастер перекрашиваться. В двадцать седьмом году возглавлял на Украине подпольный троцкистский центр, совместно с Юрием Коцюбинским. Потом пробрался в партийный аппарат, громил троцкистов, косил их направо и налево. В тридцать шестом оказался в Красной профессуре, его там разоблачили, вытащили на свет старые его дела. На заседании Трибунала он был уличен, ему вынесен был смертный приговор; потом отменили, смягчили... Он не зря отмалчивается, прячется.

Мешанина, вранье вперемежку с подлинными, случайно про-

никшими в этап, фактами, слушки, домыслы, игра досужего воображения — все это лилось и лилось на голову Кротова, он молчал, как сыч, не отзывался. Грантик, однако, не выдержал: вне себя от негодования, он бросился тормошить Кротова, робость его как ветром сдуло. Кошунство! Они хотят изобразить Кротова негодяем, политическим шарлатаном. Кротов не вправе дольше молчать, он обязан дать отпор. Не ради себя. Не ради самооправдания; история эта перестала быть вопросом личного его престижа.

Лицо у Кротова посерело, исказилось. После долгого и тягостного молчания, он процедил сквозь зубы:

— В приговоре моем зафиксировано: «скрытый троцкист. двурушник». Этим все сказано.

Грант с трудом удержался на ногах.

- Вы? — простонал он. — Вы есть двурушник? Троцкист?

Ярость охватила вдруг Кротова; точно обезумев, он набросился на Гранта:

— Я! Вы! Все до единого! Весь этап! Все заражены этим ядом, никто не уцелел...

Выхватив из кармана свою Докладную записку, он сунул ее Гранту в руки:

— Натe, читайте!

...«Сейчас ни для кого уже не секрет, — прочел Грант, — что вся эта канитель с оппозицией — дискуссионные листки, стенограммы, закрытые письма, лекции, доклады — весь этот птичий базар был заведомо спровоцирован троцкистами с целью саморекламы, с целью разложения единства партии и подрыва ее воинской дисциплины. Не является секретом и тот неоспоримый факт, что так называемый «разгром» троцкистской оппозиции, победа, одержанная над троцкизмом, является всего лишь пирровой победой, поскольку разгромлены были троцкисты, но не троцкизм. Семя же троцкистское пустило глубокие корни, оно отравило сознание целого поколения людей, вселило в них червь сомнения, склонность к раздумьям... И сделано это было руками Кротовых, на словах ратовавших за генеральную линию

партии, на деле же превратившихся в рупор троцкистской пропаганды.»

Это была страничка из главы: «Троцкизм — ударная сила антикоммунизма». Слова запрыгали, заплясали в глазах у Гранта, разбежались во все концы. «О чем он говорит?» — с ужасом подумал Грант, покрываясь холодным потом.

— Дальше, дальше! — не своим голосом взревел Кротов, встряхивая Грантика. — Читайте дальше!

Дрожа от страха, Грант снова уткнулся в бумагу.

«...Понадобились долгие годы партийных междоусобиц. — прочел он, — потребовалось изгнание Троцкого, убийство Кирова, уничтожение старой большевистской гвардии; понадобились трибуналы, процессы, самоубийства, громадная сеть лагерей для того только, чтобы народ усвоил, наконец, простейшую истину, заключающуюся в том, что в эпоху победившего социализма с противниками не дискутируют, не спорят — их искореняют! Вместе с тем выявилось подлинное лицо всевозможных Кротовых, пытавшихся совратить партию с пути революционной борьбы с врагами народа на скользкий путь бесплодных словесных турниров. В истории социализма эти двурушники займут свое заслуженное место в качестве одного из отрядов троцкизма, наиболее отвратительной его разновидности, пытавшейся прикрыть гнилое свое, интеллигентское нутро под маской антитроцкистской фразеологии...»

Рукопись выпала из трясущихся рук Гранта. Кротов, недостижимый Кротов — изменник и предатель! Он подтверждает это собственными устами, никто его не неволит. С этим невозможно мириться; он, Грант, обязан восстать, вырвать Кротова из сетей этого кошмара. Но как? Где набраться храбрости — выступить против Учителя...

Он обрушил на Кротова поток молений, заклинаний, клятвенных заверений. Лично он, Грант, на все согласен... До седьмого пота работать в лагерной зоне, спину гнуть, землю копать, честно и самоотверженно выполнять волю партии. Кротов тысячу раз прав: человека с такой вот сомнительной биографией,

выходца оттуда, пропитанного чуждым духом Запада, следует проверять и проверять, каждый его шаг, каждый жест, образ мышления, поступки, всю его подноготную. Это относится не только к нему, Гранту, а касается поголовно всех, всего этого этапа, у каждого из них найдется какой-нибудь грешок, не мешает лишний раз проверить, удостовериться. В конце концов — что такое лагерь? Испытательный срок, карантин... Но Кротов! На таких, как Кротов, все держится. И если уже Кротова подвергать сомнению, объявить его троцкистом, врагом народа, тогда что же? Можно заподозрить каждого, любого честного коммуниста... Уходит почва из-под ног.

В этом месте Кротов перебил Грантика.

— Каждого! — отрезал он. — Сорную траву из поля вон!

Грант застыл с раскрытым ртом, глаза у него расширились. Кротов мрачно прибавил:

— Партии нужны бойцы! Вот кто...

Грант на минуту воспрянул, глаза засветились. Он заторопился: конечно же, борцы... (вместо «бойцы» ему послышалось «борцы»). Кто же еще? Но Кротов — он и есть образец борца! Даже здесь, в заключении, он не выпускает из рук меча, сражается, воюет. Всю жизнь он только и делал, что боролся за партию, себя не шадил, других не жалел, не потворствовал никому, не потакал. Его Докладная Записка — разве не пример беззаветной, беспощадной борьбы за дело Партии?

Кротов насупился, пробормотал с нетерпением:

— Не тем оружием! Разглагольствовал, мнил о себе! Все мы возомнили о себе, вообразили себя солью земли! Забыли, что мы всего-навсего — солдаты, пешки! Что существует партийное руководство, цека партии, Политбюро...

У Гранта снова руки опустились, язык стал заплетаться. Теряя последние силы, он взмолился: «Какое же другое оружие? У партии нет и быть не может иного оружия, кроме силы слова, средств убеждения. Без «разглагольствования», без полемики — какая может быть политическая борьба? Вся партийная история...»

Глаза у Кротова вспыхнули, лицо озарилось: он предостерегающе поднял руку:

— Вот они и вылезли у вас наружу. — оборвал он Гранта с торжествующей усмешкой. — либеральные ваши ушки! Вонючая западная демократия... слава Богу, у нас с этим покончено!

* * *

Голос у Гранта, когда он пересказывал тебе эту историю, поминутно срывался, лицо светилось неподдельным восхищением. Собственные сомнения, так еще недавно всколыхнувшие его душу, окончательно развеялись, отступили на второй план. «Чего сто́ят, — думал он. — соображения личной обиды, ущемленного самолюбия — рядом с величием духа, позволяющим Кротову и здесь, в изгнании, продолжать дышать воздухом Партии, жить судьбами Партии, ее великим будущим: самому пердрекать это будущее, указуя пути к нему»... До чего же ничтожным в его глазах должен был в эти минуты выглядеть ты, Павел, во своими жалкими потугами что-то возразить, опровергнуть, противопоставить себя исполину этому, Кротову.

— Послушайте, Грант, — попытался ты его урезонить. — В чем, все-таки, соль этой Докладной записки, вы отдаете себе отчет? Несокрушимая монополия власти, тотальный контроль над мышлением, крестовый поход против еретиков — ничего же нового, согласитесь! Гитлеровский рейх, вспомните...

Грант бросился на тебя с крохотными своими кулачками, разъярился: как можно в таком тоне говорить о Кротове? Кротов — святой человек, он на голову выше всех! Кто другой, помимо Кротова, решится в данных условиях возвысить свой голос, напомнить людям: существует Партия, она превыше всего! Все кругом разуверились, плывут по течению... Спасения ищут, каждый для себя! Один Кротов, он ничего для себя не ждет, не домогается. Воля партии — для него нет ничего священнее. Он солдат и всех к тому же призывает: сохранить верность присяге, оставаться коммунистами, в тюрьме ли, в этапе, при любых обстоятельствах. Кротов — надежда и спасение, не будет Кротова — восторжествует Гитлер...

— Царство Кротовых, — пробормотал ты, все еще рассчитывая отрезвить Гранта, заставить его образумиться, — двести миллионов Кротовых! Планета, сплошь заселенная Кротовыми, — вы представляете себе? Холод, мрак, никаких признаков жизни... Одни каноны, догмы...

Эта твоя реплика только подстегнула Гранта, сообщив его мыслям неожиданный оборот. Взглянув на тебя с выражением нескрываемого превосходства, он вдруг выпалил самым безапелляционным тоном:

— Авел! Вот кто есть Кротов — Авел!

Ты опешил: старая твоя притча про Каина и Авеля, она, оказывается, завязла у Гранта в зубах, он забыть ее не может. Он счел почему-то уместным вытащить сейчас на свет Божий эту твою притчу, пригвоздить тебя.

— Что вы говорите, Грантик! Авель — сама кротость, покорность... Какой же из Кротова Авель? Скорее Каин!

— Авел, Авел! — повторял Грант в каком-то самозабвении. — Главная опора Революции — Авел...

— Для чего же Революции Авели, подумайте! Бессловесные твари, рабы... Они чужды самому духу коммунизма. Вы не так меня тогда поняли, Грантик.

Грант заволновался, заметался, ты с трудом улавливал нить его путаных рассуждений.

— Именно Авель, — горячился он, мучительно напрягая память в поисках недостающих слов. — Готовность по первому требованию голову сложить, готовность к жертве — главное достоинство коммуниста. Сейчас больше, чем когда бы то ни было раньше, больше, чем на фронтах Гражданской войны; другой совершенно характер жертвоприношения. Пасть на поле брани, грудь свою подставить под вражеские пули — не такое уж необыкновенное геройство. Суметь отречься от самого себя, поступиться своей честью, принять позор и унижение — только коммунисту под силу такой подвиг. Кротов превзошел Авеля! Библейского Авеля ведут на растерзание, он следует покорно, не сопротивляется. Кротов сам выносит себе приговор, он с готовно-

стью отрекается от себя, своего прошлого, он покрывает себя несмываемым позором — какова же должна быть при этом глубина веры, сила духа!.. Миллионы Авелей — без этого невысказано торжество идей коммунизма...

Ошеломленный, ты долго не в состоянии был прийти в себя. Не такой уж он, оказывается, простофиля, твой Грантик, ему удалось в чем-то превзойти тебя, поставить тебя в тупик.

— АVELЬ эпохи коммунизма, — пробормотал ты, с изумлением вглядываясь в лицо Гранта. — Вы совершили сегодня великое открытие, Грантик! Каин — в обличье Авеля; или, что то же, АVELЬ—с душой Каина! Палач и жертва—в одном лице... Гениальный вклад в сокровищницу марксизма, примите мои поздравления!

Грант поглядывал на тебя украдкой с выражением подозрительности и недоверия, до него, видимо, глубокомыслие твое не доходило. Потом, вдруг повеселев, он взглянул на тебя с лукавством и произнес загадочно, с видом конспиратора:

— Вы еще не знаете, кто есть Кротов. Скоро узнаете.

— Что-нибудь из ряда вон выходящее? — спросил ты не без иронии. — Торжественное обнародование своего труда? Покушение на начальника охраны? Быть может, публичное самоубийство?

— Сами узнаете, завтра.

Шмыгнув носом, Грантик мгновенно исчез, оставив тебя одного, снедаемого любопытством и смутной тревогой.

* * *

Ты не мог еще, Павел, предположить, что случайный этот, мимолетный намек Грантика предвещает новый какой-то поворот событий; что тебе предстоит столкнуться лицом к лицу с Дулькиным, и именно в его лице — прощальги, шаромыжника, делиаги — обрести для себя союзника, неразлучного товарища и верную няньку...

Вот и теперь, в последний твой час, он остался верен тебе, твой Дулькин, он с тобою, у гроба твоего. Сотни людей ухитрился он стянуть сюда, под своды крематория; он, по обыкно-

вению своему, обхаживает их, каждому улыбается, глазки строит... Удерживает на месте, не дает расходиться.

— Малашкина хороним, не кого-нибудь. Павел Малашкин, последний из могижан...

— Признайтесь, Дулькин, — Агап Агапыч подхватывает его под руку, нашептывает ему, — история эта с Кротовым: ваша была заслуга?

— Кротов терпеть меня не мог, вы знаете.

— Знаю, знаю, Дулькин ни при чем. Дулькин всегда остается в стороне... Заварит кашу, а сам — в кусты.

— Выдумки ваши, доктор.

— Соблазнить такого дракона, как Кротов! Внушить ему: иди, твое место там, в «Преисподней», среди бесноватых! Горящий фитиль — бросить в пороховую бочку! Как могло вам прийти в голову?

— Поверьте, Агап Агапыч, все обстояло гораздо проще.

— Главное — во имя чего? Неужели же для того только...

— Уверю вас, доктор, Дулькин всего лишь — пожкоманда. Кому-то надо же пламя тушить...

— Воображала вы, Дулькин! С вашей фантазией — только в лагере и жить, головы людям морочить. Сколько вы сроков лагерных отгрохали?

— Сколько бы ни было — я не жалею.

— Не в этом вовсе дело. Каково вам теперь, на воле, — вот вопрос! Без верхних нар, без дружков лагерных, без этого безбрежного моря людского...

— Слава Богу, лагеря не скоро переведутся. Надежды не теряю...

* * *

7

СУД ИДЕТ, ПРОШУ ВСТАТЬ!

Ты, Павел, оказался провидцем. Самосожжения, в буквальном смысле, правда, не произошло; но то, что произошло, равносильно было самосожжению. И случилось это утром следующего же дня, как пообещал Грант.

От Кротова можно было ждать чего угодно — припадка падучей, убийства из-за угла, поджога рейхстага — каких угодно фокусов, только не этого; никакое, самое пылкое, воображение не могло бы додуматься до чего-либо подобного. Конечно же, этап дрогнул от неожиданности: волк на псарне! Кротов — в «Преисподней», у ортодоксов! Он перебрался туда тайком, никто на палубе глазом моргнуть не успел. Для чего-то он прихватил с собою своего Санчо-Панса, Грантика; но это была уже частность, она лишь подчеркивала реальность самого факта — исчезновение Кротова, его уход с плабуы. Уход не куда-нибудь — именно к ним, к троцкистам, в злополучный этот трюм... Оттуда как раз, из ворот трюма, показалась поутру жалкая, обшарпанная фигурка Грантика, в руках у него болтался Кротовский алюминиевый чайник. Показалась — и тут же юркнула назад; он, должно быть, не рискнул высунуть свой нос дальше порога «Преисподней».

Непреложный факт — Кротов переметнулся к ортодоксам — в это невозможно было поверить. Одно из двух: либо все то, что доселе именовалось Кротовым, было сплошной мистификацией, розыгрышем, либо... Тут начались беспросветные потемки. Безумие? Провокация? Самоубийство? Должен же Кротов представить себе, что ждет его в осином этом гнезде, у ортодоксов! Как мог он решиться? Какие побуждения, мотивы?

В том, что Кротов *их* человек, никто в этапе теперь уже не сомневался; и в том, что в трюм он забрался неспроста, сомнений также быть не могло — служебное задание, и нечего голову

ломать. Божья коровка эта, Грантик, — тоже понятно: понадобилась ширма, для отвода глаз. Тем не менее, возникали многочисленные «но». Прежде всего — широковещательность эта, наглость, с какой проделан был этот трюк: вот, дескать, полюбуйтесь, Кротов в «Преисподней»... сами догадываетесь, чего ради... Никогда, все-таки делишки эти так не делаются — открыто, в лоб! В крайнем случае — нашли бы кого-нибудь со стороны; из-под земли выкопали бы, все тюрьмы обшарили бы, лагеря перешерстили бы, но раздобыли бы подходящего человечка: живого или мертвого, но нашли бы... А то — Кротов! Достаточно мельком взглянуть на него: постная эта физиономия, перекошенный рот; слова по-человечески не скажет никогда, одни только лозунги, цитаты! Какой из него соглядатай, ишейка, лагерный стукач?

Почему вообще из всей этой кучи людишек выбор пал на Кротова? Мало кругом подходящего материала, что ли? Взять хотя бы вон того, лысого, полный рот золотых коронок; у него всегда ушки на макушке, стоит кому-нибудь рот разинуть — он тут как тут: «Закурим?» У него всегда почему-то карманы набиты махоркой. Или старикашка этот глухой, с наушниками; никто в расчет старика этого не принимает, глухарь, дескать, что с него возьмешь! Чешут при нем языки почем зря... Между тем — обратите внимание на эти глазки, они у него бегают, как зайцы, все примечают, выхватывают... Ему никакие наушники не нужны, у него — глаза! Неизвестно еще, что у него там в этих наушниках!

И еще, и еще, их тут кишмя кишит, каждый пятый; шныряют, удочки забрасывают... Не вздумай нюни распускать; лучшему другу своему — не верь, остерегайся! О чем это вы ночью перешептывались, вспомни? Является ли Сталин партийным теоретиком, как Ленин? Или же — чистой воды практик... Ты уши развесил, поддакивал, раззява! Подальше от таких шептунов; помни: ты зверь в лесной чаще, кругом западни, ловушки, не попадайся! Будь зорким, бдительным, береженого Бог бережет...

У тебя, Павел, были на этот счет свои какие-то правила. Тебе

казалось: нет ничего на свете омерзительнее животного этого страха, каждого — перед каждым, всех — перед всеми... Постоянной этой оглядки, подозрительности: всякий рядом с тобой — потенциальный предатель, братоубийца? Что может быть страшнее, унижительнее для человеческого достоинства? К черту! Быть трижды обманутым, оклеветанным, застигнутым врасплох — пусть! Пасть жертвой подлого навета — пусть! Это еще не самое страшное! Неимоверно страшной, разрушительней — всеобщая эта затравленность, утрата доверия, одичание. Волчье лесное существование, лишенное радости человеческого общения и священного чувства солидарности.

Итак — почему, все-таки, Кротов? Почему, скажем, не тот же Дулькин? Если уже на то пошло, Дулькин в этом плане — вне всякой конкуренции; где вы найдете второго такого Дулькина, розовошекого, галантного, с такой роскошной эспаньолкой — никогда не поверишь, что перед тобой арестант. Ему в высокой степени наплевать, что вы и кто вы: троцкист, сталинист, церковник, раввин, махровый белогвардеец... Перед каждым — расшаркивается, каждому — дорогу: милости прошу, ваш покорный слуга! Полная, в общем, противоположность Кротову; и если уж бросить жребий, кто из двух, всякий скажет: Дулькин! Между тем в трюм, к ортодоксам, попал именно Кротов! Кому-то, значит, угодно было...

Еще одно «но», самое, пожалуй, веское: станут ли они, начальники наши, соваться в эту клоаку, именуемую «Преисподней»? Расставлять там свои сети, людей подсаживать, щупальцы свои запускать — цель какая? Поймать кого-нибудь на слове? Антисоветская агитация, дискредитация вождей... Смысла никакого! Какой, в самом деле, смысл изощряться, лезть из кожи вон, копыя ломать, если зверь прет на тебя сам, открыто, без хитростей, не надо никаких приманок... Они, чудачки эти из «Преисподней», так именно и ведут себя: душа нараспашку, никакой игры в прятки, вещи называются своими именами: «Термидор!», «Сталинская клика», «Опричнина». Во всеуслышание, без масок, без всякого притворства: говорю — что думаю, думаю

— что Бог на душу положил! Трубят на всю планету, пророчествуют: «Крах сталинской тирании, банкротство режима!», «На штыках, на тюрьмах, лагерях — далеко не уедешь!», «Долой Ежовщину!» И т.д. и т.п., послушать — мороз по коже продирает! Они совсем одурели там, в своих изоляторах, ум за разум зашел! Не соображают, где находятся, на каком бушующем вулкане; они перестали понимать элементарнейшие истины, на что-то еще рассчитывают, надеются: воззвания какие-то, обращения в Коминтерн... Конвой, и тот предпочитает не связываться с ними; небось не очень нравится, когда тебе тычут в глаза: «Тюремщики, кому вы служите? Тирану!» Бегут, делают вид, что к ним это не относится. Кому после этого придет, скажите, в голову — забираться в этот заповедник, удочки забрасывать, какой, в сущности, резон? Люди лезут на рожон сами, берите их голыми руками, и не надо никаких Кротовых.

* * *

Распутать этот Гордиев узел мог бы один единственный в этапе человек, и все взоры обращены были к нему. Он, однако, держал себя в высшей степени беззаботно и делал вид, будто ничего не замечает и будто бы ничего вообще из ряда вон выходящего в мире не произошло: кто-то на какой-то несчастной баржонке, смеха ради прозванной «Авророй», перемахнул с места на место, переполз в паршивый этот трюм, подумаешь — событие! Хотя бы — к ортодоксам; ну и что? Почему обязательно подвохи, козни, задние мысли? Переполз, и Бог с ним, к лучшему, быть может. Кошка с мышью — и те, бывает, уживутся: ортодоксы что — не люди? Ничего, найдут общий язык.

Он корчил из себя святую невинность и этим только подливал масла в огонь. Никто ни в грош не ставил это его целомудрие; большинство, наоборот, склонялось к тому, что сам он каким-то боком причастен к этой истории, возможно даже — он играет здесь первую скрипку, Кротов всего лишь подставная фигура... Вообще — скользкий тип! Нетрудно догадаться: скользкий этот тип был не кто иной, как Дулькин.

Скользкий во многих отношениях. Взять хотя бы бумажонку

эту, без которой любой эзк яйца выеденного не стоит: «формуляр» так называемый, или «дело», или «личная карта» — назовите, как хотите, суть не изменится; штука эта следует за вами по пятам, как тень, как судьба ваша... От нее зависит решительно все: ваши дни и ночи, ваш нелегкий труд и скудный ваш хлеб; права ваши, так называемые, и обязанности, нормы поведения и нормы выработки, мера вашего сна, короткого вашего отдыха, все ваше бурное существование; и даже то, долго ли вообще суждено вам топтать эту грешную землю... Не шутите вы с этой бумажонкой, берите пример с Дулькина: великий Реалист, он знает цену подобным вещам! Загляните вы в его «формуляр», одним хотя бы глазком: чудо двадцатого века! Оказывается, на Богом проклятую эту барjonку, до отказа набитую всякой нечистью — изменниками, шпионами, предателями, троцкистами, зиновьевцами и прочими политическими отбросами, врагами народа — каким-то чудом затесался избранник Божий, счастливчик, с немыслимой фамилией Дулькин: не шпион, не диверсант, не троцкист, никакой вообще не враг народа своего... Простой смертный: в «деле» у него статья 35-ая уголовного кодекса РСФСР, 35-ая всего-навсего! Никаких там трибуналов, коллегий, особых совещаний, троек, пятерок — ничего похожего! Он осужден Нарсудом Володарского района г. Архангельска сроком на три года; сущий пустяк — какое-то мелкое воровство... Теперь он разгуливает по палубе «Авроры», как у себя дома! Вольный казак, он и в лагере будет первый человек; бытовая статья, свой «в доску» — у всех в этапе слюнки текли! Как оно могло случиться?

Покушение на кражу ручных часов — анекдот! Инженер-конструктор Московского часового завода, Дулькин Борис Аркадьевич, рождения 1905 года, член ВКП(б), семейный, образование высшее, родной язык — русский, знание иностранных языков — английский, немецкий... Пойман с поличным в портовом городе Архангельске, в гостинице «Интурист», при попытке украсть ручные часы в золотой оправе у английского моряка... Липа же, всякий скажет. Тем не менее, история эта переходила

из уст в уста, обыгрывалась на все лады; нашлись в этапе любители — инсценировали ее: откопали какого-то замухрышку, полиглата, наклеили ему клочок пакли вместо бороды, подмазали — получился второй Дулькин. Скетч имел громадный успех: столик в ресторане «Интурист» (опрокинутый вверх дном сундучок); за столиком — английский моряк (раздобыли среди этапа какого-то верзилу в тельняшке); с ним рядом, тщательно обвязанный салфеткой (грязный-прегрязный носовой платок), Дулькин номер два, артист; он строчит, как из пулемета на чистейшем английском языке, моряк еле-еле за ним попевает; какая-то не совсем понятная зрителям возня с часиками: верзила протягивает руку, Дулькин привычным жестом снимает с нее часики, прижимает к уху, слушает с видом знатока делает какое-то замечание... Прыжок! Сундучок в одном конце палубы, Дулькин-двойник, с зажатой в кулаке добычей, в другом, моряк в тельняшке проделывает какие-то немыслимые сальто-мортале; погоня, рев: держите вора... Зрители с ума сходят!

— Ну, Дулькин, по-честному. Как было дело, поделись с товарищами...

Разве Дулькин скажет? Он пощипывает бороденку, ухмыляется, глазки масляные... Ясно было одно: Дулькин всех перехитрил, он самого Ежова обвел вокруг мизинца! Страшный 1937 год, набор за набором, эшелон за эшелон, Воркута, Колыма, Норильск, все трясется, ждут... И вот вам, находится мудрец: он не медлит, не ждет, пока явится за ним черный ворон: он устремляется сам, опережая события!

* * *

В тебе, Павел, как это и можно было ожидать, инсценировка вызвала глубокое отвращение, сама же баснословная эта Дулькинская история показалась тебе наимпечальнейшей из всего того, на что ты успел наглядеться в этапе: величайшим человеческим бесчестьем, одной из подлинных трагедий века. Человек отстраняет от себя все самое драгоценное, он бросает на произвол семью, покидает друзей своих, именем своим жертвует, он от всего отрекается, чтобы ринуться в беспримерную анантюру;

он ищет спасения для себя в тюремной камере, в заключении — до какой же степени отчаяния надо было довести человека! От кого, главное, спасается? У него, говорят, родной брат в верхах где-то, в цека партии!

Оказывается, все дело в нем будто бы, в сановном этом братце; погоня началась именно за ним, за Дулькиным-младшим, «цекистом» (официальная его фамилия так и осталась тайной за семью печатями). Страший Дулькин, часовщик, — всего лишь прикрытие, дымовая завеса; его стали таскать по разным инстанциям, допытываться у него: социальное происхождение родителей, прадедушка, прабабушка, есть ли кто за границей, связь с эмиграцией, сионистское прошлое... По поводу брата — только намеками, окольными путями: ты коммунист, помни, никого у тебя на всем белом свете, кроме партии; она для тебя за все про все — за отца, за мать, за братьев и сестер; выкладывай, всю подноготную... Подписка о неразглашении, не смей никому заикнуться, даже брату родному! Дулькин нашел для себя замечательный выход из положения: карманные часы в ресторане «Интурист».

История, согласитесь, более чем сомнительная: два брата, один — государством заправляет, другой пускается в какие-то аферы, в заключение напрашивается, раньше времени. Кто же станет, в самом-то деле, брата против брата натравливать, коммуниста против коммуниста! До самих верхов добираться, до ЦК партии... свежо предание!

Сам Дулькин, во всяком случае, на этот счет словом не обмолвился; слушал, наматывал на ус, посмеивался в бороду; уже в конце пути, перед самым Юдагом, он счел нужным все-таки раскрыть перед тобой свои карты, Павел; но это уже связано было с новой его затеей — братец этот оказался как нельзя более кстати...

Как бы там ни было и что бы о нем ни говорили — обормот, ловкач, деляга, — ты готов был объявить Дулькина национальным героем, а имя его поставить в один ряд с именами легендарных самострелов, которые предпочли мгновенную смерть от

собственной руки — позорной гибели в ежовских застенках. Пламенный нарком Серго Орджоникидзе, дружок и побратим Хозяина, сам себя прикончил, не стал дожидаться; армейский политический вождь, начальник ПУР'а, Ян Гамарник — застрелился как раз в ту минуту, когда нагрянула к нему Ежовская армада; украинский главарь, Панас Любченко, предсовнаркома Украины, — прикончил собственноручно жену свою, а вслед за ней и себя, едва только в дверях послышался звонок... Какие-то завотделами Обкомов, секретари райкомов партии; Фурер — любимчик Кагановича, секретарь Горловского горкома партии; Радков какой-то — правая рука Постышева; начальник отдела НКВД — личный друг украинского наркома НКВД Балицкого... Плеяда гордецов, не пожелавших дасться живыми в руки... И вот — Дулькин, той же, дескать, породы. Не слишком ли много чести, Павел, опомнись! Причислить к лику святых безвестное имя человека, отличившегося всего лишь тем, что рискнул напаять на себя личину карманного воришки — не кошунство ли?

Впрочем, если быть чересчур уже дотошным: так ли уже далеко ушли они от Дулькина, высокопоставленные эти самострелы? О мертвых плохо не говорят, отдадим же им должное, все они были, очевидно, весьма заслуженные и мужественные люди. Однако — как прикажете истолковать прощальный этот жест, пулю в лоб? Взрыв бешенства? Сигнал бедствия, может быть? Призыв к действию? Крик истерзанной души, вопль протеста против гнета, бесчинств, против тирании? Быть может, плевков в лицо Хозяину, в самый последний момент, под занавес? Увы, ни то, ни другое, ни третье... Страх, ничего, кроме животного страха! Смертельный ужас перед неминуемым концом.

Тоже, конечно, можно понять — стоит на секунду представить себе: ты ждешь с минуты на минуту гостей, за тобой вот-вот явятся, ворвутся в дом, схватят тебя... Уже и явились, чьи-то шаги на лестнице, звонят уже... Через какой-нибудь час запустят тебя в этот страшный конвейер, голову обреют, пуговицы срежут. Какой-нибудь тип возьмется за тебя, начнет душу трясти, в лицо плевать тебе, измываться над тобой; вчера еще он не

посмел бы переступить порог кабинета твоего... Сам ты был властелин, приказы диктовал, топтал кого-то, с работы снимал, «материал» на кого-то оформлял; решал чьи-то судьбы, горы ворожал. Теперь выскочка этот будет расправляться с тобой, называть тебя сукой, судьбу твою решать; он, возможно, с кем-то решил уже ее, заранее, тебя не сегодня-завтра спустят в подвал... Жутко, предпочтительнее самому...

Не ищите же героиню там, где ее нет и в помине; просто, человек дошел до точки, нервы не выдержали, точно так же, как у нашего Дулькина. Каждый спасался, как мог: кто — проводником в вагонах дальнего следования, кто — ночным санитаром в приемном покое, к трупам поближе; а кто — пулю в рот себе... Кто как сумеет. Дулькин придумал для себя вариант половчее: карманные часы. Это еще не тема для социальной трагедии.

Если уже выискивать во всем этом какие-то бездны, тебе, Павел, незачем далеко ходить: прогуляйся по палубе благословенной своей «Авроры». Перебери созданных своих, расспроси у них, у каждого в отдельности: что творилось с ними в те черные дни? Никто еще за них по-настоящему не принимался; их еще не «женили», разыгрывался еще только первый акт пьесы: из партии — вон! С работы — долой! Сдай, будь добр, хлебную свою карточку! Общежитие освободи... Ничего, голубчик, ничего, ты не очень ерепенься, это только еще цветочки, ягодки впереди... Ты еще покамест свободный гражданин, погуляй, золоти, на воле, подумай... Ничто тебя не торопит.

Они не собирались стреляться — нет! Как тени бродили они вокруг своих парткомов, райкомов, горкомов, шатались по парткомиссиям всевозможным, пороги обивали; топтались у окошечек, пропуска для себя кланчили, какие-то выписки из протоколов. Скулили, жалобы слезные слали в ЦКК, в цека партии стучались: «Партия для меня — все!». «Не мыслю жизни вне партии!», «Голову сложить готов, любое испытание!», «Умереть коммунистом!». Ошалели совсем, на карачках ползали, сами в петлю голову совали; их выгоняют в одну дверь — они в другую; попрошайки, в погоне за подающим... Не здесь ли, Павел,

кроется завязка искомой тобою трагедии? Не Дулькин! И не горстка-другая обезумевших самоубийц... Тысячи тысяч оставшихся в живых — они и есть главные персонажи. Нищие духом, растерявшие последние остатки былого величия — они продолжают судорожно цепляться за жизнь, барахтаются, мечутся, объятые одним-единственным порывом: выжить! Во что бы то ни стало — уцелеть!

Дулькин, к счастью, до этого все-таки не докатился.

* * *

Все взоры устремлены были к Дулькину; никто больше не сомневался: это он заманил Кротова в западню, он решил столкнуть лбами этих злейших противников, он толкнул в омут, заодно с Кротовым, кролика этого, Гранта. Чего ради понадобилась Дулькину игра эта в кошки-мышки, по чьему велению он действовал, с какой целью — никто на этот счет не мог сказать ничего вразумительного. Ясно было одно: человек все время плетет какую-то паутину, ему не сидится, всегда какие-то выдумки, интрижки — это настораживало. Казалось бы: если уж привалило тебе такое счастье, удалось тебе притаиться, уйти с глаз долой — заройся поглубже, не напоминай о себе, замри... Носи ты эту свою маску до скончания века: воришка, мол, нечист на руку, прошу прощения! Будь, как Швейк: только бы отбрехаться, отбиться как-нибудь, ничего другого Швейку этому, по сути, не нужно было. Правда, герою Ярослава Гашека повезло, не в пример Дулькину: он родился в райские времена! Начало века, все было еще в самом зародыше... Подумаешь — мировая война! Швейк этот, как сыр в масле катался, никто под него не подкапывался, не совался в его дела; никто не лез к нему в душу, кувыркайся, ловчи, валяй себе дурака — твое частное дело, ты никому не нужен. Попробовал бы он теперь... Нет, браток, вовсе это не частное твое дело! Ты живешь в новом обществе, и жизнь твоя принадлежит коллективу. Все за одного, один за всех! Ты на строжайшем учете, каждый твой шаг, каждый твой вздох; не вздумай отщучиваться, увиливать — времена Швейков миновали... И если какому-нибудь Дулькину посчаст-

ливилось схитрить, лазеечку для себя найти, это еще ничего не значит.

Дулькин, кстати, и не собирался увилывать, он всюду совал свой нос, сам, никто его как будто не подталкивал, и это было самое в нем подозрительное. Только сейчас стали вылезать наружу всевозможные детали, ранее оставшиеся незамеченными, теперь они предстали в новом совершенно свете. Во-первых, эти его шпашни с Левушкой Грабовским; Дулькин ни с того ни с сего воспылал страстной любовью к молодому поэту, окружил его поистине отцовской заботой: приодел его, голодранца, постирушки совместные, на пристанях—бешеная коммерция с местными рыбаками, остатки гардероба своего пустил в ход в обмен на вяленую рыбу для голодного стихотворца... Спрашивается, чего ради? Не из голого же интереса к чистому искусству? Сейчас все это приобретало новый смысл, если учесть, что Левушка Грабовский целыми днями не вылезал из трюма и был уже на волосок от того, чтобы окончательно перебраться к ортодоксам; именно Дулькин и удержал его от этого рискованного шага. Теперь, не без участия, видимо, того же Дулькина, в трюм, к троцкистам, попадает вдруг махровый этот сталинист, Кротов. Есть над чем голову поломать!

Героем следующего, по порядку, романа Дулькина оказался не кто иной, как Грантик; на этот раз, правда, роман нелегальный, поскольку Грантик в присутствии Кротова, шефа своего, не смел намекнуть даже на Дулькина, имя его помянуть; Кротов белой ненавистью ненавидел «проходимца», слышать о нем не хотел. Тем не менее, Дулькин ухитрялся устраивать с Грантиком тайные встречи, во время которых между ними велись пространственные разговоры на неизвестные темы; о чем они там шептались — один Господь знает; известно только, что беседы эти, как правило, велись по-немецки или по-английски, что в присутствии Дулькина Грантик на глазах у всех расцветал, как майский день, и что Дулькин никогда не отпускал его с пустыми руками. Излюбленная Дулькинская манера: обязательно одаривать, что-нибудь подбросить, чем-нибудь угостить; ему каким-

то образом удавалось и здесь, в этапе, жить на широкую ногу, и он не упускал случая кого-нибудь облагодетельствовать, поделиться по-братски — это также ставилось ему в укор: покупка, дескать, ловля рыбы в мутной водичке...

Главной же уликой против Дулькина послужила самая последняя его выходка — союз с медициной! Произошло это, кстати, незадолго до истории с Кротовым, недели за две: в одно прекрасное утро на палубе появляется неузнаваемый, преображенный Дулькин — в длинном, до самых пят, не первой свежести медицинском халате, за спиною брезентовая сумка под красным крестом, подобие походной аптечки.. Дулькин — эскулап! Он был встречен бурной овацией, никто тогда не принял всерьез этот его маскарад; теперь, однако, вспомнили задним числом: не такая уже это безобидная шуточка! Именно медицинская карьера открыла Дулькину доступ в трюм, к ортодоксам; он со всеми там перезнакомился, побратался, стал в «Преисподней» своим человеком — политика дальнего прицела...

Сейчас, когда на барже только и разговоров, что об этой истории — Кротов, «Преисподняя», троцкисты — Дулькин вдруг умывает руки, он знать ничего не знает, он начисто забыл дорогу, ведущую к воротам трюма! Он, видите ли, занят по горло, у него появилась новая забота: «крестики»... Дни и ночи вертится он вокруг этих церковников, глаз не спускает с них, любитесь, карманы свои выворачивайте: колотый сахар, чай, сухари... ешьте, пейте! Что могло быть общего между Дулькиным и этими молчальниками? Из них слова не выжмешь, они разговаривают с одним только Всевышним; усядутся в круг — и молчат... Эти их трапезы: несчастную свою баланду смакуют они, как манну небесную; ничего для них не существует: конвоя, пулеметов, овчарок — они живут в другом мире. И вот, к этим выходцам с того света затесался Дулькин — тоже, видимо, неспроста, для чего-то они понадобились ему, эти духоборы? Он выглядел среди них крезом, арестантским Ротшильдом!

Нет, за Дулькиным этим — слѣдить и слѣдить! Вечно в хлопотах, вечно — за кем-то охотится, кого-то выживает, кого-то с

кем-то сводит. Теперь вот — Кротов, его очередь... Конечно же, без Дулькина тут не обошлось, можно не сомневаться.

* * *

Грантик примчался на палубу в самую последнюю минуту — слухи о событиях в трюме опередили его. Слухи были самые фантастические: «Ледовое побоище в «Преисподней!» «У Гранта разворочена челюсть!» «Судебное следствие над Кротовым!» «Обращение ортодоксов в адрес Коминтерна!» «Отмена маршрута на Воркуту, возвращение этапа в Москву!»

В этот-то критический момент всеобщего головокружения и бестолковщины из трюма выпрыгнул Грантик, на нем лица не было. Никаких, конечно, вывороченных челюстей, никаких вообще признаков увечий — чепуха все это; челюсти на месте, Грантик цел и невредим. Взглянули бы вы, однако, на этого героя, что от него осталось за эти день-два пребывания его в «Преисподней!» Волосы слиплись, глаза потускнели, даже уши посинели; он еле-еле ворочал языком и все время стремился в чем-то повиниться, прощение себе снискать.

— В чем дело, Грант, что случилось?

— Кротов... Гришин... Докладная... Суд, суд, суд...

Он просто помешался на этом суде. С грехом пополам можно было, в конце концов, догадаться: в трюме разыгрывается грандиозный скандал между Гришиным и Кротовым; не последнюю роль сыграла здесь Кротовская Докладная записка; над Кротовым нависла угроза Суда...

— Какой суд, Грантик? Какие могут быть в этапе суды? Ты в своем уме?

Суд, суд... Он был охвачен небывалым смятением, даже ужасом, хотя, как это скоро выяснилось, речь шла всего-навсего о каком-то подобии товарищеского суда, чистейшая импровизация, ничего серьезного. Тем не менее, Грантика невозможно было унять, успокоить: он воспринял этот суд как символ неминуемой катастрофы. Самое же поразительное и знаменательное: смятение и ужас Гранта вызвали молниеносную цепную реакцию, все население палубы прониклось ощущением надвига-

ющегося бедствия. Суд, суд, суд... Он коснется не одного Кротова; что им, ортодоксам, Кротов? У Кротова у самой горы обличительного материала, он готов в любой момент его предъявить, бросить вызов всей вселенной. Суд этот коснется всех и каждого, никому не удастся улизнуть. Он разразится над всей разноплеменной «Авророй», над судимыми и несудимыми, виновными и безвинными, бессловесными и строптивыми... Им, троцкистам, не Кротов нужен, Кротов для них только повод, зацепка — им нужен этап, перевернуть его вверх ногами, перемять, расколоть! Москва им нужна, судилище это прогремит на весь мир...

Что же касается тебя, Павел, весть о затеянном Гришиньим суде самым неожиданным образом окрылила тебя, воскресила какие-то смутные, дремавшие в глубинах твоего сознания, чаяния и порывы. Не зная и не ведая никаких еще подробностей, ты вдруг загорелся, возжаждал этого призрачного суда, как некоего таинства, как долгожданной всеобщей исповеди и отпущения грехов. Сам Бог Саваоф, мерещилось тебе, спускается со своего верхотурья, дабы, под видом кукольной гришинской бутафории, именуемой товарищеским судом, вершить собственный свой Высочайший Суд, суд справедливый и нелицеприятный, призванный очистить зерно от плевел; истину подлинную, вечную отделить от «истин» мнимых, скороспелых; спасительную силу правды — высвободить из-под спуда лжепророчества и фальши. Недолго ждать осталось: вот-вот раздастся мощный удар колокола, тишина взорвется, и голос, могущественный и грозный, возвестит:

— Суд идет, прошу встать.

...Грантика обступили тесным кольцом, отрезали пути к отступлению.

— Слушай, Грант, можешь ты толком объяснить нам, что они там задумали, в трюме? Что за идиотский Суд? Кого судить, за что? Состав суда? Когда начнется? Какой бес вообще загнал вас туда, тебя хотя бы, в эту «Преисподнюю»? Тебя что, домкратом туда заташили?

Загнанный в угол Грант пугливо озирался, не в силах слово вымолвить. Глаза его, в последнюю минуту встретившись с твоими, слабо засветились, на лице проступил легкий румянец.

— Авел, — прошептал он еле слышно.

Никто, кроме тебя, не понял. Он, видимо, вспомнил последний ваш вдохновенный разговор: Каин, Авель... Он глядел на тебя, виновато скосив глаза, в которых, вместе с мерцающей надеждой, была мольба о спасении.

Не задумываясь, ты ринулся вслед за ним, в глубину «Преисподней».

* * *

Обстоятельства, предшествовавшие суду, складывались самым неблагоприятным образом, будто за кулисами взаправду орудовала чья-то искусная рука, дергала за ниточку, тайком отдавала команды: «Кротов — начинай!», «Гришин — действуй!», «Агап Агапыч — твой черед!». Не зря же, в самом деле, Кротова потянуло в трюм в тот самый день, не раньше и не позже! Как раз в этот день «Аврору» потрясло сенсационное известие: никакой Воркуты не будет; маршрут отменяется; этап, ввиду непредвиденного обмеления реки, следовать дальше Ю-Дага не будет; он останется зимовать в Ю-Даге, в инвалидной зоне...

До Ю-Дага оставалось каких-нибудь два-три дня пути. Этап замер, притаился, еще не зная, торжествовать ли или бить тревогу.

В «Преисподней», среди ортодоксов, известие это вызвало вулканический взрыв: после долгих дней бездеятельности, скуки и бестолочи, Гришин вздохнул, наконец, полной грудью спячка кончилась, открывалась пора действий. По рукам была пущена острая, как лезвие, листовка. «Юдагская инвалидная зона, — говорилось в листовке, — могила для политзаключенных. Ю-Даг — ловушка... Голодная смерть под видом «легкого труда»! Нас собираются заживо похоронить! Не поддавайтесь, товарищи! Протестуйте! Организуйте сбор подписей под телеграммой в ЦК партии, в секретариат Коминтерна! Ни

шагу — с палубы «Авроры!» Примыкайте к большевикам-ленинцам!»

В этот-то кипящий котел, за каких-нибудь несколько часов до появления гришинской листовки, как снег на голову, свалилась эта парочка — Кротов с оруженосцем своим, бесподобным Грантиком; нетрудно представить себе, что за сим последовало

Ответное послание, наспех составленное Кротовым от имени якобы подавляющего большинства этапа и широковещательно подписанное «партгруппа», гласило:

— «Клевета и ложь! Ю-Даг для нашего этапа — милость и спасение! Легкий физический труд, подсобное хозяйство, овощи, витамины — вот что такое Ю-Даг! Партия и здесь, в заключении, проявляет отеческую заботу о людях, создавая для заключенных человеческие условия труда и быта. С чувством глубокой признательности Партии и Советскому Правительству будем трудиться, не покладая рук, на любом участке социалистической Родины, честным, самоотверженным трудом искупая свою вину перед Партией. Долой троцкистских провокаторов! Партгруппа.»

Столкновение это завершилось самой яростной потасовкой и, как ни странно, принесло Кротову неожиданную моральную победу. Не говоря уже о том, что среди большинства этапа гришинское воззвание не вызвало никакого сочувствия и встречено было без особого восторга в стане самих ортодоксов, среди ближайшего гришинского окружения, предпринятая им попытка выдворить Кротова из трюма с применением физической силы произвела самое тягостное впечатление. Громоздкое, костистое туловище Кротова безвольно, точно труп, повисло на руках у Гришина и его подручных; сардоническая улыбка на изможденном лице Кротова, его крючковатые, кровоточащие пальцы, скользящие по трапу; главное же и самое невыносимое — лицо Грантика, забравшегося в самую гущу свалки и без умолку повторявшего помертвевшими от волнения губами: «Меня! меня убивайте! Меня!» — все это не могло не вызвать в лагере ортодоксов чувства содрогания. Кротова пришлось бросить на пол-

пути; на него махнули рукой, и оба они, Кротов, вкупе со своим флигель-адъютантом Грантиком, прочно окопались, в конце концов, в трюме, в качестве законных его обитателей, между тем как положение Гришина, агрессора и насильника, основательно пошатнулось. Тогда-то Гришин, в припадке отчаяния, выдвинул эту вздорную идею: судить! Судить Кротова! В партийном порядке — судить! По законам подполья... За предательство! За измену! Как провокатора!

Затея эта оказалась, однако, заведомо беспочвенной. За что судить? Какая провокация? Вправе ли мы судить человека за одну только приверженность к Сталину? Вправе ли вообще партийные свои раздоры — переносить в условия заключения? Неисправимый этот сталинец Кротов завтра будет наравне со всеми нами надрываться в зоне, спину гнуть, баланы ворочать... что прикажете с ним делать сегодня? Овчаркам на растерзание? Бубновый туз на спину! Или же — Грантик: он просто прирос к этому своему идолу, Кротову, клешами не оторвать. Изменником его объявить, с Кротовым заодно? Предателем?

Тема Ю-Дага, в общем, как-то потускнела, оттесненная более жгучей и мучительной проблемой, исподтишка подкрававшейся из-за угла и мертвой хваткой вцепившейся в самое горло: тема лагеря как такового... Человек в лагере, на грани бытия и небытия; превратности его судеб, угроза гибели, физической, духовной... Лагерная дружба, товарищество; политические распри — в условиях заключения...

Конфликт между Гришиным и Кротовым сошел, по сути, на нет, исчерпался сам по себе; он и вовсе заглох бы, не случись вдруг эта таинственная пропажа — она заново взбаламутила «Преисподнюю», страсти вспыхнули с новой силой; упавшие было акции Гришина неожиданным образом подскочили.

Докладная записка Кротова, его детище, цель и смысл его жизни! Она пропала в какое-то мгновение ока! Из-под рук исчезла, на глазах у всех, среди бела дня! Кротов метался, как хищный зверь в клетке; он рвал на себе одежды, бился в истерике, исходил пеной; задыхался, хрипел, в бессилии скрежетал зубами.

Верните! Верните мой труд! Не доводите меня! Обыскать! По-
вальный обыск «Преисподней»! Начальника конвоя, вызовите
начальника конвоя!

Бред, конечно, станет конвой ввязываться!

Дело было сделано, Докладная записка попала в оборот к
троцкистам. Она передавалась из рук в руки, штудировалась,
растаскивалась по частям; отдельные страницы переписыва-
лись, размножались, шли нарасхват, они затмили все, доселе
волновавшее умы ортодоксов. Часовая стрелка резко сдвину-
лась в сторону Гришина, все взоры обратились к нему. И снова
призрак суда взмыл над «Преисподней», Гришин выступил на
этот раз во всеоружии: Докладная записка Кротова, видите ли,
не принадлежит больше автору, она должна стать достоянием
этапа. Он, Гришин, принимает на себя всю полноту ответствен-
ности за похищение Записки, он готов ответить головой, сесть
на скамью подсудимых, тройной срок получить — он готов!
При одном непременно условии: общественный суд над самой
рукописью! Слишком уже наглый документ, слишком страш-
ный, чтобы позволить себе пройти мимо, скрыть от глаз людей!
В Записке воплощено и выставлено напоказ все зло эпохи, вся
подноготная сталинского режима. Без прикрас, без маски... Свя-
щенный наш долг — обнародовать этот редкостный, беспри-
мерный по цинизму документ, вынести его на суд широкой об-
щественности. Судить! Не автора — Кротов всего лишь рупор,
он поет с чужого голоса! Суд над Кротовщиной... Суд Чести и
Совести, суд народа!

Суд над рукописью... Над бумажкой, над голой абстракцией!
Суд **без** подсудимого... Ересь, абсурд! И тем не менее — Гри-
шину удалось на этот раз увлечь за собой тьму-тьмушую сто-
ронников.

Назначение даты суда зависело от чисто технических дета-
лей. Место действия, само собой разумеется, «Преисподняя»; на
долю трюма выпала высокая честь изобразить великолепие су-
дебного зала.

* * *

Затруднения начались с первой же минуты: Сократ наотрез отказался от участия в «спектакле», что крайне осложнило подбор кандидатуры на пост председателя суда. Невозможно было представить себе в этой роли кого бы то ни было, вместо Сократа, чье незапятнанное имя и незыблемый авторитет могли бы обеспечить суду необходимый вес и всеобщее признание. Не менее, если даже не более, затруднительным оказалось назначение защитника; защита Кротова — кто, скажите, согласится выступать в этой неблагоприятной роли? Кто возьмется? Между тем — какая же цена этому судилищу, если в нем не представлено какое бы то ни было, самое хотя бы отдаленное, подобие защиты? И вот оба эти барьера рушатся самым непредвиденным образом: на роль адвоката, ко всеобщему изумлению и восторгу, назначается не кто иной, как Агап Агапыч; что же касается председателя суда... Никто на свете не мог бы объяснить, как могло случиться, что в этой столь шепетильной роли очутилась такая одиозная и сомнительная личность, как небезызвестный Дулькин. На этот счет впоследствии распространялись всевозможные легенды; находились, в частности, скептики, весьма прозрачно намекавшие на явно двусмысленную роль Дулькина во всей этой истории. Они не прочь были взять под сомнение самую «идею» суда, утверждая, будто бы гришинская эта затея инспирирована свыше; высокое начальство, дескать, кровно заинтересовано было в том, чтобы именно сейчас, в момент приближения «Авроры» к берегам Ю-Дага, отвлечь внимание этапа, бросить людям кость — пусть грызутся, усердствуют, судят друг друга... Лишь бы не листовки, не обструкции, не телеграммы в центр! Вот, мол, откуда Дулькин, его истинное назначение в этом кукольном суде: присмотр, наблюдение, глаз не спускать! «Настанет день, нам еще припомнят этот суд, каждому в отдельности... Пальцами тыкать будут, показывать дулькинские донесения»...

Так или иначе, именно он, Дулькин, волею судеб оказался в некотором роде центральной фигурой процесса. Следует отметить, что пикантное это обстоятельство сыграло далеко не по-

следнюю роль в качестве рекламы, обеспечивающей мероприятию самую широкую популярность: весь почти этап, за исключением разве что небольшой горстки «крестиков», привалил в «Преисподнюю» для того только, чтобы полюбоваться Дулькиным в его новом амплуа — законника и арбитра; трюм был набит до отказа. Очень скоро, однако, едва только стороны скрестили оружие и на головы слушателей обрушился головокружительный каскад ораторского красноречия—пронзительные стрелы общественного обвинителя, ответные выпады защиты, удары, контрудары, подвохи, подножки и прочие приемы, рассчитанные, как известно, не столько на достижение истины, сколько на подавление и посрамление противника — в разгаре этой рукопашной невзрачная фигурка Дулькина сразу же померкла, ушла в тень, о нем попросут забыли. И лишь изредка, в критические минуты, когда страсти перехлестывали через край и грозили сорвать дело, на сцене возникала эспаньолка председателя, его обворожительная улыбка, и как-то спасала положение.

Ведущая и решающая роль, обязанность общественного обвинителя, как этого и следовало ожидать, досталась Гришину. Вступительную свою речь Гришин начал с того, что напрасно де собравшиеся ждут каких-то сенсаций, представлений, сведения счетов. Объектом судебного разбирательства не является в данном случае какая бы то ни было реальная личность, в частности, — Кротов. И даже, если хотите, не чудовищное его произведение, фигурирующее в качестве основного и единственного предмета обвинения.

— Главная загадка,занимающая умы участников суда,это вы, явившиеся сюда в роли непричастных посторонних наблюдателей, скрытые ваши помыслы и намерения... Конечное назначение сегодняшнего суда — положить конец несносной игре в жмурки, сорвать с людей маски, заставить их взглянуть, наконец, открытыми глазами на самих себя...

Подобное начало не предвещало ничего хорошего и с первой же минуты развеяло царившую в трюме атмосферу благодушия

и праздного любопытства. Глухой ропот прокатился по рядам, никто, однако, не тронулся с места.

— Прежде чем приступить к обозрению Докладной, так называемой, записки, — снова начал Гришин, скорчив презрительную гримасу, — уместно будет спросить себя: а вправе ли мы? Мы, большевики-ленинцы? Вправе ли вообще кто бы то ни было подвергать преследованию какие бы то ни было программные документы, концепции, доктрины, системы взглядов, идеологические системы? Короче говоря, устраивая этот суд над кротовщиной, не соскальзываем ли мы на позиции наших политических противников, угнетателей наших, открыто проповедующих разгром неугодных им идей и убеждений методами насилия и диктата? Не было ли бы в данном случае пристойнее, вместо односторонних приговоров и судебных решений, вызвать автора Записки на открытый и равный бой, на единоборство: идеи — против идей, убеждения — в противовес убеждениям, свободный выбор пути...

И снова переполненный трюм дрогнул, задетый за живое. Кто-то в задних рядах крикнул:

— Где он, Кротов, вы хоть покажите!

— Белиберда какая-то... Единоборство с Кротовым...

— Не морочьте голову! — взорвался кто-то еще. — Ближе к делу!

— Тише, товарищи, тише!

— Нет, в самом-то деле! Кротов! Кротовщина... Какая, в сущности, разница?

Брожение нарастало, Гришин был выбит из седла и неловко топтался, растерянно пожимая плечами.

— Как говорят в Одессе: две большие разницы...

Чей-то мягкий, задушевный голос: все вытянули головы. Над председательским столиком склонилась борода Дулькина. По лицу его расплзалась учтивейшая улыбка. Он прибавил:

— Скажем — суд над литературным героем. Законная, товарищи, вещь? Например, Евгений Онегин... Не Онегин важен, важно другое — раскусить закулисную сторону дела.

Кто-то попробовал еще возразить:

— У нас что? Читательская конференция? Суд так Суд!

Возбуждение, однако, улеглось до поры до времени, и в этом, совершенно очевидно, была прямая заслуга Дулькина.

Здесь не лишнее будет вернуться ненадолго к почтенной особе председателя суда, воздать ему должное. Это по его, Дулькина, милости из глубины века дошли до нас образцы гришинского ораторского мастерства; его, Дулькина, усилиями сохранены были для потомства протоколы легендарного этого процесса. Оказывается, в числе многочисленных прочих своих дарований, Дулькин владел еще и искусством стенографии: этому счастливому обстоятельству обязаны мы появлением на свет стенографического судебного отчета, выдержки из коего рекомендуются ниже вниманию читателя.

* * *

Председательствующий:

— Продолжайте, прошу вас.

Гришин:

— Итак, не является ли настоящий суд, по самой сути своей, покушением на святая святых революционной демократии — свободу мысли, убеждений, свободу совести?

Рискуя навлечь на себя гнев коллеги моего по процессу, Агап Агапыча, которому посчастливилось выступить здесь в благородной роли представителя защиты, осмелюсь заявить: мы, большевики-ленинцы, будучи последовательными приверженцами свободы и демократии, никогда, тем не менее, не позволяли увлечь себя по пути ложно понятой «абсолютной» свободы, абсолютной неприкосновенности убеждений — любых убеждений, безотносительно к их направлению, классовому содержанию, конечной их цели. Подобное расширительное толкование понятия «свобода» расчищает путь к власти для махровой контрреволюции, оборачиваясь, при известных исторических обстоятельствах, в прямое предательство дела социализма. Нет, в противоборстве классов мы, представители революционного марксизма, не можем позволить себе роскошь становиться в

позу соглядатаев, не можем ставить знак равенства между идеями прогрессивными и реакционными, освободительными и поработительными, революционными и контрреволюционными... Исторический опыт великого Октября и зловещее развитие событий послеоктябрьской эпохи, как и печальный урок прихода к власти фашизма в самом центре свободной Европы, учат нас беречь, как зеницу ока, священные идеи свободы и демократии, с одинаковой решимостью отстаивая их от посягательства как слева, так и справа.

После этой краткой оговорки я позволю себе поставить перед моим оппонентом вопрос в упор: считает ли он законным распространение принципа свободы и неприкосновенности — на идеологии реакционные, антигуманистические, агрессивные, несущие человечеству угрозу гнета и порабощения? С каких, любопытно, позиций собирается он на данном суде отстаивать право на существование документа, беспощадное разоблачение коего является священным долгом каждого честного революционера?

Со своей стороны, считаю долгом своим, во избежание недомолвок и кривотолков, самым категорическим образом заявить: для нас, большевиков-ленинцев, не существует никакой принципиальной разницы между теоретическими откровениями Кротова, изложенными им в Докладной записке, и программными документами наиболее оголтелых идеологов национал-социализма...

(Движение, шум, возгласы с мест: «Это уже слишком!»)

Грант вскакивает, подбегает к Гришину, потрясает кулаками: «Неправда! Вы не знаете, что есть фашизм! Я знаю, я видел! Кротов не есть нацист, Кротов-коммунист! Интернационалист!»)

Гришин (обращаясь к Гранту):

— Скажу больше, специально для Гранта: из двух этих зол — чернорубашечники и Кротов — я, не колеблясь ни минуты, отдам предпочтение первым, выступающим с открытым забралом, без прикрас, без коммунистической вуали...

(Ропот в трюме возрастает; возгласы: «Слушайте, слушайте!», «Что он плетет?», «Дулькин, куда смотришь?») Грант хватается за голову, зажимает уши.)

Гришин (продолжает, стараясь пересилить шум в трюме): ...потому что самое во всей этой игре страшное — это именно вуаль, коммунистическая вывеска, святость, на которую ловятся миллионы Грантиков... Справедливости ради и в утешение Гранту замечу: несомненным достоинством Докладной записки и заслугой ее автора является наивный цинизм и простодушие, с какими Кротов выбалтывает в своем произведении все то, что строжайшим образом утаивает официальная партийная пропаганда, не решаясь предавать огласке. Чтобы не быть голословным, обратимся, наконец, к первоисточнику — той самой Докладной записке, во имя которой вы пожаловали сегодня в этот великолепный зал. Наиболее, пожалуй, наглядной во всех отношениях является «директивная» часть Записки, в которой суммированы основные «выводы и предложения», рекомендуемые автором в качестве практической программы Партии на данном этапе. Некоторые параграфы этой программы считаю уместным предложить вниманию суда.

Параграф 1. Партийность — универсальный закон социализма.

Растущий и неусыпный контроль Партии — по мере упрочения позиций социализма. Партийность — в сфере экономики, политики, культуры. Партийность науки, литературы, искусства. Партийность на производстве, в быту, в личных отношениях. Партийность — высший критерий оценки и отбора кадров.

Партийность — ключевое звено эпохи.

Параграф 2. Под знаменем Сталина — вперед, к вершинам коммунизма.

Всеобщее и обязательное изучение биографии И.В.Сталина, его жизни и деятельности, во всех звеньях народного образования, в высшей и средней школе, в сети дошкольного воспитания. Глубокое исследование теоретических трудов И.В. Сталина Академией наук СССР, ее филиалами и научными центрами.

Включение Сталинской темы в качестве первоочередной и центральной темы современности — в репертуары театров и кино, в планы работ творческих коллективов, в текущие и перспективные планы центральных и ведомственных издательских организаций. Создание монументальных произведений музыкального и изобразительного искусства, посвященных И.В.Сталину.

Сталинское учение — путеводная звезда великой армии строителей коммунизма.

Параграф 3. Обновление советской школы — решающее условие торжества коммунистической идеологии.

Радикальный пересмотр программ и учебных планов высшей и средней школы, с целью широкого внедрения литературного наследия классиков научного коммунизма и, в первую очередь, — научных трудов В.И.Сталина.

Поголовная проверка профессорского и преподавательского состава; повседневный надзор и контроль за профессурой со стороны студенческих и школьных организаций. Смелое выдвижение на научную и педагогическую работу молодых кадров.

Взаимодействие семьи и школы. Ответственность школы за морально-политический уровень семьи. Повышение идейно-политического уровня семьи силами школьного актива. Шефство школьных комсомольских организаций — над родительскими коллективами.

Параграф 4. Советская интеллигенция на современном этапе.

Интеллигенция — коллективный агитатор и пропагандист животворных идей коммунизма. Обязательное изучение всеми прослойками советской интеллигенции полного собрания сочинений И.В.Сталина. Активное участие интеллигенции в атеистической пропаганде.

Приближение интеллигенции к производству и выработка последовательного пролетарского мировоззрения. Учреждение шефства заводов над творческими коллективами; периодические отчеты представителей интеллигенции на рабочих собраниях.

Накопление всесторонней информации о жизни интеллигенции, ее интересах, умонастроениях и групповых связях. Созда-

ние отделов работы среди интеллигенции при ЦК и обкомах Партии и в составе органов госбезопасности.

Параграф 5. Судебная реформа.

Обеспечение безопасности государства — центральная задача советского правосудия.

Изъятие из ведения органов юстиции и передача в исключительное ведение аппарата НКВД всей совокупности государственных преступлений, прямо или косвенно затрагивющих интересы госбезопасности: контрреволюционная деятельность, антисоветская пропаганда и агитация, вредительство, бандитизм, идеологическая диверсия, социально-опасный склад мышления и др. Рационализация существующего порядка судопроизводства по указанной категории преступлений, в частности, упразднение громоздкого следственного аппарата, с возложением всей подготовительной организационно-технической работы (гласный и негласный надзор, сбор агентурных сведений, обработка поступающего обличительного материала, составление списков неблагонадежных, подготовка общественного мнения) — на низовые партийные, комсомольские и профсоюзные организации, каковые и представляют обработанный материал в виде готовых списков в распоряжение Особого Совещания и его филиалов; решения ОСО, оформляемые заочно, в сугубо деловой, рабочей атмосфере, утверждаются затем компетентной комиссией ЦК Партии. Общественность как основание пирамиды, Особое Совещание — в качестве ее вершины — такова новая, предусматриваемая реформой, правовая структура, обеспечивающая высокую оперативность в сочетании с народностью. В известном смысле Реформа являет собой практическое воплощение идеи основоположников марксизма о постепенном сращивании аппарата государственной власти с общественными институтами освобожденного народа при социализме.

Параграф 6. Новый Устав Партии.

Радикальный пересмотр Устава ВКП(б) в соответствии с до-

стигнутым морально-политическим единством советского народа и небывалым монолитным единством Партии.

Е-ди-но-мыс-ли-е! Таков, согласно проекту нового Устава, закон существования партии, призванный автоматически оградить партию от возможного возникновения в ее рядах расколлических тенденций и подавить опасность в самом зародыше. Партия победившего социализма не может больше оставаться ассоциацией единомышленников в прежнем понимании этого слова; она выросла в могучее воинство, в рядах которого нет и быть не может малейших отклонений от общей линии, малейших поползновений противопоставить этой линии — свою, особую точку зрения, малейших намеков на *инакомыслие*... Всякие напоминания о «демократическом централизме», о «большинстве и меньшинстве», о «фракционной борьбе подлежат безжалостному изъятию из текста Партийного Устава, как анахронизм, противоречащий самому духу коммунистической партийности и представляющий отрывку социал-демократической пердыстории большевизма.

Единомыслие — в этом, заново понятом, принципе партийного единства найдет свое исчерпывающее выражение все богатство содержания нового Устава, его дух — и его буква! Вместе с тем, вешее это слово явится прообразом господствующих отношений советского общества, провозвестником грядущего слияния партии и народа при коммунизме...

Председатель:

— Продолжайте, тов. Гришин, продолжайте!

Гришин (после короткой паузы):

— Стоит ли? Я вижу на некоторых лицах скептические усмешки, в том числе на лице почтеннейшего нашего защитника. Можно не сомневаться: среди присутствующих найдется немало охотников изобразить Докладную записку, как шарж, как бред душевнобольного... В лучшем случае — как образец политической графомании. Увы, безумный этот шарж, при всей фантастичности своей, не содержит ни грана выдумки; он представляет собой слепок с натуры, с обезьяньей точностью копирую-

щий облик Сталинского государства в главных его направлениях:

а) Монопольное господство партии во всех сферах общественной жизни, включая жесточайший контроль над мышлением — последним бастионом человеческой свободы.

б) Ликвидация последних остатков правосудия; провозглашение беззакония и произвола — нормой правовых отношений при социализме.

в) Глубокое перерождение партии; ликвидация партии как мыслящей и самостоятельной политической организации, превращение ее в механическое орудие власти.

К трем этим китам прибавьте главную, господствующую в Докладной записке, тенденцию — обожествление вождя, и ответьте мне, я обращаюсь к коллеге своему, представителю защиты: не произошло ли в данном случае досадной опечатки, и не спутал ли автор Записки отношения зрелого социалистического общества, поборником которого он себя объявляет, — с моделью фашистского рейха?

(Сильный шум в трюме заглушает голос оратора. Перебранка среди присутствующих, возгласы: «Правильно!», «Провокация!» «Троцкистская вылазка!», «Браво, Гришин, продолжай!»).

Гришин:

— И все же, товарищи, мы судим сегодня не Кротова, а кротовщину... Заключенный Кротов, наравне со всеми нами, пал жертвой взлелеявшей его системы...

(Крики: «Хватит! Слышали!», «Где Кротов?», «Дайте слово Кротову!», «Пусть скажет!»)

Кротов (появляется в другом конце помещения, протягивает руку по направлению к Гришину: в трюме воцаряется тишина):

— Вот оно где, осиное гнездо.. Недобитые контрреволюционные выродки... Враг не сдается, он и здесь, под семью замками, поднимает голову! Я, я виноват! Все мы повинны... Выпустили змею, слушаем! С врагом не разговаривают, не пререкаются... Если враг не сдается, его уничтожат.

(Крики: «Довольно!», «Заткнуть ему глотку!», «Перерыв, перерыв!»).

* * *

Агап Агапыч, защитник:

— Считаю долгом своим выразить, прежде всего, искреннюю свою благодарность общественному обвинителю, товарищу Гришину, увлекательной своей речью значительно облегчившему задачу защиты. На протяжении всего своего замечательного выступления мой уважаемый коллега тем только, по сути, и занимался, что, сам того не замечая, развивал и углублял центральную идею, положенную Кротовым в основу Докладной записки: нетерпимость, идеологическая монополия, подавление и разгром идей противников. «Если враг не сдается, его уничтожают!» Под этим выразительным лозунгом мог бы с легкостью, не кривя душой, подписаться вслед за Кротовым, наш общественный обвинитель. Он, правда, вносит в эту формулу поправку, противопоставляя хорошие идеи — плохим, идеи прогрессивные реакционным. Возникает, однако, вполне естественный вопрос: а судьи кто? Кто правомочен выступать в области идеологии в роли арбитра, выдавать лицензии, провозглашать право на существование? В октябре 1917 года Гришин и его наставники наложили вето на программу социал-демократии, объявив ее реакционной и подлежащей уничтожению; сегодня Кротов объявляет вне закона троцкизм; завтра троцкист Гришин, дорвавшись до власти, будет огнем и мечом выкорчевывать кротовщину... Мы, сторонники социал-демократии, отстаиваем принцип свободного состязания идей — независимо от политической их окраски и направления. Только в рамках такого свободного единоборства социал-демократы видят надежную гарантию торжества разума — над безумием, торжества закона — над беззаконием, победу свободы и демократии — над гнетом и насилием. Малейшее отступление от этого принципа чревато смертельной опасностью для свободы, с неизбежностью ведя к подмене «оружия критики» — «критики оружием»... Достопочтенный наш общественный об-

винитель впадает в непримиримое противоречие с самим собой, когда с пеной у рта обрушивается против текста Докладной Записки вместо того, чтобы поставить под этим текстом собственноручную свою подпись, в качестве соавтора и единомышленника Кротова. Ибо так называемая кротовщина, объявленная представителем обвинения разновидностью национал-социализма, оказывается, при ближайшем рассмотрении, наиболее ярким и законченным выражением учения, ярким приверженцем которого по сей день является не кто иной, как уважаемый наш общественный обвинитель, товарищ Гришин. На этом пункте нам предстоит с вами несколько задержаться, принимая во внимание, что перед защитой возникает неожиданная и весьма пикантная задача: защита Гришина — против Гришина; Гришина, потенциального соавтора Докладной записки — от Гришина, ее яростного противника; Гришина, одного из зачинателей и вдохновителей так называемой кротовщины, — от Гришина, ее беспощадного судьи и обличителя...

(Шум, топот, возгласы: «Демагогия!», «Дешевая демагогия!»).

Гришин:

— За какую свободу вы ратуете? Свободу для Кротовых, для Гитлера?

Агап Агапыч:

— Для всех! Для коммунистов, социалистов, анархистов... Для националистов, сепаратистов... Свобода неделима! Конечно, в борьбе против насильственных режимов, против Гитлеров, Геббельсов, мы обязаны прибегать к любым доступным средствам. Но это уже не идейная борьба, а поле брани...

Гришин:

— Маниловщина! Змею надо уничтожить в зародыше!

Агап Агапыч:

— Этого, в сущности, и добивается Кротов в своей Записке: сплошная стерилизация умов, ликвидация «бациллоносителей» Он простить себе не может этой самой маниловщины: он по сей день не может без содрогания произнести слово «дискуссия», «полемика»... Достоинно изумления то обстоятельство, что наш общественный обвинитель не распознал в произведении Кро-

това — плоть и кровь свою, отображение собственных своих идей, их эволюцию и завершение. Настанет день и Докладная записка Кротова будет включена в золотой фонд большевизма в качестве теоретической его жемчужины, с наибольшей последовательностью трактующей сущность этого бессмертного «учения».

Гришин:

— Я протестую!

Агап Агапыч:

— В своем азарте общественный обвинитель приходит к весьма рискованным и поспешным выводам: он, не задумываясь, объявляет Кротова отъявленным фашистом, а марксистский его труд отождествляет с презренной литературой воинствующего национал-социализма. Не слишком ли много чести для разных Герингов, Геббельсов, Гитлеров и прочих адептов фашистской рати? Самого беглого ознакомления с Запиской Кротова достаточно, чтобы прийти к твердому заключению: нацизм, по сравнению с так называемой кротовщиной, — жалкий плагиат, голый, так сказать, каркас, лишенный духа кротовской политической программы. В отличие от Рейха, система, воспетая Кротовым в его Докладной записке, ее сокровенный смысл, заключается отнюдь не в стальном этом каркасе, не в создании всесильного полицейского государства, возвышающегося над обществом и противостоящего ему. Она, эта кротовская система, рассчитана на нечто куда более грандиозное! Посягательство на души людей, постепенное рассасывание самой человеческой личности, органическое ее слияние с обществом в качестве простейшей его клетки — вот куда метит великая книга Кротова и скромный ее автор. Идеальная Коммуна, целостная и монолитная! В ней утрачено всякое представление о политических страстях и конфликтах, о различии взглядов, о столкновении убеждений... Об «инакомыслии». Идеология вообще перестает быть категорией социальной и нравственной, она приобретает силу биологического закона и вводится в организм с простотой и точностью лабораторной прививки. Никаких больше социаль-

ных потрясений, взрывов, никаких внутренних противоречий... Разве не к этой социальной гармонии устремились в Октябре семнадцатого года, с Кротовым вместе, и Вы, мой дражайший коллега, со всеми вашими единомышленниками — ныне почетнейшими зэками, ортодоксальными марксистами, стойкими большевиками-ленинцами?..

Гришин (с возмущением):

— Меншевицкая контрабанда...

Агап Агапыч:

— Мы подошли, таким образом, вплотную к главному предмету сегодняшнего судебного разбирательства — к личности автора Записки...

Гришин:

— Мы не судим Кротова! Речь идет об этой гнусной рукописи!

Агап Агапыч:

— Как я уже отметил, вся проблема сводится именно к судьбе личности, ее положения в современном мире, ее соотношения с обществом, с государством. Без проникновения в духовный мир Кротова мы не в состоянии будем до конца осмыслить сущность Докладной записки, ее тенденции, если хотите,—тенденции самой эпохи. Кротов, как никто другой на нашем корабле, наделен чертами своего времени, выражает дух этого Времени... Скажу яснее: никто среди присутствующих, не исключая и общественного обвинителя, не имеет ни малейших оснований оспаривать у Кротова высокое звание большевика-ленинца...

(Шум, свист, возгласы: «Безобразие!», «Издательство!». Грант подбегает к Агап Агапычу, бормочет: «Замечательно! Жму руку!»).

Гришин:

— Дешевый фарс! Клоунада!

Агап Агапыч:

— После всего, мною сказанного, я счел бы целесообразным прервать прения сторон, чтобы дать Суду возможность заслушать показания свидетелей. К счастью, в составе этапа оказа-

лось немало лиц, в свое время близко соприкасавшихся с автором Записки и располагающих ценной для Суда информацией. Известный интерес может представить опрос людей, наблюдавших Кротова в тюремных условиях в период предварительного заключения. Надеюсь, что со стороны общественного обвинителя не встретится возражений против опроса свидетелей, принимая во внимание, что целью такого опроса явится наиболее полный анализ обстоятельств, определивших образ мыслей Кротова и обусловивших характер Докладной записки. Прошу Суд пригласить и заслушать свидетелей по представленному мною списку.

Гришин:

— Докладная Записка — сама по себе — исчерпывающим образом характеризует склад мышления Кротова и не нуждается, следовательно, в каких бы то ни было дополнительных материалах. Опрос свидетелей не только отвлек бы Суд от существа дела в сторону обсасывания биографических частных: он исказил бы самый замысел настоящего суда, его условный характер и сугубо теоретическое назначение... По этим соображениям вызов свидетелей нахожу нецелесообразным.

Председательствующий (после совещания с членами суда):

— Обсудив ходатайство защиты и возражение общественного обвинителя, Суд пришел к заключению:

а) Вызов и опрос свидетелей считать нецелесообразным и не отвечающим специфическому характеру данного суда.

б) Считать возможным огласить и приложить к делу поступившие в распоряжение Суда письменные показания, представляющие политический или психологический интерес.

Оглашение этих показаний переносится на следующее судебное заседание.

Объявляется перерыв до утра следующего дня.

* * *

Председательствующий:

— Суд приступает к зачитанию показаний, касающихся автора Записки, его партийной и литературной деятельности.

1. Монахов И.И., в прошлом — комиссар дивизии двенадцатой армии, воевавшей на Украине. Накануне ареста — зав. агитпропом райкома партии:

«Кротова я знал в период 1919-1921 годов, по совместной службе в рядах Красной армии. Кротов работал тогда инструктором Политотдела. Он выделялся среди товарищей крайней застенчивостью; в политических спорах, однако, бывал горяч и резок, впадая временами в состояние крайней экзальтации. Увлекался поэзией, выступал изредка на вечерах армейской самодеятельности со стихами советских поэтов, преимущественно — Брюсова и Маяковского. Грешил сам по этой части, но творчество свое тщательно скрывал; публиковал свои стихи в армейской печати под псевдонимом «Кроткий». Стихи были, главным образом, лирического плана, подражательские и весьма примитивные. Именно в связи с этим литературным своим увлечением Кротов потерпел серьезное крушение по служебной линии: в 1921 году, во время партийной чистки, был за идеологическую неустойчивость и подверженность буржуазному влиянию, исключен из партии и недалек от самоубийства; его затем восстановили в партии и перевели на работу в Ревтрибунал на должность командира Охраны. На этом знакомство мое с Кротовым оборвалось, и я вновь столкнулся с ним уже в этапе. Он не узнал меня, а может быть, не захотел узнавать; сам он за эти годы деградировал до неузнаваемости.»

2. Ахундов К.Л. из Казахстана; до ареста — преподаватель совпартшколы:

«Помню Кротова по Алма-Ате, где Кротов работал в первой половине двадцатых годов в органах юстиции, вначале — в должности следователя, впоследствии же — на посту областного прокурора. Часто выступал в республиканской печати со статьями по вопросам права и морали, широко используя материалы судебной практики; статьи Кротова носили, как правило, резко выраженный обличительный характер. В 1924-м году Кротов был снят с прокурорской работы «за искажение националь-

ной политики партии» и направлен на учебу в Москву, в институт журналистики.»

3. Виноградов А.И., ленинградец, участник ленинградской оппозиции. Инженер; до ареста находился в ссылке на севере Урала:

«С Кротовым познакомился в 1926 году, в Ленинграде, куда Кротов прибыл из Москвы в составе бригады ЦК партии, в порядке оздоровления ленинградской партийной организации и очистки ее от остатков зиновьевской оппозиции. Кротов был прикомандирован к Парткому Путиловского завода, где я работал тогда секретарем одной из цеховых партийных ячеек. В роли неофициального парторга ЦК, Кротов развил бешеную деятельность, перевернул на заводе все вверх дном, свирепствовал, требовал от коммунистов «саморазоблачения», «разоружения», «выдачи главарей», грозил, клеймил... У него, однако, не клеилось, высокая миссия усмирителя была ему явно не по зубам, и он попытался сменить вежи, вступив на путь уговоров, индивидуальной обработки, улещивания даже, но было уже поздно, он оказался в полной изоляции и повис в воздухе. Тогда, в припадке отчаяния, он настрочил безумное письмо в адрес ЦК, беспощадно обвиняя себя в гнилом либерализме, интеллигентщине, перерождении и проч., и проч. Письмо это получило широкую огласку, ходило по рукам, цитировалось на собраниях. — об этом позаботился преемник Кротова, некий Максаков, кандидат в члены ЦК, нагрянувший на завод во главе архиавторитетной комиссии на смену Кротову. Максаков этот принялся за работу со знанием дела: собрал широкий заводской актив, обрушился на Кротова, все свалил на его голову: грубое нарушение партийной демократии, искажение директив ЦК, подавление критики и самокритики... Он ухитрился даже убедить собрание в наличии тайного сговора Кротова с подпольной оппозицией с целью подрыва авторитета ЦК. Ему, в общем, удалось обвести вокруг пальца партийную организацию завода, Кротову слова сказать не дали, его с позором прогнали с собрания. Максаков же, не откладывая в долгий ящик, принялся за работу: тишком,

без лишней шумихи, стал выдергивать одного за другим старых путиловцев, бывших активистов, «зиновьевских прихвостней», их друзей и приятелей, приятелей этих приятелей, до десятого колена... Через каких-нибудь две-три недели он смог отрапортовать в Москву, что «задание ЦК успешно выполнено и Путиловский завод является твердыней Партии и ее Сталинского Центральнокго Комитета».

Кротов, между тем, как это выяснилось впоследствии, отделался легким испугом. Оказалось, что разгромный этот макаровский наскок на Кротова был всего лишь маскарардом, хитрой уловкой, с целью сбить с толку путиловцев и втереться к ним в доверие. Опозоренного, несчастного Кротова, после завершения операции, вызвали в Москву и, дав несколько отдышаться, направили на низовую партийную работу в Белоруссию.»

4. Луценко Р.А., из Харькова, ученый-агроном, кандидат сельскохозяйственных наук:

«Лично Кротова не имел чести знать, узнал о нем в конце 1935 года от бывшего председателя Госплана Украины Коцюбинского Ю.М., с которым тогда находился несколько дней в одной камере в киевской Лукьяновской тюрьме. Коцюбинский рассказывал мне о столкновении своем с Кротовым осенью 1931 года, в Харькове, куда Кротов прибыл в качестве Уполномоченного ЦК ВКП(б) по хлебозаготовкам, одновременно возглавив, по поручению ЦКК, комиссию по чистке партийной организации Госплана Украины. С хлебного фронта, в частности — из южных районов, порученных Кротову, стали поступать в адрес Совнаркома Украины многочисленные сигналы о беззакониях и перегибах, о запугивании колхозников, о реквизициях, о грозящем голоде и т.д. и т.п. Расследование поручено было Ю.Коцюбинскому как члену ЦК и зампредсовнаркома Украины. В свою очередь, Кротов, успешно выполнивший план хлебозаготовок и приступивший к проведению чистки Госплановской парторганизации, выступил в центральной печати со статьей на тему о процветании на Украине правооппортунистических настроений, о недооценке кулацкой опасности, о засорении централь-

ного аппарата националистическими элементами. Он особо заострил при этом вопрос о «вредительстве» в планировании и крайнем неблагополучии в аппарате Госплана, в недрах которого свило себе гнездо троцкистское подполье, — он весьма прозрачно намекал на неблагонадежность председателя Госплана, Ю.Коцюбинского, на его троцкистские колебания в годы Гражданской войны и позднее, на четырнадцатом съезде партии. Конфликт грозил перерасти в крупный партийный скандал, поскольку тень была брошена, косвенно, на руководство Украинского ЦК. Кротова обвинили в политическом шантаже; был пущен слух о его помешательстве, назначена медицинская экспертиза; его спасло вмешательство ЦКК, поспешно отозвавшей Кротова в свое распоряжение, в Москву.

Рассказывая мне эту историю, Коцюбинский поражался политической дальновидности Кротова, который тогда еще, в 1931 году, предвосхитил роковое развитие событий 1936-37 годов. «Если не прозрение, — ломал голову Коцюбинский, — то что же? Неужели подсказка? По оперативной линии? Неужели тогда уже, пять лет назад, они охотились за мной, подкапывались, фабриковали дельце? Мне ведь на допросах все время тычут теперь эту кротовскую статейку, от 1931 года, козыряют ею... Не думаю, однако, не та порода: фанатик чистой воды, — такие не покупаются, не продаются.»

5. Казаков М.М., москвич, журналист:

«Впервые узнал о Кротове, не будучи еще лично с ним знаком, весной 1935 года, по статье его в журнале «Большевик» под заголовком «Диверсия троцкистско-бухаринского блока на теоретической арене». Автор статьи, вызвавшей переполох в партийных журналистских кругах, отличался, как мне сказали, крайней партийной страстностью, ортодоксальностью и фанатизмом. Тем более я был ошарашен, когда осенью того же года до меня дошел слух о какой-то невероятной романтической истории, в которой Кротов фигурировал в роли героя-любовника, пытавшегося соблазнить жену арестованного троцкиста; Кротов был пойман будто бы с поличным при намерении всучить этой даме

пачку ассигнаций. Все это дошло до меня через трети руки и особого доверия, конечно, не внушает.

Вторично судьба столкнула меня с Кротовым уже в тюремной камере, в феврале 1936 года. Все мои попытки познакомиться с ним поближе, разузнать подробности, причину ареста потерпели неудачу. Он целыми днями строчил, писанину свою прятал, ни на минуту с ней не расставался. Его еженощно возили на допросы, и он до того, видимо, к ним пристрастился, что с ума сходил, если его оставляли на день-два в покое. После одного из таких допросов он в камеру не вернулся больше, что также послужило предметом бесконечных гаданий на кофейной гуще. Когда же тайна внезапного его исчезновения была, наконец, расшифрована, все ахнули от изумления, никто не мог поверить. Поверить, однако, пришлось, факты — упрямая вещь. Кротову, оказывается, была устроена в кабинете у следователя очная ставка с неким Архангельским закадычным другом Кротова, который сам же, между прочим, друга этого и посадил. Во время очной ставки Кротов до последней минуты слепо следовал за следователем своим, повторял за ним слово в слово, подтверждал, подписывал страницу за страницей, топил этого Архангельского... И в самую последнюю секунду, перед тем как подвести черту, его точно кипятком обварили: он повалился в ноги другу своему, разревелся, на следователя набросился, протоколы вырвал у него из рук, изорвал, устроил форменный погром. Его унесли оттуда на носилках, без сознания, уже не в камеру — он попал прямехонько в карцер. Все это до мельчайших подробностей стало известно от самого Архангельского, через соседней по камере.»

Председательствующий:

— Письменные свидетельские показания исчерпаны. На имя суда от одного из присутствующих поступила записка с просьбой заслушать, в порядке исключения, устное его показание, принимая во внимание, что в одном из зачитанных сейчас свидетельских сообщений допущено досадное искажение, нуждающееся в разъяснении. Автор записки, хорошо известный этапу

под кличкой «профессор», являлся до самого ареста преподавателем института Красной профессуры, слушателем которого состоял Кротов; показания такого компетентного свидетеля представляют для Суда вполне естественный интерес. Со стороны представителей обвинения и защиты — возражений против устного опроса свидетеля не встречается. Суд считает возможным заслушать свидетеля Александра Юрия Федоровича. Пожалуйста, профессор...

«Профессор»:

— Прежде всего, считаю долгом своим развеять смехотворный миф о любовных интригах Кротова, избалованного будто бы в намерении соблазнить жену своего приятеля... Кротов — в роли обольстителя! Надо окончательно потерять чувство юмора... Речь идет, скорее всего, о памятном партийном собрании нашего Института весной 1936 года, когда Кротов, достигший к этому времени высокого положения зам. секретаря парткома института Красной профессуры, выступал с очередной разгромной речью, громя на этот раз «Бухаринскую школу», незадолго до этого брошенную в тюрьму. Особенно доставалось от Кротова молодому и талантливому историку, Б.А.Архангельскому, с которым Кротова действительно связывала давнишняя дружба, если допустить, что Кротову вообще доступны были такие эмоции, как чувство симпатии, привязанности, дружеской преданности. И вот, едва дождавшись окончания доклада, на трибуну вырывается проникшая каким-то образом на собрание жена Архангельского с сенсационным заявлением: «Кротов, — заявляет она, — после ареста Архангельского дважды присылал ей, через доверенных лиц, продуктовые посылки для передачи в тюрьму ее мужу; он же, Кротов, от чужого имени перевел ей по почте деньги для покупки теплых вещей и передачи их Архангельскому перед отправкой в этап; у нее есть неопровержимые доказательства, как и доказательства того, что список так называемой бухаринской группы, со включением в нее Архангельского, передан был в НКВД лично Кротовым. Сегодня он клеймит ее мужа, объявляет его двурушником, предателем...

Кто же, спрашивается, двурушник?» Как дикая кошка бросилась она на Кротова, ее с трудом удержали. Нельзя сказать, чтобы выходка ее произвела особо сильное впечатление на собрание; люди ко всему уже привыкли, их ничем уже не удивишь. Кротова, однако, не стало, он незаметно исчез с горизонта. Через каких-нибудь три-четыре месяца он очутился в одной клетке с Архангельским, в разных, конечно, камерах.

Председательствующий:

— Вопросы к свидетелю имеются? Пожалуйста, Агап Агапыч!

Агап Агапыч:

— Скажите, свидетель, вы только что изволили выразиться: «Люди ко всему привыкли, их ничем не удивишь». Как прикажете понять?

«Профессор»:

— Я имел, конечно, в виду реакцию собрания, что же еще?

Агап Агапыч:

— Никакой, следовательно, реакции? Сочувствия, хотя бы этой несчастной женщине? Возмущения...

«Профессор»:

— Никто особенно не углублялся, не забирался в дебри.

Агап Агапыч:

— Какие же, помилуйте, дебри? Человек продает друга своего, отдает на растерзание. Потом пробует откупиться, передачи, деньги... Наконец, доклад этот, обработка общественного мнения.

«Профессор»:

— Какое, извините, общественное мнение? Пустой звук. Вам должно быть известно: так называемое общественное мнение, как явление стихийное, неуправляемое, противоречит самой природе нашего строя.

Агап Агапыч:

— Ну, не общественное мнение. Элементарные, скажем, человеческие реакции остались же? Неужели никто не взорвался, не выступил, не плюнул в лицо Кротову? ...Вы, хотя бы?

«Профессор»:

— Никому в голову не приходило. Честно говоря, многих история эта как-то даже обезоружила, сострадание какое-то появилось, никто не ждал от Кротова ничего подобного.

Агап Агапыч:

— Чем вы, все же, объясните такую инертность собрания, безразличие? Косностью, что ли? Тупостью? Страхом?

«Профессор»:

— Ни то, ни другое, ни третье. Скорее всего, реализм, марксисты, как-никак... Все отлично понимали— дело тут не в Кротове.

Агап Агапыч:

— Прикажете ли понимать вас в том смысле, что Кротов, в данном случае, — явление не исключительное, не уникальное? Что Кротов, в каком-то плане, — эталон, знамение времени?

«Профессор»:

— Не берусь судить; современнику — не под силу.

Агап Агапыч:

— Благодарствую, вопросов не имею.

Председательствующий:

— Прошу вас, тов. Гришин!

Гришин:

— Скажите, свидетель: как вы расцениваете возможности Кротова как ученого? Его способности, эрудицию?

«Профессор»:

— Как и все мы, икаписты, Кротов, прежде всего, начетчик, схоласт. Если и были какие-либо задатки, они были умерщвлены в зародыше.

Гришин:

— Докладная записка Кротова — тоже, по-вашему, схоластика, ничего больше?

«Профессор»:

— Не представляю, как можно принимать всерьез подобную галиматью. Типичный образчик икапистской стряпни.

Гришин:

— Вы полагаете естественным, что институт Красной про-

фессуры, высшая научная лаборатория Партии, ее мозговой трест, так сказать, докатился до подобной стряпни?

«Профессор»:

— Какой, простите, мозг? Какая наука? Блевотина, наукой не пахнет.

Гришин:

— Причины? Причины? Неужели же — сплошное убожество, недоучки? Абсолютное отсутствие талантов?

«Профессор»:

— Было время — ИКП блистал.

Гришин:

— В чем же дело?

«Профессор»:

— Для науки, как известно, помимо талантов, нужно кое-что еще... Воздух! Глоток свежего воздуха! В этом-то каждый отдавал себе отчет, никто не питал иллюзий.

Гришин:

— Все знали, понимали — и в ус не дули? Ходили на собрания, слушали Кротова, рукоплескали... Так, что ли?

«Профессор»:

— Мы, кажется, отклоняемся от темы...

Гришин:

— Напрасно вам кажется, мы как раз к ней и подбираемся. Ибо дело обстояло, в действительности, далеко не так просто, как вы это изображаете. Существовали, кроме Кротовых, еще и Архангельские, они задыхались, гибли...

«Профессор»:

— С оппозицией давным-давно было уже покончено.

Гришин:

— Имелась скрытая оппозиция, скрытые очаги несогласия, протеста. Каждый стоял перед проблемой выбора.

«Профессор»:

— Какой же выбор? Между Кротовым — и тюремной камерой? Донкихотство, борьба с ветряными мельницами.

Гришин:

— Тем не менее, находились Дон-Кихоты, выбирали для себя камеру.

«Профессор»:

— Можно ли требовать от людей самоубийства? Во имя чего?

Гришин:

— Во имя внутренней свободы хотя бы.

«Профессор»:

— Слишком дорогая цена.

Гришин:

— Вопросов больше не имею.

* * *

Председательствующий:

— Судебное заседание продолжается, Суд возобновляет прения сторон. Слово имеет представитель защиты. Прошу вас, Агап Агапыч.

Агап Агапыч:

— Перед нашими глазами, уважаемые товарищи, промелькнула сейчас сложная человеческая жизнь, исполненная противоречий и драматизма. Из глубины сумбурных и грозных лет Гражданской войны на нас глядит лицо молодого Кротова, фронтовика и энтузиаста, любимца муз, лирика и мечтателя, — до чего же несовместимо лицо этого юного коммунара с обличем сегодняшнего Кротова, до чего неузнаваемо! Где, на каких путях могло свершиться чудовищное это превращение? Зачитанные здесь свидетельские показания дают нам недвусмысленный ответ на этот вопрос; наподобие мощного прожектора вылавливают они из тьмы времен проделанный Кротовым дрейф — бесславный путь постепенной утраты человеком дарованной ему Богом личности, последовательного, шаг за шагом, отказа от самого себя, всего своего человеческого я.

В 1921 году Кротову наносится первый, предупреждающий, так сказать, удар: не смей мыслить, чувствовать! Замри! Е.го, как гнилого, «подверженного буржуазному влиянию» интеллигентушке, снимают с военно-политической работы и перебра-

сывают на службу в Трибунал, охранником, на предмет идеологической закалки, не иначе. Школа эта приносит свои плоды: поднявшись вверх по служебной лестнице и достигнув высокого поста областного прокурора, Кротов в 1924-м году вновь попадает в переделку, на этот раз по поводу перегибов и нарушения революционной законности — бедняга, видимо, перестарался. В жестокие годы внутривластных раздоров Кротов каким-то образом оказывается в самой гуще свалки: ему оказывают высокое доверие, направляя в Ленинград на борьбу с зиновьевской оппозицией. И снова Кротов не выдерживает марки, «перегибщик» неожиданно уступает в нем позиции мягкотелому интеллигенту; на голову его снова опускается молот Времени — за потерю бдительности его перебрасывают на низовую работу, в сельскую местность. В 1931 году мы видим уже Кротова «на переднем краю» фронта, в водовороте бушующих страстей, на Украине. Когда-то почитатель Маяковского и автор лирических виршей, Кротов, Особоуполномоченный ЦК ВКП(б) по хлебозаготовкам, железной рукой выколачивает последние остатки хлеба из колхозных амбаров, насаждает колхозы-гиганты, он всей душой отдается новой своей миссии. Он удостоивается чести возглавить комиссию по чистке центрального советского аппарата, вскрывает в Госплане Украины вредительский троцкистский центр, ему мерещатся кругом подвохи, заговоры, вражеские маневры. Не задумываясь, он бросает дерзкий вызов партийному руководству Украины, и сам повисает на краю пропасти — только благодаря всесильной руке Москвы, он избегает уготованной ему палаты в психиатрической больнице.

В середине тридцатых годов, в самый разгар ежовщины, Кротов на гребне волны: он выступает с докладами, пишет теоретические статьи, провозглашает новую эру в развитии марксизма; все это, однако, видимость одна, фасад; главное, что от него требуется, — фамилии, списки. И Кротов, на положении лидера партийной организации Института Красной профессуры, послушно фабрикует эти проскрипционные списки. Не ищите в Кротове каких-либо признаков дьявольской воли, подлости,

карьеризма; Кротов не душегуб, не убийца. Он вообще больше не Кротов, не живое человеческое существо, со свойственными последнему сомнениями, страстями, мучками; Кротов — металлический винтик, деталь чудовищного механизма, неумолимому ритму которого подчинено каждое его движение. Время от времени в нем пробуждаются какие-то отголоски угасших чувств; в 1936 году Кротов, одной рукой подписывая списки «врагов народа» и обрекая на гибель ближайших своих соотоварищей, другой рукой, трясущейся и скользящей, собирает продуктовые передачи для им же преданного друга. Уже в неволе, за тюремной решеткой, Кротов не выдерживает очной ставки с Архангельским, отрекается от своих показаний, бьет отбой... Последние конвульсии агонизирующей совести; они, в конце концов, прекратятся и перед нами, в идеальной своей чистоте, предстанет автомат, робот, «солдат революции». Нетрудно в этом автомате угадать потомка знаменитой когорты «профессиональных революционеров» начала века: стойкость, дисциплина, верность приказу! Все это было приукрашено тогда фиговым листком так называемой внутрипартийной демократии; в своей Докладной записке Кротов с солдатской прямолинейностью вышвыривает вон эту ветошь, он объявляет «демократический централизм» предрассудком, излишней роскошью. Железный авторитет партийного «руководства», его бессменных вождей; тотальный контроль за сознанием миллионов; великая и непобедимая армия роботов — таков конечный итог двух десятилетий партийной истории. Кротов в своей Докладной записке декларирует этот итог, он сам — частица этого итога; в этом защита видит неразрывное единство Докладной записки и ее автора, их необоримую силу, силу самой жизни. Мой уважаемый коллега, общественный обвинитель, в ужасе шарахается от Кротова, единоутробного брата своего; он сегодня отрекается от него, клянет, предает анафеме. С неменьшей запальчивостью клеймил он в Октябре семнадцатого года нас, социал-демократов, предвещавших неминуемую эволюцию Кротовых... Остается полюбопытствовать: извлек ли мой друг Гришин необходимые для себя

уроки этой эволюции? В чем усматривает ее смысл, ее глубокие корни? Где предполагает искать выход из тупика?

Я кончил.

Председательствующий:

— Слово для ответа предоставляется общественному обвинителю. Пожалуйста, тов. Гришин!

Гришин:

— Мы только что выслушали пространную лицемерную речь, в которой фарисейское двуличие переплетается с поистине иезуитским ханжеством, а злопахательство политического банкрота — с лукавством интригана. Все в этом выступлении перевернуто вверх ногами: политика — и психология, жгучая проблематика революции — и никому не нужные биографические раскопки. Суть этой речи, если отбросить прочь словесную шелуху, сводится к бессмысленной тавтологии: большевизм — это Кротов, Кротов — это большевизм. В бессмыслице этой кроется, однако, вполне продуманный расчет, заключающийся в том, чтобы, под видом защиты Кротова, очернить великое знамя Октября, а с помощью Докладной записки — опорочить священные идеи социализма. Перед лицом этих жалких попыток с негодными средствами мне придется, фигурально выражаясь, сменить прокурорский мундир на мантию адвоката, чтобы попытаться восстановить кое-какие исторические истины, касающиеся самых животрепещущих проблем века: личность и общество, их соотношение в революционную эпоху. Сталинский режим — и судьбы большевизма. Личность Кротова — и традиции «профессиональных революционеров»? Самого поверхностного ознакомления с так называемыми «свидетельскими показаниями» вполне достаточно, чтобы оценить по достоинству приемы представителя защиты, с ловкостью профессионального жонглера, подтасовывающего совершенно очевидные исторические факты и на глазах, как говорится, у изумленной публики — выворачивающего наизнанку самый ход исторического процесса. Оказывается, если поверить на слово просла-

вленному нашему защитнику, небезызвестный этот Кротов, столь удачно, невзирая на частичные провалы, поднимающийся выше и выше по партийной лесенке, он, оказывается, всегонавсего — робот! Безответный солдат, слепо выполняющий чужую волю; ничтожный винтик... «Винтик» этот уже в начале двадцатых годов достигает положения областного прокурора, которого собственное начальство вынуждено одернуть за чрезмерное усердие; ему вверяется затем жезл эмиссара ЦК Партии, командируемого в истекающий кровью Ленинград — добывать остатки зиновьевской оппозиции. В этой почетной роли Кротов оказывается, правда, не на должной высоте; он вообще проявляет тенденцию время от времени спотыкаться, сбиваться с ног, что, однако, не мешает ему снова возвращаться в строй, чтобы, наверстывая упущенное, добиваться новых и новых рекордов. В страшные дни разгула Ежовщины мы застаем героя нашего в торжественном облачении партийного идеолога, весьма успешно совмещающего сугубо «теоретическую» деятельность с эмпирической практикой сыска и доносительства. И этого-то деятеля «новой формации», глашатая новой. Сталинской эпохи нам рекомендуют поставить в один ряд с профессиональными революционерами ленинской школы, являвшими пример дополнительного отречения от себя, от всего личного, своекорыстного во имя беззаветного служения народу! Как никто из предшественников, они, эти «чернорабочие» от революции, гармонически сочетали в себе величие революционного порыва с расцветом вдохновенной личности, в слиянии своем с коллективом достигая наиболее полного воплощения творческих своих сил! Надо утратить последние остатки стыда и чести, чтобы рядом с именами этих подвижников поставить презренные имена приспешников нового режима, готовых по первому требованию принести героическое свое прошлое, свое будущее — на алтарь сталинской диктатуры.

Нет, не самоотречение, не слепое следование чужой указке! Измена революционному долгу, предательство коренных интересов социализма — вот что такое Кротов и его Докладная за-

писка, в которой он открыто смыкается с рыцарями Коричневой чумы...

Грант:

— Вы не можете так сказать! Вы не смеете! Клеветничество!

Гришин:

— ...Тысячи, десятки тысяч Грантов бегут из фашистского плена, они ищут спасения в коммунистическом нашем раю. Попадая из огня в полымя, они судорожно цепляются за Кротовых, отдают им свою душу, свое сердце. Во имя этих обманутых, в назидание будущим поколениям — мы обязаны возвысить свой голос, заявить во всеуслышание: «Не верьте, обман! Вы преданы! Термидор!» Мы должны твердить это слово ежедневно, ежеминутно, повсеместно! На площадях, на заставах, на каждом перекрестке — везде и всюду возвещать: «Термидор! Термидор!»

(Сильнейший шум, ропот, многие вскакивают с мест, пьются к выходу. Возгласы: «Замолчите!», «Хватит!», «Куда он гнет!», «При чем — Кротов!», «Что Гришин, что Кротов, — хрен и редька!», «Закругляйся!»)

Гришин:

— Вы беситесь, слушать не хотите! Что Гришин, что Кротов — вам одинаково наплевать! Вам давно уже на все наплевать — в этом, по сути, весь секрет! Вы! Вы главные виновники! Если бы не вы — разве могло бы все это произойти? Ваше безразличие, покорность ваша, раболепие... Вы сами посадили на шею себе узурпатора, расчистили путь Кротовым; термидор — в каждом из вас! Не Революция обезличила вас — вранье, клевета на Революцию! Вы сами! Выдохлись, превратились в стертые монеты, умыли руки... Замкнулись в собственной скорлупе, в семейках своих, квартирах, служебных кабинетах... почили на лаврах! Вы продали первородство свое за чечевичную похлебку — вот откуда начинается термидор, власть тирана! Имейте же мужество признать свою вину...

* * *

Гул негодования потряс помещение трюма, оборвав на полуслове патетическую речь Гришина, а с нею заодно стенографические упражнения Дулькина. Поддавшись общему возбуждению, и ты, Павел, не в силах дольше сдерживать свой пыл, сорвался с места и, подскочив к Сократу, стал трясти его, требовать:

— Какой же это суд! Истязание, поджаривание на медленном огне! Они сговорились, Агап Агапыч и Гришин! Им ничего не стоит весь мир ошельмовать, посадить на скамью подсудимых! Но вы, вы! Вы не вправе дольше тянуть, отмалчиваться...

Неожиданная твоя вспышка подлила масла в огонь, хаос в трюме достиг своего апогея. Люди бесновались, орали, свистели, хватили друг дружку, грозили... Процедура суда на этом, возможно, закончилась бы, если бы не Дулькин, который, забравшись на стол и бешено потрясая скомканной грязноватой бумажкой, пронзительно кричал, стараясь пересилить поднявшуюся кругом свистопляску:

— Внимание, товарищи, внимание! Спокойствие! Выдержка! Минута спокойствия, прошу вас! Поступило заявление! Прошу занять места!

Когда трюм приутих и присутствующие, с любопытством поглядывая на бумажку в руке у Дулькина, стали неуверенно рассаживаться, Дулькин провозгласил:

— Заявление — от Кротова! Разрешите огласить?

Он выждал, подраживающе помахивая своей бумажонкой, и, лукаво про себя усмехнувшись, прибавил:

— Однако, товарищи, раньше чем обнародовать этот документ, могу я как председательствующий воспользоваться правом на заключительное слово?

По лицам промелькнул легкий смешок; послышалось несколько жиденьких возгласов: «Просим, просим».

— Так вот, братцы, — Дулькин повеселел, — заключительное свое слово, с вашего разрешения, — он подзадоривающе оглянул аудиторию и решительно закончил, — уступаю Сократу. Он это сделает, поверьте, почище сотни Дулькиных. Пожалуйста, Сократ.

Кто-то не очень уверенно запротестовал:

— Брось дурака валять. Дулькин! Читай, давай! Кротова дай нам!

Возможно, уловка Дулькина не удалась бы, но в эту минуту с ним рядом, у председательского стола, появился Грант, трясущийся, сам на себя не похожий, с восковым лицом и перепуганными крольчичими глазами. Одной рукой он механически почесывал кончик носа, другою производил какие-то нелепые движения, как бы зачерпывая ею воздушные волны.

— Я, я скажу! — еле слышно пролепетал он. — Дайте мне...

— Громче, Грант! — подбодрил чей-то голос. — Крой, не стесняйся!

Лицо Гранта вдруг напряглось, побагровело:

— Шепуха все это, — выпалил он залпом и запнулся. — Какие могут быть «термидоры?» Шепуха...

— Молодчина, Грант! — кто-то негромко похлопал в ладоши.

— Камунист! — успел еще вымолвить Грант, имея в виду, очевидно, Кротова; пошатнувшись вдруг и медленно опускаясь на пол, он пролепетал:

— С балшой буква...

Его подхватили, бережно оттащили от стола. Среди возникшего смятения Дулькин подтолкнул Сократа, вытолкнул его вперед:

— Что же вы, Сократ? Вас слушают.

Сократ неуклюже топтался на месте с застывшими, устремленными в сторону Гранта глазами; глядел, как поят Гранта из котелка и вода заливает его лицо, ручьями стекает вдоль тонкой худой шеи. Незаметно обернувшись к Гришину, он пробормотал:

— Ну вот. Этого вы добивались?

Не дождавшись ответа, он произнес негромко, небрежным тоном, обращаясь к Гранту:

— Что вы, Грантик! Какой же это «термидор»? Слова одни...

Он продолжал говорить очень тихо, неуверенно, ни на минуту

не отрывая глаз от Гранта, как бы оправдываясь перед ним и прося прощения. После задиристой речи Агап Агапыча, после Гришина, его бичующих, хлестких ударов плеча — все услышали вдруг робкий голос обвиняемого, последнее слово подсудимого. По скамьям пробежал шорох, народ притих, насторожился.

— Никто еще, по сути, не может сказать с уверенностью, — продолжал Сократ рассуждать как бы про себя, — никто еще не знает, чем все это кончится. Больше того: далеко еще не решено, что, собственно, произошло. «Термидор»... Гришин, не переставая, шеголяет этим словечком, он убежден: все кругом негодяи. шкурники, хриstopродавцы; они начисто забыли свой революционный долг, отринули, уступили арену Кротовым. Разоблачить Кротовых, сорвать с них личину, вывести на чистую воду. — Гришин ни о чем другом не мечтает. Он, по сути, недалеко ушел от противника своего, Агап Агапыча; тому ведь тоже не терпится — скорее поставить крест, очернить, втоптать в грязь: Кротова, Гришина, всех подряд, ему не жалко. Существует еще, однако, Грант, его отчаяние, его наивная вера...

Сократ осторожно взглянул на Гранта: тот сидел понуро на полу, обхватив руками голову; он, видимо, не слушал оратора; тем не менее, когда Сократ умолк, Грант беспокойно замотал головой и с готовностью вытянулся в сторону Сократа:

— Прóшу...

По лицу Сократа скользнула едва заметная усмешка, и он продолжал среди всеобщего напряженного молчания:

— Весь секрет в этом, главным образом, и заключается: не в личности Диктатора, не в Бонапартах и их подручных; главная тайна эпохи — Грантик, его легковерие, его неиссякаемый идеализм! Ибо Грантик — не исключение из правила; крупница Грантика в каждом из вас! Миллионы Грантиков! «По зову партии» они обрекают себя на позор и унижение, принимают смерть, восходят на костер — во имя коммунизма... не удивительно ли? Агап Агапыч объявляет их политическими трупами, рóботами; Гришин именует предателями, термидорианцами... Увы, нечто

куда более страшное! Смертельный ужас людей, попавших в кораблекрушение! Они еще не осознали, что с ними стряслось: их захлестывает, бросает в пучину, возносит: они задыхаются, захлебываются, хватаются за соломинки... В мозгу у них все переместилось, исказилось, как в кривом зеркале. Революция! Партия! Социализм! Простейшие, казалось бы, чисто эмпирические схемы, придуманные человеком в качестве практического инструмента повседневной деятельности, приобрели вдруг таинственную силу, превратились в жупелы, властвующие над сознанием своих творцов. Из простого средства упорядочения жизни — они незаметным образом превратились в гланую и исчерпывающую цель человеческого существования: «Вперед! К победе коммунизма!» Катастрофическое смещение понятий, трансформация привычных представлений, отчуждение идей. По шучьему велению, все рухнули вдруг, пали ниц перед идолами — творениями собственных рук; поверженные в прах, коленапреклоненные, мы воздвигли им жертвенники, пьедесталы, пантеоны, готовые поступиться для них заветными своими мечтами, честью своей, совестью. Доносы, клевета, предательство — все, все решительно — во имя «построения фундамента Социализма», во имя Партии, ее великого Учения, гениального ее Вождя! Мы стали произносить эти вещие слова не иначе, как с большой буквы, придумывая все новые и новые, внушающие трепет эпитеты, предназначенные для возвеличения и увековечения кумиров. Культ партии, подкрепленный иерархией вождей, слепая вера в силу ее резолюций и постановлений; поклонение ее авторитету — все что осталось от прежних поисков и дерзаний. Из глубины тюремных казематов, из смрада лагерных бараков, из-за колючей проволоки доносятся истошные вопли десятков, сотен тысяч Кротовых: «За Родину! За Сталина!», «Слава великой Партии!» «Да здравствует непобедимое знамя марксизма-ленинизма!», «Да здравствует коммунизм!» Душераздирающая мольба безумствующих, несчастных, потерявших рассудок людей, за душой у которых не осталось ничего, кроме мучительного ощущения неискупаемой своей вины и сознания собственного

ничтожества. Надо, следовательно, прежде всего, позаботиться о том, чтобы вернуть людям веру в *себя*; напомнить им о существовании неких вековых, немеркнущих ценностей: *правда, добро, справедливость!*

Намекнуть им, что не может же, не должно возникать никакого антагонизма между незыблемыми этими человеческими святынями и такими преходящими, сугубо историческими изобретениями человеческой мысли, как Социализм, Партия, Диктатура. Разъяснить им, что, коль скоро государству этому, Диктатуре этой, ради торжества Социализма, позарез потребовались лжесвидетели, клеветнические процессы, обман, террор, братоубийство, — какая же цена такому «социализму»? Не пора ли в этом случае начать все заново, прокладывая какие-то новые, еще не изведанные пути в будущее, в поисках истинного, подлинного социализма? Конечно, понадобятся годы, — голос Сократа упал, выдохся. — Ну что же, времени у нас хоть отбавляй. — он попытался улыбнуться, — пять, десять, пятнадцать лет... Слава Богу, НКВД позаботился.

Сократ незаметно попятился, пропал из виду. Среди всеобщего молчания послышался насмешливый, обращенный в пространство, голос Агап Агапыча:

— Хотелось бы услышать: кто-нибудь, когда-нибудь видел его, этот истинный социализм? Кто видел, поднимите руку!

Подождав, он прибавил:

— С первых же дней, заметьте, с первой же минуты — одно и то же: ЧК, репрессии, Соловки... Погоня за собственной тенью! Карикатура на социализм!

— Вы слышали, Сократ? — Гришин, негодуя, озирался, ища глазами исчезнувшего Сократа. — Карикатура... Настоящий политический язык! Вот у кого учиться вам, Сократ!

Он рванулся вперед, бросив на ходу Дулькину:

— Председатель, мне слово! Последнее слово — за мной!

Ему, однако, не пришлось продолжать. Не обращая больше внимания на Дулькина, который, протиснувшись к выходу и загораживаясь, точно плакатом, Кротовским заявлением, надры-

вался изо всех сил, пытаясь остановить людской поток, — обезумевшая толпа, тесня и опрокидывая друг друга, ринулась вверх по лестнице, на ходу допытываясь: «Где? Кто? Кто сказал? Дайте взглянуть!» Никто еще не понимал толком, в чем дело; одно магическое слово витало над головами и гнало людей вверх, на палубу: «Ю-Даг! Ю-Даг! Ю-Даг!»

Действительно: в сумеречной дали, неожиданно-негаданно, будто смутный мираж среди песков пустыни, возникло нечто фантастическое... Какие-то призрачные очертания горной гряды, пирамиды и скалы, каменные утесы и террасы, узорчатые башни и плиты, устремленные к небу стрельчатые конусы, — перевозданный хаос, поражающий глаз скрытой гармонией и волшебной, столь неожиданной в этом пустынном краю, красотой.

— Ю-Даг, товарищи, чудо природы! Северная Ривьера!..

Сказочное видение всех ослепило и взбудоражило, сообщив чувствам и мыслям людей на палубе радужное, оптимистическое направление. Не так уже, быть может, все безнадежно, как это кажется... Возможно, начальство, действительно, передумало, решило оставить этап на зимовку в этом оазисе — чем черт не шутит? Кто-то, возможно, позаботился о нас, предусмотрел все заранее; партия — она всегда так: одной рукой карает, другой милует. Само собой разумеется, какие-то хозяйственные расчеты, планы какие-то, — не без того: горный кряж, все-таки, залежи руды, нефти, ископаемые всякие, редкие какие-нибудь металлы... Черт возьми, красотища какая! И вот среди этих красот не сегодня — завтра вырастет соцгород! Какой-нибудь новый Хибиногорск, Комсомольск-на-Усе... Проспекты, кварталы, дворцы культуры; институты, лаборатории... Нашими мозолистыми руками, усилиями эзков, первопроходцев; самоотверженным трудом коммунистов, несправедливо осужденных! К социализму ведут необязательно гладкие, проторенные пути: на нашу долю выпала трудная, но благородная задача — прокладывать путь к социализму окольными, извилистыми тропами. Мы не дрогнем, не отшатнемся...

Липовое это судилище и его персонажи: Кротов, Грантик, представители обвинения и защиты, Сократ, с его мудрствованиями, — все отодвинулось, кануло в прошлое. Впереди открывалась манящая панорама Ю-Дага, дразнила, подбадривала, будила воображение: скорее! Скорее к этому чудесному берегу, навстречу новой жизни!

О, неистребимый наш, спасительный, «жизнеутверждающий» оптимизм! Не он ли сопровождал нас повсеместно и повсечастно, споспешествовал нам в наших мытарствах и скитаниях, сопутствовал нам, не оставляя ни на минуту. В зарешеченных теплушках, в бараках Воркуты и в трущобах Игарки, всегда и всюду был неотлучно с нами, возбуждал в нас дух бодрствования, гасил страх, подавлял ужас. Исцелял нас в тяжкие дни голода и холода, гнал вперед и вперед — осваивать новые моря и земли, вселял в нас ненасытную жажду жизни. Учил безропотно глушить обиды, сносить оскорбления и прощать. Приучал нас, как домашних зверей, к бичу и к ласке хозяина, приручал нас. Научал быть мягкими и податливыми, как воск, и твердыми, как сталь; перековывал, закалял. Чудотворный наш, с кровью матери всосавшийся, в веках прославленный оптимизм...

Очарованный, вглядывался ты, Павел, в сумрак нависающей осенней ночи, томимый смутными тревогами, не предвидя еще, что ждет тебя у подножия сказочного горного кряжа, и какие шутки собирается на этот раз шутить с тобой судьба-мачеха.

Флагманский катер «Кроткий» дрогнул вдруг, покачнулся и завопил не своим голосом, вспугнув и разметав пронзительным своим гудком безмолвие лесной чащи; ловко развернувшись, он потянулся затем к недалекому затону, оставляя в стороне красоты Ю-Дага, увлекая за собой громоздкую тяжеловесную «Аврору» с ее живым и мертвым инвентарем, ее зэками, овчарками, пулеметами. Этапу предстояло еще промаяться в этом безлюдье долгую томительную ночь, последнюю бессонную ночь, перед тем как удостоиться ступить на гостеприимную землю Ю-Дагского инвалидного лагеря. Сотни глаз с беспокойством и на-

деждой следили, не отрывая глаз, за тонущими во мгле горными вершинами безмолвствующего Ю-Дага.

* * *

Агап Агапыч:

— Надо отдать вам справедливость, Сократ. Они слушали вас тогда, разинув рот.

Сократ:

— Разбередить людям раны ничего не стоит.

Агап Агапыч:

— Вам всегда верили — все дело в этом.

Сократ:

— Сегодня мне, завтра вам... Все это слишком шатко.

Агап Агапыч:

— «Отчуждение идей»... «Истинный социализм»... Откуда вы все это выкопали? Сплошная отсебятина! А ведь представьте — звучало! Уши развесили...

Сократ:

— Оно звучит и сегодня, четверть века спустя! Еще, пожалуй, похлеще! После Хрущева, после Мао-Цзе-Дуна... Все вылезло наружу, вся кухня!

Агап Агапыч:

— Прошу прощения: никто сегодня слушать вас не станет, ни один щенок. Все мы выглядим сегодня последними кретинами: вы, я... жаль — Гришина нет. Любопытно, что запел бы нынче наш Гришин, будь он жив?

Сократ:

— Бушевал бы пуше прежнего, можете не сомневаться.

Агап Агапыч:

— Бушевал бы — это точно. Неизвестно только — где бушевал бы? Скорее всего, у Сербского или на Канатчиковой даче. Сейчас все это решается проще: никаких Ежовых рукавиц! Доктор в белом халате, больничная койка, два дюжих санитаря... Достижение передовой советской науки.

8

**МУЖАЙСЯ,
ХУДШЕЕ ВПЕРЕДИ!**

— ВСЕ-ТАКИ, Дулькин... Положа руку на сердце: ваших рук дело было?

— Дался вам этот суд...

— Да нет же! Бог с ним, с судом. Павел Малашкин, его этот трюк в Ю-Даге...

— Я при чем?

— Ваш почерк, Дулькин, сразу видать. Сплошной блеф...

— Поверьте, Дулькин никогда не решился бы подставлять чужую голову.

— Как же, как же... Самые лучшие намерения! Спасти друга! Вырвать его из цепей лагеря...

— Все, что от меня зависело, не спорю: маршрут, адреса, харчи — я считал своим долгом. Техпомощь, так сказать.

— Смысл? Смысл всего предприятия — вы можете объяснить?

— Павел никогда не гнался за дешевым эффектом.

— Неужели же он мог сумасбродство это принять всерьез: пробиться в Кремль! «Открыть глаза» тирану! Повернуть ход истории... Это было бы уже чересчур! Скорее соглашусь — Ксения, их фантастическая встреча... Взрыв отчаяния, Зверев, жажда возмездия... Тоже, впрочем, мало вероятно, на Павла не похоже...

— Не будемте, доктор, тревожить память покойника.

* * *

Впоследствии, очутившись снова со всеми вместе, за колючей проволокой, ты готов был, Павел, присягнуть, задним числом, что все произошло именно так, из-за нее — версия эта больше всего тебя устраивала. Да, Ксения, она и есть первопричина: она толкнула тебя на край пропасти — пусть думают! Баба, что мо-

жет быть проще? Не станут, по крайней мере, копаться в душе у тебя, выворачивать тебя наизнанку. Подтрунивать над тобой... Почешут языки — и отстанут.

Однако, Павел, не кривя душой: завязывалась вся эта история — до всякой Ксении; Ксения возникла потом, под самый конец, — последняя капля, переполнившая чашу. Созревало же предприятие это исподволь, неприметно для глаза; накапливалось, капля за каплей. Был этот суд, была ночь после суда, был Дулькин — он показался тебе этой ночью не Дулькиным вовсе: шестикрылый серафим, посланец неба, — вот в кого обернулся вдруг Дулькин...

«Аврора» в эту ночь не смыкала глаз: Ю-Даг был рядом, он звал и манил, томил сердца. В ожидании рассвета люди крихтали, ворочались с боку на бок, вздыхали, они даже не перешептывались, по обыкновению, промеж себя; каждый хранил мечту свою при себе, оберегал ее, боялся испугнуть. Изредка до тебя долетали обрывки фраз, они переворачивали в тебе все вверх дном, выматывали душу, вгоняли в дрожь. «Аврора» была наполнена трепетным упованием, ожиданием близкой зари: дождаться бы... первое утро новой жизни! Вчерашний этот суд — его как будто и не было никогда! Суток не прошло, они слушали эти речи с замиранием сердца, безумствовали, торжествовали; сегодня никто больше не заикался, все было предано забвению, сброшено со счетов. Один ты — корчился в муках, изводил себя, не в состоянии свести концы с концами. Бедняга! Ты, оказывается, не на шутку уверовал в это судилище, ждал от него каких-то откровений, прозрения — отрывка недалекого твоего прошлого, детская твоя вера в силу слова! Больше всех других, тебя, само собою, вдохновил Сократ; он всегда ухитрялся взвинчивать тебя, забираться в самые затаенные уголки твоей души. И на этот раз: он подхватил твою, по сути, тему — муки Авеля, младшего брата... у Сократа оно прозвучало особенно убедительно! Разве не факт, что в каждом из нас — крупинка Гранта; больше того — зародыш Кротова... Сократ попал не в бровь, а в глаз: он призывал к прозрению, к свержению кумиров. ты вос-

прянул духом, тебе почудилось: вот он, выход из тупика, стоит ногой ступить. Теперь ты лежал опустошенный, сомнения раздирали тебя. Ты снова и снова перебирал в памяти выпретенные речи Сократа. «Истинный», «подлинный» социализм... Сократ не сомневается, он верит во второе пришествие. А что если все это построено на песке, если нет никакого другого социализма, кроме этого вот, зримого, сущего, который вокруг тебя, включая Лефортово, «Аврору», и черную, наползающую, как свинцовая туча, Воркуту? Если это он и есть всамделишный социализм, реальный, как сама жизнь, другого нет и быть не может... Поскольку социализм — это, прежде всего, люди, такие, как есть, с их нуждами, пронырливостью, грызней... Поскольку социализм — это, в первую очередь, хлеб насущный, который еще предстоит добыть! Тяжелый каждодневный труд, и жесткий расчет, и понуждение, и суровая кара; через все это необходимо как-то прорваться, протиснуться; перелезть через ухабы и рывтины, через грязь, через нечистоты... Что ежели прав Зверев, и социализм — это всего-навсего «новый способ производства», нечто сугубо материальное, вещественное, и — как всякая новая формация — он рождается в муках и крови? Вспомни у Маркса, первоначальное накопление капитала: «овцы сожрали людей»...

— Ура-ура, старина! Мы вроде взрослеть начинаем, — голос Зверева самодовольный и уверенный, несколько за эти годы не изменился; он прорывался откуда-то издалека, через просторы Ледовитого океана, по руслам северных рек. Ты заерзал, что-то в тебе екнуло, с готовностью отозвалось; схватки со Зверевым всегда задевали тебя за живое, он преследовал тебя постоянно, никогда, по сути, не умолкая. — Итак, дружище, новый, говоришь, способ производства? Он возникает на чьих-то костях, на чьей-то крови? Я не ослышался?

Ты осторожно возразил:

— Если принять действительность нашу — за социализм.

— Только что ты изволил подтвердить: какой ни есть, а все же — социализм, другого не бывает. «Зримый», «сущий»... Очень оно складно у тебя получилось.

— Однако, — ты стал незаметно пятиться назад, — предполагалось нечто совсем другое... Во всяком случае, не на костях и не на крови...

— Чепуха! Никто не предполагал! Марксисты открыто провозглашали: принуждение, подавление, насилие... Бескровных революций не бывает.

— Революция — другое совсем дело, — поспешил ты согласиться. — Гражданская война, подавление классовых врагов, никто не оспаривает. Но вот — социализм победил, и что же? Поднимись на палубу, взгляни на этих «врагов народа»... Убедись!

— Снова ты скатываешься, — в голосе Зверева зазвучали нотки раздражения. — Сам же говорил: через ухабы, через рывтины, через понуждение и кару... Никто за язык тебя не тянул. Чего тебе еще нужно?

— Мне нужно — прожить по-человечески, — простонал ты. — Прожить свой век без подлости, без стыда, без сделок с собственной совестью.

— Ну и живи, — грубо перебил голос. — Тысячи, миллионы людей, с партбилетами и без оных, живут, трудятся, каждый делает свое дело, каждый вносит свою лепту. Никто не мечется, не умничает. Один ты — путаешься в ногах, скулишь... Жил бы, как все, процветал бы... Ордена выколачивал бы...

У тебя помутилось в голове.

— Я... Я не могу, пойми, — пролепетал ты в отчаянии. — Я просто не способен...

— Другие почему-то могут! — с новой силой обрушился на тебя голос Зверева. — Умеют как-то сочетать личное с общественным. Давнишний наш спор, вспомни.

— Подниматься вверх по лестнице, — глухо пробормотал ты, — карьеру делать, покрывать себя лаврами... Когда рядом такое, брат на брата. Когда вершится Суд, и на карту ставится сама совесть... Извини, не каждый способен.

— Тогда пропадай, — прогремел с негодованием голос Зверева. — Сгнивай в лагерях, бездарно, глупо, как последний уркаган.

* * *

После каждой твоей схватки со Зверевым, хотя бы и воображаемой, ты, Павел, уходил с поля боя истерзанный, побитый. И не потому вовсе, что на стороне Зверева имелись будто бы какие-то преимущества, отнюдь нет, ты никогда не оставался у него в долгу; и все равно — он подминал тебя, опрокидывал, сбивал с ног. Какая-то за плечами у него была силища, сильнее всякой логики, мощнее самой Правды; перед лицом этой мощи доводы твои бледнели, блекли, лопались, как мыльные пузыри. Ты чувствовал себя ничтожной пешкой рядом с этой глыбой, возвышавшейся за спиной у Зверева и носившей высокопарное наименование: «История». У нее, у глыбы этой, свои какие-то особые мерки; ей ничего не стоит сбросить со счетов любые величины, списать, пересортировать, перекроить заново. Ей безразличны твои страстишки, волнения твои, твое отчаяние; она глядит поверх тебя куда-то вдаль, в звездное пространство, и оттуда, из своего далека, оглашает бесстрастные свои приговоры. Главное же — она никогда не бывает не права; ей нипочем никакая «Аврора», никакая Воркута. Настанет день, и «Аврора» будет вычеркнута из памяти людей, а Воркута войдет в летопись века, как некая героическая эпопея, и внуки будут потом песни слагать про первопроходцев, пионеров советского Заполярья. Не тебе, Павлу Малашкину, не Сократу, не Грантику... и даже не Кротову. Чего же, в этом случае, стоят ваши старания, ваши смертные муки? Есть ли смысл, вообще говоря, в бутылку лезть, копы ломать? Не проще ли отдаться на милость Времени, шагать в ногу с Веком, как все, как это делают миллионы людей? Быть может, в этом и заключается высший разум истории, и устами Зверева с тобой препирается сама Вечность, ее мудрый опыт, ее непреложные законы? «Почему другие могут»... Зверев пригвоздил тебя напоследок, тебе нечего было возразить.

В состоянии глубокого изнеможения ты направился к Сокра-

ту, душу отвести. Безмятежное выражение лица Сократа, его «дежурная», как ты ехидно про себя подумал, улыбка показались тебе на этот раз совершенно неуместными и даже слащавыми. Ты напустился на него с едва скрываемым раздражением: что он там наобещал им, в своей декларации на суде? Какой-то новый вариант социализма, бескровного, мирного, сплошная идиллия... Молочные реки и кисельные берега... Как, интересно, он, Сократ, мыслит устройство этого идиллического общества. — можно полюбопытствовать? Государственная власть, партия — как все это будет выглядеть? Избирательная система, например, составление списков, выдвижение кандидатов...пустить по воле волн? Агап Агапыч — он, надо полагать, тоже не станет сидеть сложа руки; где гарантия, что он не возьмет верх? Как быть с ведущей ролью партии, ее монопольным положением — сдать в архив? Этого как раз и добивается Агап Агапыч! Печать, как представляет себе Сократ свободу печати? Внутрипартийную демократию? Раскрыть настежь двери, отмена цензуры, неограниченная свобода фракционной деятельности?.. Что? Ленинский стиль руководства? Но разве не с ленинского благословения воздвигнута была гигантская партийная машина? Не на глазах ли у Ленина возвысился Сталин, его наместник и преемник? Развитие шло от Ленина — к Сталину, а не наоборот; история, как известно, не возвращается вспять...

Сократ слушал молча, не перебивая; чуть-чуть заметная усмешка изредка кривила его губы, но он тотчас же спохватывался и становился подчеркнуто внимателен и строг, время от времени повторяя про себя: «Вы больны, Павел, вы тяжело больны...»

Невозмутимость Сократа выводила тебя из себя, туманила твое сознание; ярость захлестывала тебя, опьяняла, переходила всякие границы.

— По сути говоря, — продолжал ты выламываться, — между ними нет никакой существенной разницы, между Сократом и Гришиным. Оба они — политики до мозга костей; оба мнят себя ленинцами; оба, если на то пошло, метят в вожди. В каком-

то плане Гришин, пожалуй, даже более последователен: он не растекается по древу, не мудрствует... Прет и прет напролом, зовет на баррикады! У Сократа и этого нет. голая лирика; больше всего его заботит чистота идеи. Какой, однако, толк в этом его целомудрии? Никто не думает сейчас о переоценке ценностей, о новейших вариантах социализма. На уме у всех одно: Воркута, Ю-Даг, лесоповал, шахта, инвалидная зона... Куда податься — они только об этом и помышляют. Во сне и наяву им мерещится одно и то же: завкомы, парткомы, собрания, заседания, кафедры, юбилеи, сталинские премии... Помилования, амнистии... Они пропитаны этим духом до корней волос, они и в лагере будут лезть из кожи вон, пухнуть будут, погибаться... Что делать для них сегодня, завтра — об этом Сократ подумал? Не кажется ли ему, что дело сейчас не в идеях вовсе, не в доктринах; надо, в первую очередь, спасти людей, миллионы человеческих жизней, их бранные тела, их души...

— Вы больны, Павел, вы тяжело больны. Вас мутит от собственной вашей непомерной честности. Она захлестнула вас, заглушает все остальное; она грозит сожрать вас живьем... Берегите себя, Павел...

* * *

Истерика твоя, Павел, могла бы продолжаться целую вечность, не появившись на горизонте Дулькин: он вынырнул из темноты, где, видимо, отсиживался, оставаясь незримым свидетелем твоего иступления. Бросив на тебя мимолетный взгляд, он, как ни в чем не бывало, обратился к Сократу:

— Куда, все-таки, прикажете девать эту бумаженцию?

В руках у него болталась какая-то бумажонка, та самая, которой он орудовал во время суда, пытаясь овладеть аудиторией.

— Кротовское сочинение, не узнаете? «Последнее слово подсудимого»... Угодно зачитать?

Не дожидаясь ответа, Дулькин принялся за чтение. После первых же слов ты вскочил, как ужаленный, вырвал бумажку из рук Дулькина, проглотил ее залпом, про себя.

— Нет-нет, быть этого не может! — пробормотал ты, чувст-

вуж, что у тебя подкашиваются ноги. — Ни один уважающий себя человек... Рука не поднимется подписать такую мерзость!

— Двадцать семь подписей, — безразличным тоном возразил Дулькин. — Первые, так сказать, достижения. Кампания сбора подписей продолжается.

— Дайте хоть полюбоваться, — Сократ протягивал тебе руку, все с тою же миролюбивой, сочувственной усмешкой, — надеюсь, дипломатические наши отношения, Павел, будут все же восстановлены?

Оказывается, под видом «Последнего слова подсудимого» Кротов подсунил Дулькину наскоро им изготовленный во время суда текст обращения на имя Сталина. «Мы, нижеподписавшиеся, — гласило обращение, — осужденные органами Советского правосудия на различные сроки за контрреволюционную антисоветскую деятельность и следующие ныне в Ухтопечорские исправительно-трудовые лагеря для отбывания срока наказания, обращаемся в штаб родной нашей коммунистической партии и лично к вам, дорогой Иосиф Виссарионович, со следующим ходатайством:

1. Дать указание по линии ГУЛАГа о немедленном изъятии из нашей среды непримиримых и злостных врагов Партии и Советского народа — троцкистов и примыкающих к ним отщепенцев, до сих пор еще не сложивших своего отравленного оружия и продолжающих, в условиях заключения, вести подрывную деятельность, направленную на разложение лагерной дисциплины и взрыв изнутри системы исправительно-трудовых лагерей.

Указанные контрреволюционные троцкистские элементы, в интересах поддержания и укрепления лагерного режима, выделить в особые штрафные отряды с содержанием их в специальных режимных подразделениях, в условиях строгой изоляции.

2. Учредить в системе ИТЛ, по образцу МТС и предприятий ж.-д. транспорта, институт политотделов, на каковые возложить проведение широкой массово-воспитательной работы среди заключенных, с упором на разоблачение и окончательный разгром к.-р. троцкизма и его агентуры внутри лагеря, пере-

воспитание основной массы лагерников в духе советского патриотизма и коммунизма и вовлечение их в активную производственно-трудовую и общественную деятельность на благо Родины.

3. По прибытии этапа на место назначения — сформировать из его состава ударные бригады коммунистического труда с повышенными производственными заданиями.

Сметем с лица земли контрреволюционное троцкистское отродье — агентуру мирового империализма!

Да здравствует ЦК ВКП(б) и мудрый вождь народов И.В. Сталин!»

Подписи.

— Ну и что же? — спокойно спросил Сократ, возвращая обращение Дулькину. — Чем еще порадуете?

— Три десятка подписей. — с готовностью повторил Дулькин. — не худо для начала.

— Мерзавцы. — прошептал ты, задыхаясь.

— Что вы, Павел. — Сократ развел руками. — не вижу логики. Вы только что с таким азартом доказывали...

Дулькин перебил:

— Пущен слух: кто подпишет — останется в Ю-Даге, с инвазидами: кто не подпишет — угонят на Воркуту. Теперь торопятся, опережают друг дружку. Только бы избежать Воркуты.

Оставив без внимания Дулькина и обращаясь к одному тебе, Сократ сказал, как бы в утешение тебе:

— Согласен с вами. Павел, в одном: нынешний кризис — он не вмещается больше в узкопартийные, политические рамки. Он перешагнул через все пределы, от него не отмахнуться больше никакими Ежовыми, никакими Бонапартами. Проблема нравственности, она не сойдет отныне с повестки дня. Сим победишь...

Ты не стал слушать: еле передвигая ноги, ты поплелся прочь.

Тебя тошнило; с трудом поднялся ты вверх по трапу; прошел, пошатываясь, между вагонок. Никто не спал; люди собирались небольшими кучками, о чем-то шушукались, что-то друг другу украдкой передавали — тебя никто не замечал. «Ю-Даг, Ю-

Даг», — волшебное это слово не сходило с уст, оно ползло по палубе, жужжало в ушах у тебя.

— «Подписи собирают», — мелькнуло в твоём воспалённом мозгу. — Господи! Позорище какое!

Тяжкий груз обрушился на тебя, сдавил голову, сжал сердце: тебе нечем стало дышать. С трудом протиснулся ты на край палубы, пополз вдоль борта, перегнулся; безмерная усталость овладела тобой, ты покачнулся. Чья-то рука вцепилась в тебя, оттащила в сторону, подальше от бортового ограждения.

* * *

— Что вы там плетете, Дулькин?

— Courage: the worst is before!

— Какая-то каша у вас во рту. Повторите.

— Мужайся, говорю... худшее впереди. Не я придумал, англичане выдумали. Английские мудрецы.

— Оставьте меня, Дулькин. Вам померещилось...

— Молчите, Павел, молчите.

— ...никто не собирался топиться, вешаться, просто смешно. Легкое головокружение...

Он провозился с тобой всю эту ночь, не отходя ни на шаг. Это была доподлинно фантастическая ночь; Дулькин не был больше Дулькиным, а ты перестал быть Павлом Малашкиным. Мысли приобрели вдруг непривычную легкость, подвижность, слова наполнялись двойным смыслом; само Время и Пространство утратили свои границы. Вы витали оба в призрачном мире, в котором не существовало ничего несбыточного, недоступного, все стало вдруг предельно простым, достигаемым. Мудрено ли, что сумасбродный этот план созрел именно этой ночью, у вас обоих сразу, почти одновременно, хотя и на различной совершенно основе. У каждого из вас — свой замысел, у каждого — своя цель: у тебя — спасение Человечества, у Дулькина же — масштабы поскромнее, его помыслы этой ночью сосредоточены были на тебе одном: как бы понадежнее тебя запрягать, вырвать тебя из этого пекла. Этой ночью, кстати, ты впервые открыл для себя Дулькина; тебе, по крайней мере, так показалось.

— Сколько, Дулькин, подписей?
— Пустяки, Павел, единицы...
— Вы говорили — десятки... Теперь, вероятно, за сотню пере-
валило?

— Есть о чем говорить.

— Где Грантик? Надо найти Гранта, предупредить его.

— Поздно, Павел.

— Неужели подписал? Не может этого быть.

— Первый по счету. Теперь валяется, ногти грызет.

— Сходите, Дулькин, за Грантом.

— Подождем, пусть почешет затылок, помучится, вперед ум-
нее будет. Лагерь недаром зовется — *академия*. Школа комму-
низма...

— Вы все развлекаетесь, Дулькин.

— Я вполне серьезно. Мой братец, например, считает: лагерь
— единственный якорь спасения. Башковитый братишка мой;
что ни говори — цека партии.

Дулькин пошел расписывать своего брата. Талантливый ин-
женер, конструктор, каким-то образом очутился в аппарате ЦК
партии, зав.промышленным отделом; черт дернул его окунуться
в этот омут. У него сейчас свой взгляд на всю эту чехарду: лаге-
ря, уверяет он, пороховой погреб, с лагерей все и начнется. Кое-
кто в ЦК отдаст себе отчет; они ждут подходящего момента —
свалить Ежова. Карлик этот всех прибрал к рукам, включая Хо-
зяина. Он забросал Сталина фальшивками, не дает ему опом-
ниться: протоколы следствий, признания подсудимых, донесе-
ния иностранных разведок — все пущено в ход! Говорят, очные
ставки и те устраиваются порой на глазах у Сталина, для вящей
убедительности. Конечно, в особо важных случаях: Зиновьев-
Радек, Коссиор-Постышев... Друг дружку уличают, топят, а
Этот — ручки потирает, упивается. Он такие спектакли обожа-
ет, хлебом не корми. Он никому больше не доверяет, никого не
признает, одного Ежова. Документики, вроде кротовской чело-
битной, для Ежова — находка. Брат считает — не все еще поте-
ряно: надо во что бы то ни стало разоблачить Ежова, вырвать

Хозяина из плена, раскрыть на все глаза. Писать, писать! Из тюрьмы, из лагерей, всякими правдами и неправдами пробиваться к секретарям ЦК, долбить в одну точку: Ежов! Ежов обманывает руководство, продает партию, оптом и в розницу; он добирается до ближайших соратников Сталина, скоро доберется до Самого... Факты, факты! Фамилии следователей! Списки жертв! Широкая кампания в лагерях, среди заключенных: пробить стену лжи, добраться до Москвы...

Электрический ток пронизал тебя, судорогой пробежал по телу, вспыхнул где-то в глубинах мозга. Ты взглянул в глаза Дулькину — он показался тебе неузнаваемым. Как и ты, он трясся, пылал, вы в эту секунду слились, спаялись воедино. Экстаз ваш продолжался недолго, одно лишь мгновение, но в это именно мгновение и возникла, должно быть, сумасшедшая эта идея, возникла — и погасла. Ты постарался взять себя в руки.

— Ваш брат, Дулькин, большой оригинал.

— Не мне чета.

— ...Нашел «якорь спасения», нечего сказать. Лагерь...

— Почему бы и нет? Не те лагеря пошли нынче, учтите! Цвет партии, старая гвардия...

— Мы с вами, Дулькин, видели эту «гвардию»... «Спасайся, кто может», — единственная их забота.

— Ничего еще не значит. Братец мой убежден: клубок постепенно распутается, именно — в лагерях. Правые, левые, троцкисты, децисты, враги народа — все пойдет насмарку. Люди поймут, наконец, чего все это стоит, договорятся, найдут общий язык.

— Общий язык — с Кротовым?

— А что Кротов? Сексот? Доносчик? Он действует открыто, это ценить надо.

— Это его обращение к Сталину... хуже всякого доноса.

— Но что, Павел, прикажете делать такому Кротову? В нем тоже страсти бушуют. Закоренелый сталинец, цекист; прикажете рот зажать?

— Пусть бушует, трубит во весь голос! Пусть прорывается через все преграды, в Кремль, в ЦК, по рецепту вашего брата! Пусть выкладывает перед ними, как на ладони, все что видел, слышал, испытал на собственной шкуре... Допросы, ночные вызовы, так называемые «чистосердечные признания»... Начистоту, без утайки, всю правду — он обязан! Его священный долг...

— Священный долг, допустим. Однако, почему именно Кротов? Не я, не вы?

Ты опешил от неожиданности. В самом деле: почему, собственно, Кротов? Почему не Дулькин, не Павел Малашкин? И снова — разряд молнии опалил тебя, пронзил тебя насквозь, ярким пламенем отозвался в мозгу — тебе стало душно.

— Что-то, Дулькин, надо предпринять, — выдавил ты из себя через силу, проваливаясь куда-то в бездну. — Мы не вправе сидеть сложа руки. Кротов бросил нам вызов, всем.

Ответ Дулькина донесся до тебя еле-еле, уши у тебя точно ватой заложило.

— У меня здесь, на буксире, — мечтательно прошептал он, на тебя не глядя, — приятель завелся, Ромка...

— Какой еще Ромка? Вы заговариваетесь, Дулькин.

— Роман, из obsługi. Вольнонаемный, кочегаром работает. Можно положиться, как на Господа Бога.

* * *

Дулькинский проект показался тебе не таким уже безнадежным. Ромка этот, из судовой obsługi на барже, он — царь и бог! Он поведет «Аврору» в обратный рейс, до самого Архангельска; он берется препятать у себя Павла, доставить его в Архангельск и оттуда, через какое-то время, в Москву. В Архангельске у Романа старики, а под Москвой, в Люберцах где-то — старшая сестра; она работает паспортисткой. и ей ничего не стоит раздобыть для Павла паспорт. У них брат в заключении, четвертый год... они готовы в огонь и воду, можно поручиться. Мог бы, конечно, и Дулькин, собственной персоной; ему, однако, нельзя соваться в Москву, носу показать нельзя, ставить под удар брата. Другое дело — Павел, никакого особого риска. Дулькин-

младший, который в ЦК партии, все для него сделает, можно не сомневаться. Павел передаст ему ценнейшую информацию: Бутырки, Лефортово, методы допросов, издевательство над арестованными, беззакония... Мина замедленного действия — под Ежова! Самое во всей этой операции рискованное — момент выгрузки этапа на берег, по прибытии в Ю-Даг. Начнутся всякие счета-пересчеты, проверки, переклички, конвой может обнаружить нехватку; тогда — все насмарку! Перевернут «Аврору» вверх ногами, из-под земли достанут! Они с Романом все это предусмотрели, нашли выход: на подходе к Ю-Дагу, в самую последнюю минуту, перед выгрузкой, поднять тревогу — человек в воде, заключенный! Сиганул через борт, свалился, может быть, нечаянно, иди разберись! Роман, для видимости, швырнет в воду мешок с балластом, и сам плюхнется следом, спасать, вроде, утопленника... Конвой с ума сойдет, бросится прочесывать реку; пусть чешут, у них подводников нет. Павел это время будет отлеживаться в угольном бункере, комар носа не подточит...

Все это было не слишком убедительно, но ты не стал рассуждать. Мысль твоя реяла в поднебесье, тебе виделась белокаменная, Кремлевские башни, Василий Блаженный... Перед тобой растворяются двери ЦК партии; ты вытаскиваешь свой ценный груз: груды «дел», четыре сотни биографий, одна другой хлеще; Грантик, Кротов... история с телефонным справочником... Сотни честных коммунистов, ни в чем не повинных, оклеветанных... Тебя окружают, слушают, зубами срежешут; члены Политбюро, секретари, быть может, даже — генсек... Они читают, перечитывают, за голову хватаются! Факты, горы фактов!

— Мы с вами не рехнулись, Дулькин?

— За себя — ручаюсь! Такие, как Дулькин, в воде не тонут, в огне не горят.

— Зачем на себя клеветеете, Дулькин? Напускаете на себя, придуриваетесь?

— Откуда вы взяли?

— ...охота вам — в клоунах ходить, рыжего разыгрывать.

— Всегда обожал цирк!

— Можно подумать — вам безумно весело!

— А что? Скучать не приходится!

— В этапе — весело... Звери в клетке — и те с тоскидохнут.

— Представьте себе, Павел: в тюрьме, в этапе — весело...

Душа радуется! Люди, кругом люди! Они липнут к тебе, раскрываются, душу отводят. Обратите внимание — до чего у всех языки развязались! На воле когда-нибудь бывало? Вспомните: все жмутся, прячутся, живого слова не услышишь! Мертвечина... Поверите — я в тюрьме будто заново родился!

— Вы плохо кончите, Дулькин!

— Мужайся, худшее впереди!

Он стал вдруг тебе чем-то очень дорог, этот Дулькин. Ничего, как будто, за душой у него нет, по крайней мере, — на первый взгляд. Веры в Бога, как у «крестиков» этих, и той нет. Хлопотун, услужлив сверх меры; вертится, как вьюн, льнет к каждому, никем не брезгует. У него по горло дела — чужого дела. Он не может без людей, ему каждый нужен, он каждому обязан. Он занял свою позицию у противоположного звена цепи: «крестики» на одном конце, Дулькин — на другом; «крестики» — лицом к Богу, Дулькин — к людям. Его не очень-то люди чтут, не беда; он, знай себе, делает злое дело.

— Признайтесь, Дулькин, вы все это специально для меня изобрели? Ради спасения моего?

— С вами, Павел, сразу видно: каши не сварить.

— Какой-то вдруг Ромка, сестра-паспортистка... чушь махровая! Главное — из-за чего сыр-бор? Павла Малашкина вызвать, из огня вытащить.

— Не одного Павла! Если повезет...

— Бросьте, Дулькин! Кто поверит?

— Давайте, Павел, по-честному: в лагере вам, по всему видать, не житье. С вашим нравом — загнетесь раньше кого-либо другого... Почему не рискнуть: самому ноги унести и... людям послужить, заодно! Вдруг — удача...

— Служение людям, — подумал ты вслух. — Казалось бы,

чего проще? А мы ищем, голову ломаем. Ларчик просто открывается.

— Ларчик всегда просто открывается,— согласился Дулькин

— Был бы ключик...

— Ключик у вас, Дулькин; вы даже не предполагаете.

— Вам, Павел, пора! — Дулькин забегал, заторопился вдруг. У нас с вами еще куча дел!

Он умчался, как метеор, успев шепнуть тебе на ходу, самым беззаботным тоном:

— Вещички соберите, на всякий пожарный случай. Вернемся вдвоем с Романом.

Он оставил тебя одного, наедине с твоими сумбурными безрадостными размышлениями. Неужели — правда? Последняя твоя ночь на палубе «Авроры?» Настанет утро, и не будет, возможно, рядом с тобой Дулькина, Грантика, Сократа... не будет больше бедлама этого, именуемого этапом? Никакого Кротова не будет, грызни никакой, конвоя... Невообразимый переполох поднялся в тебе, раньше времени; все в тебе заныло, заклокотало, предстало в совершенно новом свете: раздоры ваши, бесконечная эта говорильня, суд — во мраке «Преисподней», ночь в загоне—преддверье загадочного Ю-Дага. Все стало вдруг до боли близким, кровным; даже уродина этот, Кротов, — он больше не вызывал в тебе никакой ненависти, никакого негодования. Этап... Горстка изгнанников, безродных, бездомных, выброшенных за борт; они плетутся еле-еле, из последних сил; не знают еще конца пути. Кому-то посчастливится, быть может, уцелеет; кто-то обречен заранее. Они бредут понуро, склонив головы, готовые в любую минуту ринуться врассыпную, устремиться, куда попало, за соломинку цепляться, в надежде на спасение. Увы, спасения не жди! Скрепленные одной и той же цепью, вы наглухо прикованы друг к другу, один и тот же рок тяготеет над вами, не дает разомкнуться. Несчастные, вы еще не научились понимать, что эти ваши оковы, вынужденное ваше содружество — единственный, быть может, залог спасения вашего, выхода из тупика?

Неужели же, Павел, ты рискнешь вырваться из цепи, обособиться, остаться в единственном числе, один среди безбрежного, холодного, враждебного тебе мира? Ужели хватит решимости?

* * *

Сорвалось! Лопнула ваша затея, как мыльный пузырь! Могли ты предполагать, что поперек дороги у тебя судьба воздвигнет не каменные барьеры, не могучие какие-нибудь валуны — она жестоко посмеется над тобой, бросив под ноги тебе соринку, пушинку малую, и пушинкой этой окажется всего-навсего Грантик, незлобивый твой, добродушный Грантик! Он, он перевернул вверх дном дерзновенные твои замыслы...

Когда паника, в конце концов, улеглась, и этап, сопровождаемый двойной цепью вооруженной охраны, спускался по склонам на пустынный берег Ю-Дага, ты, Павел, плелся позади всех, посрамленный, с поникшей головой, не смея взглянуть в глаза людям. Тебе казалось — все кругом пристально разглядывают тебя, пальцами показывают, гогочут: взгляните на этого Анику-воина! Он собирался море зажечь! Москву захватить! Провозгласить хартию вольностей! Полюбуйтесь на этого красавца, — где это его угораздило? Трубочист, весь в саже...

Ты готов был воем выть, свидетелей звать, божиться: ты ни при чем! Совершенно, между прочим, напрасно; никто на тебя в эти минуты внимания не обращал, не замечал тебя, расписной твоей физиономии, — им было сейчас не до тебя вовсе! Грант — вот кто был в это утро героем дня; отчаянное его сальто-мортале, головой вниз, в мутные волны Усы... Меньше всего кто-нибудь думал сейчас о Павле Малашкине.

...Все шло у вас поначалу, как по маслу. Роман этот оказался мировым парнем, за спиной у него ты почувствовал себя, как у Христа за пазухой. Утром рано густой туман висел еще над рекой. и «Аврора» только еще собиралась выбраться из затона и двинуться вверх по течению в сторону недалекого Ю-Дага — у вас все уже было наготове: Роман, со своим балластом, притаился, готовый к прыжку; Дулькин стоял на дозоре, готовый по-

дать сигнал тревоги; сам же ты был надежно забаррикадирован в угольном бункере, и никакие на свете овчарки не могли бы тебя там обнаружить. В эту-то решающую секунду — баржа оторвалась уже от берега и, под двойной тягой обоих катеров, выбралась на середину реки — раздался выстрел, глухим эхом отзвавшийся в чаще леса. Этап, как один человек, вскочил на ноги, а палуба мгновенно превратилась в военный полигон. Ни жив, ни мертв лежал ты в своем укрытии, смутно догадываясь о каком-то нависшем бедствии, еще не представляя себе, что произошло. И позднее, когда Дулькин с Романом лихорадочно извлекали тебя из бункера, наскоро обтирая тебя, смывая угольную пыль и кое-как приводя тебя в христианский вид, ты все еще не знал, что же случилось, не допуская даже мысли, что причина всему — Грант и что он именно, сам того не сознавая, развеял в пух и в прах ваши с Дулькиным планы и расчеты. По какому-то капризу судьбы, Грант опередил вас в самый последний момент; сейчас, выловленный из пучины, он балансировал между бытием и небытием. Ваша с Дулькиным шальная затея с позором провалилась: над этапом нависло подлинное дыхание смерти.

— Как оно могло произойти, Дулькин?

— Кто мог предвидеть? Никто не принимал его всерьез — Грантик и Грантик, дурачок. В тихом омуте, оказывается...

— Сломали человека. Калечили, калечили, пока не сломали.

— Эта Кротовская шпаргалка... Грант подписал ее, говорят, вслепую, не стал читать. Потом волосы на себе рвал.

— Дело не в подписи. Еще до этого, на суде, вспомните. Его трясло...

— Он горой стоял за Кротова, слышать ничего не хотел.

— Еще бы! Последнее его убежище! Оно рухнуло, на глазах у всех.

— Тем не менее — подписал. Убейте — не пойму.

— Что тут непонятного? Человек подписал себе смертный приговор.

— Слава Богу, выволокли. Жив остался.

Застигнутая врасплох, «Аврора» долго еще не приходила в себя. Будто в наказание, пригвожденная к месту, она несколько часов подряд простояла посреди реки, нема и недвижима, в ожидании команды из Ю-Дага. В конце концов, команда поступила: «Аврора» медленно, бесшумно, не веря как бы своему счастью, тронулась с места. Этап вздохнул с чувством облегчения: Ю-Даг милостиво раскрыл ему свои объятия.

...Дулькин семенил с тобой рядом, у него был, как ни странно, вид победителя. Поймав на ходу твой потухший взгляд, он весело подмигнул тебе, как бы говоря: «Выше голову, старина! Еще не все потеряно! Дулькин, думаешь ты, трепло, клоун; не следовало с Дулькиным связываться... Зря ты думаешь! Дулькин от своего никогда еще не отступался. И не отступится. Потерпеть надо, мужаться... Мужайся, худшее впереди!»

Уже на берегу, когда этап замер, построенный для проверки, Дулькин успел шепнуть тебе:

— Ромка — человек слова. Он сейчас носом землю роет.

Испытующе заглянув в твое лицо, он прибавил с показным равнодушием: «Если, конечно, Павел не передумал.»

— Передумал, передумал, — ожесточился ты вдруг, но тут же, упавшим голосом, закончил, — не оставлять же Грантика одного при подобных обстоятельствах.

— Грантика беру на себя, — заторопился Дулькин, — моя забота. Только что его видел, чаем отпаивал. Огурчик! Как с гуся вода...

...Этап в нетерпении переминался с ноги на ногу, тревожно взирая на чернеющие в отдалении лагерные вышки долгожданного Ю-Дага. Про Грантика и его нелепую выходку никто больше не вспоминал.

* * *

Похмелье наступило не сразу.

Когда на фоне тусклого северного неба впервые обозначились очертания Ю-Дагского лагеря, среди колонны послышались одобрительные возгласы:

— Братцы, лагерь! Вот он, значит, какой...

— Поселок, как поселок! Ничего особенного.

— Где она, зона? Нету никакой зоны...

— А ведь правда! Никаких заграждений!

— Гуляй, где вздумается! Красота...

Чей-то раздраженный, злой голос ворвался, перебил:

— Будут вам гулянки, дурачье! Вышки... Вы что, совсем уже обалдели!

— Подумаешь, четыре скворешни...

Возвышенность, у подножия которой растянулся лагерь, представлялась сейчас отвратительной и мрачной. Куда девались вчерашние горные вершины, живописные террасы, узорчатые египетские пирамиды? Голая, лысая гора, без клочка растительности; сплошной известняк, в рытвинах, трещинах, изъеденный ржою. На фоне этой плешивой громады—четыре невысоких вышки, по углам зоны, и на самом деле выглядели крохотными скворешницами.

Кто-то попытался связать:

— Северная наша Ривьера! Дорвались.

Другой поправил, с тоской в голосе:

— Скорее Коктебель. Кара-Даг... Прошлой осенью отдыхал там, в Доме творчества.

— Заткнитесь, трепачи!

Колонна приближалась к главной вахте, открывавшей вход в лагерную зону. Над воротами вахты реяло выцветшее полотнище, на котором неровными печатными буквами, белым по красному, было выведено:

«Добро пожаловать! Масовым соцсоревнованием прославим труд Советского народа, строителя коммунизма!»

В отдалении виднелся длинный ряд дощатых бараков, почему-то фасадами обращенных внутрь двора, отчего все они казались наглухо заколоченными, нежилыми. И вообще — вся территория зоны производила впечатление вымершей, ни живой души. Только в глубине где-то, вокруг громадного рулона колючей проволоки, копошилось несколько человек неопределен-

ного пола и возраста, в ватных штанах и телогрейках; они вяло передвигались, разматывая проволоку. Кто-то догадался:

— Проволока... Будет, значит, зона!

Другой взорвался, вскипел:

— Ну и что? Заладили, как попки: зона, зона! А вы думали: клумбы, газоны... Лагерь есть лагерь: вышки, заграждения, все, как положено.

У самой вахты произошла неожиданная заминка. Этап остановили, в зону не пропустили; начальник конвоя спешно вызван был в управление, к лагерному начальству. После повторного пересчета колонну вдруг повернули назад, в направлении причала. Покружив некоторое время вдоль подножия лысой этой горы, точно бы нарочно замечая собственные следы, этап выбрался, наконец, на пустую, захлавленную площадку, в центре которой, среди свежего строительного мусора, красовались два незавершенных, странного образца строения, во всю длину покрытых толстым слоем дерна.

Кто-то воскликнул с неподдельным восторгом:

— Прелесть какая, землянка!

— Какие же это землянки, маэстро! Когда-нибудь живали вы в землянках, признайтесь!

— Вытяжные какие-то трубы... Лаборатория, что ли?

— Коровники, может быть?

— Так они и попрут сюда, коровы... Коровам комфорт нужен! Воздух, свет...

— Во всяком случае — не общежития же? Ни одного окна!

— Тише вы, грамотеи! — все тот же язвительный, злой голос.

— Очки протрите, читайте!

На одном из строений, на самом видном месте, болтался не-большой, из фанеры, плакат, на котором нацарапано было мелким рукописным шрифтом:

«Стахановскими темпами обеспечим досрочный пуск овощехранилищ!» «Все, как один, на Сталинскую вахту!»

— Поняли, наконец, куда попали?

— Странно... Неужели же нас — в овощехранилища?

— Чушь! Станут они совать нас в эти ямы, с картошкой вместе...

— Какая сейчас картошка, сэр? Где сейчас картошка? Ее еще выкопать надо, дотащить.

— Нам же, кстати, и копать. Одно к одному... Ловко придумано.

— У кого-то голова, оказывается, варит: пустует жилплощадь, почему не использовать?

— Одного не пойму: почему, все-таки, на отшибе? Не в общей зоне? Кто-нибудь может объяснить?

— Начальству виднее, у начальства — голова большая...

И снова этап бесконечно долго мариновали под открытым небом, не впускали в помещения; кого-то поджидали. В конце концов, послышалась команда:

— Встать смирно! Равня-а-айсь...

Колонну стали спешно подравнивать, перестраивать, построили для чего-то в каре. Издали, со стороны вахты, стремительно приближалась небольшая кучка военных, предводительствуемая каким-то штатским, невысокого роста, в кожанке и начищенных до блеска сапогах; на голенища были кокетливо припущены элегантные суконные шаровары. Он мог бы сойти за деревенского щеголя, если бы не надвинутый на глаза картуз, придававший лицу его сумрачное, угрожающее выражение. Движения его были порывисты и резки, попутчики еле за ним попевали.

Подойдя к колонне вплотную, он пристально, точно кого-то выискивая, оглядел передние ряды и развязно отрекомендовался:

— «Москва», Федор Иванович, слышали, может быть? Вся трасса знает, прогремел в свое время... В настоящий момент — начальник «УРЧ», замещаю начальника Ю-Дагского отделения. Для вас, однако...

Он выждал и прибавил с мрачной значительностью, подчеркивая каждое слово:

— Для вас я представитель командования. Командование ла-

геря уполномочило меня принять ваш этап, ознакомиться... Понятно?

Обернувшись к своей свите, он остановил свои бесцветные, с поволокой глаза на одном из сопровождающих в форменной, с малиновым околышем, фуражке и резиновом плаще:

— Оба мы, с ОПЕР'ом, — прибавил он, почтительно склонив голову перед околышем, — уполномочены Начальником Управления... Правильно говорю, Петрович?

Петрович этот бровью не повел, каменное его лицо оставалось неподвижным, и «Москва», подобострастно ему подмигнув, продолжал:

— Что, не нравится? Сами с усами? Начальничками были, кашу с маслом ели, командовали... Головы людям морочили, с толку сбивали... Троцкисты, векаписты... Обидно, да? Ничего, ребята, спесь из вас вышибем. Как говорится, подержался, дай другому подержаться! Трудиться надо, кто не трудится, не ест, сами, небось, доказывали, на каждом шагу... Теперь, будь ласка, ваша очередь.

Этап стоял навтытяжку, пришитый к месту. Никто до этого еще не представлял себе, что лагерь предстанет перед вами в образе такого вот шеголя с сиплым голосом и выпученными наглыми глазами; он будет повелевать вами, измываться над ученостью вашей, над партийностью... Это, однако, было еще не все, это было далеко еще не все. Настоящее ваше протрезвление началось потом, когда новый ваш повелитель «Москва», покончив с литературным вступлением и решив, очевидно, что общий язык с этапом найден, дал знак какому-то Ивашкину, и тот выскочил вперед с приказом «командования». Зачтение приказа камня на камне не оставило от вчерашних ваших надежд и иллюзий. Никакого, оказывается, Ю-Дага: миф, самообман! Не видать вам этого Ю-Дага, как своих ушей! Приказ предписывал: этапу, после суточного привала, следовать пешим строем до Воркуты, конечного пункта назначения. «Уса обмелела, — пояснил «Москва», — сами видите, не тянет больше. Топать придется ножками, ножками, — прибавил он, рассчитывая, ви-

димо, развеселить аудиторию. Стиснутый всеобщим гробовым молчанием, он вдруг насупился, перешел на строгий, назидательный тон, обнаружив при этом недюжинные данные лагерного трибуна. «Командование» знало, должно быть, цену своим кадрам и не зря возложило почетную миссию своего полпреда на этого краснбая, с замашками Наполеона. Все слушали, проглотив языки.

— Лагерь, — распинался он, — запомните: ваш дом родной, ваши папа и мама, единственная ваша семья. Правительство оказало вам великую честь, прислало на Воркуту, строить Заполярную кочегарку, вы обязаны сознавать. Не вздумайте прикидываться, целочек из себя строить, не советую. Вас видно насквозь... Сейчас, к примеру, вы думаете на мой счет: что за дурака, думаете вы, прислали нам, петрушку какого-то! Самозванца, агитировать нас, зубы заговаривать... К вашему сведению, самозванец этот, «Москва» так званный, прошел огонь и воду, и медные тубы. Всю Печору обшарил, Чибью строил, нефть бурил. На Крутой загибался! Ветку железнодорожную прокладывал, Уса-Воркута. Для вас прокладывал, по этой самой ветке вас на Воркуту доставят, спасибо скажете! Первый на Воркуте рудник прорыл, шахта номер три! Первый уголек выдал на гора! Дурной своей башкой самозванец этот сообразил: трудом, только честным трудом ты оправдаешься перед Родиной, искупишь грехи свои. Дак вот, ребята, Воркуте требуются рабочие, забойщики, крепильщики, откатчики... Грузчики, строители. Вы получите новые специальности, выбирай, что кому по душе. Условия — лучше не надо: в бараках — жароца, топлива по горло, жги, не жалея; девятьсот грамм хлеба, горячая пища, стахановцам, за перевыполнение норм, дополнительное премблюд, булочка или же оладьи, по выбору. Дважды в месяц — ларек и тому подобные льготы. Есть возможность устроить личную жизнь, соединить свою судьбу. Природа, она свое требует, командование идет навстречу. В лагере имеются женщины, чэсы так называемые, члены семьи; мужья в расходе, враги народа... мужьев, считайте, не было. Практикуется перевод из баракoв в

единоличные землянки, в порядке поощрения, все зависит от вас, от вашего поведения, понятно? Промеж вас, я знаю, имеются грамотеи, профессура всякая, директора... Партейцы! Забудьте! Лагерь всех равняет. Начинать надо новую жизнь, строить северную нашу коммуну. Предупреждаю, писанину эту бросьте; жалобы, кляузы, дурь эту выбросьте из головы. Не забывайте, кто вы есть. Москва слезам не верит.

«Москва слезам не верит»... Своего рода лейтмотив, он повторял его поминутно, с вариациями, вкладывая каждый раз новый смысл. Вдруг он вытянулся весь, стал как-то даже выше ростом, голову же, наоборот, втянул, как бы подготовившись к прыжку.

— Ты, профессор! Подь-ка сюда! — Каким-то нюхом он выделит Сократа, угадал его. — Тебе говорю, лобастый, подойди ближе... Познакомимся.

Он поманил его пальцем. Сократ окружен был тесным кольцом ортодоксов, они о чем-то горячо и взволнованно шептались. Сократ поднял на «Москву» близорукие свои, невидящие глаза и, не трогаясь с места, сказал:

— Передайте командованию вашему: у нас раздетые, разутые. Есть больные. Пешком не пойдем. Так и передайте: политзаключенные, которые из изоляторов, идти отказываются.

— Ивашкин! — Лицо «Москвы» преобразилось, пошло пятнами; глаза налились кровью. — Ивашкин!

Из-за спины у него вынырнул Ивашкин, тот самый, что зачитывал перед строем приказ; он подскочил к Сократу, встал, как вкопанный.

— На запор, Ивашкин! Всю банду! Без права передвижения! Усилить караул, спецконвой!

Медленно обведя всех своими неподвижными, тяжелыми, как свинец, глазами, он процедил сквозь зубы:

— Ерои какие! Мы у них яйца живо повыдергиваем. У нас ветеринары найдутся, не извольте сумлеваться.

Все кругом застыли, потупились. Вокруг Сократа и его компании стало незаметно смыкаться кольцо охраны, теснить их к стенке овощехранилища. Ты ринулся было вслед, но на руке у

тебя гирей повис Дулькин, не давая сдвинуться с места. Рядом с ним вырос Агап Агапыч.

— Вам что, жизнь надоела? — прошипел он, взглянув на тебя с пренебрежением. — Нате, любуйтесь.

Он сунул тебе текст свежесфабрикованной Гришиным телеграммы на имя ЦК партии; телеграмма пошла уже по кругу, переходила из рук в руки. Кое-кто подписывал механически, не глядя; другие увиливали, прятались — утренняя атмосфера подъема и радужных надежд сменилась мраком безнадежности и обреченности.

— Они все еще склонны продолжать эту детскую игру. — продолжал шептать Агап Агапыч. — Меморандумы, обращения в ЦК... Вот он, наш ЦК! «Москва»... Не зря же он такую кличку себе выбрал: Москва! Владыка! Наместник Сталина!

— По-вашему — поставить крест? Зарыться в эти овощехранилища, гнить заживо... Окончательно превратить себя в скотину?

Ты с негодованием воззрился на Агап Агапыча. Он неожиданно расцвел, на лице у него заиграла обычная его пренебрежительная усмешка.

— Мой юный друг, — произнес он с оттенком торжественности в голосе, — превращение это, столь вам ненавистное, оно возникло двадцать лет тому назад, пора бы привыкнуть, смириться... Вам известна моя на сей предмет точка зрения.

— Это ужасно, то, что вы сказали!

Единственное, что ты нашелся возразить ему. Сердце твое мучительно сжалось; с мольбой и едва теплящейся надеждой ты поднял глаза на Дулькина. Его уже и след простыл: он рыскал где-то в отдалении, упорно кого-то разыскивая.

* * *

Этап водворен был в овощехранилище номер один, размером побольше — весь этап, за исключением только ортодоксов. Запертых на замок в помещении второго овощехранилища. Последнее, распоряжением начальства, отведено было под штрафной изолятор; туда и затолкали Сократа, Гришина, со всей их

беспокойной братией. У ворот изолятора выставлен был часовой со строгим наказом: ни при каких обстоятельствах никого из помещения не выпускать; в случае чего — открывать огонь. Здесь именно, у стен изолятора, возникла эта невообразимая вакханалия.

Уже темнело, когда началось нашествие. Они, должно быть, только что вернулись в зону после трудового дня, не успели еще грязь отмыть, поесть; они с ожесточением что-то на ходу грызли, дожевывали. Беспорядочной толпой наступали они на два эти овощехранилища — ничто не могло бы их остановить, никакие конвои. Они двигались вслепую, как лунатики, наращивая шаг и устремляясь к одной единственной цели — поскорее добраться до мужского этапа.

Их невозможно было принять за женщин. В рваных бушлатах, в ватных, обтрепанных штанах, в тяжелых, перевязанных веревками ботинках — разве можно было в этих чучелах угадать столичных модниц с шестимесячной завивкой, с маникюром и губной помадой, со стихами Есенина и Блока... Теперь они — лесорубы, возчики, землекопы, «члены семьи», лагерницы. Они шли все напористее, преодолевая усталость; приблизившись к месту расположения этапа, они в нерешительности остановились. Со стороны овощехранилища номер два, «шизо» так называемого, доносился глухой гул, время от времени прерываемый окриками часового:

— Тише вы, штрафники!

Шум постепенно нарастал; кто-то изнутри наседали на ворота, колотил по ним ногами, грозился:

— Вышибем, честное комсомольское, вышибем!

— Открывай!

— Пусти! В туалет выпусти!

— Оправка арестанту полагается? Олух!

— Кто дал право в лагере держать под замком?

— Не тюрьма! Открывай! Чучело гороховое...

Часовой не оставался в долгу:

— Сказано — не выпускать! Сиди, контра...

- Тебе говорят: в туалет!
- Не положено!
- Двери выломаем, хуже будет!
- Не трожь, сатана, двери, убью!
- Стреляй, собака!

Женщины подтянулись, загудели; стали подвигаться вперед, ближе к караульному. Он отступил, взревел:

- Бабы, разойдись! Стрелять буду!
- Не бабы! Жены!
- Пришли этап встречать!..
- Проверить, мужей наших нет ли?
- Выпусти мужиков.
- Полчаса дела: повидаться, переговорить.
- Небось женатый, можешь понять?
- Человеком будь, открой!

Голоса женщин просочились за стенки изолятора. В ворота яростно забарабанили десятки ног.

- Открывай, изверг!
- Начальство зови, балда!
- Оперчекотдел зови!

Нашествие между тем переметнулось в овошехранилище номер один; какие-то женщины половчее проникли внутрь в самую гущу этапа. Они стали вызывать, вопить, выкликать без умолку, надрываясь и перебивая друг дружку:

— Дима! Блинов Дмитрий, Краснопресненский район! Кто видел Блинова, товарищи...

— Юра! Юрий Коршунов из Орехово-Зуево! Юрчик, где ты?

— Коля! Михайлов Коля! Вторая Градская! Кто встречал Николая Михайлова? Николаша...

— Маша! Я Маша Дронова! Костя, здесь я...

Мужчины шагнули навстречу; неуверенно, в одиночку; потом смелее, порывистой, сплошным потоком. Они вырвались наружу, окружили женщин, перемешались; безумие охватило людей. Они метались, носились в бешеном водовороте, глушили друг

друга, бросались в объятия, шарахались и снова возобновляли поиск. О запертых в изоляторе — на время позабыли.

— Ксе-нья-аа... Ксения Кулико-о-ва-а-а... Где ты-и-и...

Голос Гришина! Он вырвался из глубины изолятора, пробился через ворота, через толщу дерна, раздирая душу и покрывая прочие все голоса. — Ксю-у-у-ша-а-а...

И в ту же минуту, в двух шагах от тебя, точно из-под земли возникший — мелькнул профиль Ксении, мелькнул и исчез. Ошеломленный, не веря еще своим глазам, ты ринулся вслед и стал, как вкопанный: метрах в ста от изолятора. среди кустарника, таясь почему-то от людей, она стояла, прижав к сердцу руку и тяжело дыша. Такая же, как тогда, в Нижне-Удинском политизоляторе, какой ты видел ее последний раз, перед отправкой в Москву. В отличие от прочих всех женщин, она была сейчас одета во все свое, домашнее: вязаная кофта поверх платья, косынка, туфли на ногах; рядом с этими оборывшами она выглядела небесным созданием, сошедшим с другой планеты. Ты тарасил на нее глаза со смешанным чувством восторга и страха.

— Вы не узнаете меня, Ксения?

— Отчего же?

Она взглянула на тебя без удивления, отсутствующим взглядом; оторопь пробрала тебя.

— Он здесь, вам известно?

Она вздрогнула, но промолчала, притворилась, что не слышит.

— Гришин здесь, — повторил ты. — Он звал вас, вы слышали?

— Не пойду я, — она произнесла это с неожиданной твердостью.

— Что произошло, Ксения? Неужели... Зверев?

Она содрогнулась, с отвращением повела плечами.

— Не произносите больше этого имени. прошу вас.

Все тот же жесткий, непреклонный голос. И вдруг поникла, простонала:

— Боже, как все это надоело...

Ты ждал молча, скованный тяжелым предчувствием. Она заговорила с неожиданной страстностью:

— Эти мужские этапы, встречи; объятия... Они этим только и живут: ожиданием очередного этапа... Помешались все на мужах своих, на семейном счастье. Нашли время для счастья... Скорее бы конец!

Ты слушал, не смея слова проронить. Тебе казалось — она совсем не о том говорит; и дело тут вовсе не в тягостных этих, невыносимых встречах, не в этапах; другая какая-то беда нависла у нее над головой, она мучает ее, терзает ее душу... Тебе почему-то покоя не давал этот ее шикарный наряд, ее кофта, косынка... Куда девалось лагерное ее убранство, ее рабочая роба, бушлат? Мозоли рабочие где? Тебя подмывало дознаться у нее, спросить, тотчас же, не откладывая в долгий ящик: почему она одна, не со всеми вместе, отбилась от стада?

— Ксения, — начал ты, мучительно, с невероятным трудом подбирая слова, — что стряслось? Я не узнаю вас...

Тебе не дали продолжить. Оттуда, со стороны изолятора, вместе с треском взламываемых ворот, донесся тот же раздирающий душу вопль — изнемогающий, молящий голос Гришина:

— Ксения-а-а... Ксюшенька-а-а...

И, точно эхо, отозвался позади где-то, в кустах, негромкий, короткий свист — позывной чей-то сигнал, ввергший Ксению в трепет; она вся затряслась, задрожала, как осиновый лист. Свист повторился ближе, и вслед за ним — чей-то сиплый, приглушенный возглас:

— Сенька!

Не возглас даже, а короткий отрывистый лай — страшная догадка ослепила тебя, пригвоздила к месту.

— Марш отсюда, Сенька, — услышал ты почти рядом с собой и все в тебе похолодело, — айда домой, ну! Кому говорю...

Тот самый голос: он запомнился тебе на всю жизнь! Весь этот

день он звучал в ушах у тебя, не уставал повторять: «Москва слезам не верит», «Москва слезам не верит!». Сейчас он угрожает ей, Ксении, повелевает ею, называет ее «Сенька»... Она перед ним трепщет, голову клонит, перед кем?

— Сеньюшка, — как бы ответ тебе прошептал он, и в горячем этом шепоте вырвалось наружу, с угрозой вместе, сладкое нечеловеческое какое-то урчанье, исполненное собачьей нежности и ласки, — по-хорошему говорю, нечего тебе тут делать...

Не помня себя от ужаса, ты вскочил, протянул к ней руки. Увы, она испарилась, растворилась в эфире, а с ней заодно — ночной ее искуситель.

Все остальное свершилось, как во сне: свалка в дверях изолятора, Гришин, навалившийся на часового, беспорядочная пальба из винтовок, отчаянные вопли женщин:

— Убили!

— Мужчину убили!

— Носилки, скорее носилки!

— Фельдшера!

— Полотенце! У кого, товарищи, полотенце? Сильное кровотечение...

Вохровцы носились вокруг овощехранилищ, шелкали затворами, загоняя людей в помещения. Чей-то мужской голос добивался: «Кого убили? Гришина? Сократа?»

И наконец тихий голос Сократа, еле слышный:

— Жив курилка, жив! Чуток ногу задело, не хороните раньше срока...

С вышек все еще раздавались одиночные выстрелы. Вырвавшись из людской давки, ты мчался опрометью по направлению к причалу; тебе почему-то казалось, что Ксения подалась именно туда, к реке, тебе все еще мерещились утопленники, безвременные смерти. Берег был нелюдим и безмолвен, никакой там Ксении в помине не было; была баржа ваша, достопамятная «Аврора», она безмятежно покачивалась на волне, привечала тебя, звала... Уже у самого причала ты услышал позади себя топот, кто-то быстро настигал тебя; сразу обессилев, ты опу-

стился на землю — последнее твое прикосновение к Ю-Дагской земле. Ты не расслышал задыхающегося шепота Дулькина. совавшего в руки тебе рюкзак, доверху набитый какими-то бумагами; не ощутил железных, как клещи, пальцев Романа, кочегара, когда он заталкивал твое тело в угольную кучу... Весь Божий мир мгновенно обернулся для тебя сырой, черной шахтой. Густой, непролазный туман окутал твое сознание: клочья каких-то воспоминаний; обрывки путаных мыслей, очень как будто нужных, важных; мгновенные вспышки озарения; и снова беспросветная, темная бездна... Беглый лагерник, ты отдаешь себе отчет, на что обрек себя? Ради кого, во имя чего? Меньше суток миновало после вчерашней ночи, ты ничего еще, по сути, не успел, ты по-настоящему лагеря еще и не нюхал... Что видел ты в этом Ю-Даге? Полсотни заморенных лагерниц, начальница ихнего, самодура, невольницу Ксению... Ты еще горя настоящего не хлебнул. И все же тебе казалось — века прошли! За этот короткий день ты постарел на целое тысячелетие. Вчера еще ночью, в этом же угольном бункере, ты бредил Москвой, лелеял какие-то надежды... Дулькин ухитрился внушить тебе: не все еще потеряно! Существует где-то Москва-матушка, она протянет руку помощи, тебе стоит только показаться там, «раскрыть им глаза». Он приволок сейчас мешок макулатуры: жалобы, списки, справки, свидетельства очевидцев... Дулькин уверен: они там в Кремле ахнут, всю Россию на ноги поднимут; Минин и Пожарский встанут из гроба. Оказывается, и Дулькин может пойматься на удочку, воздушные замки возводить, подобно Сократу... Каждый по-своему: у Дулькина — братец в ЦК, Дулькин верит в него, боготворит его; у Сократа — Коминтерн, его путеводная звезда... Сейчас Сократ валяется в этом подземелье, под вывеской «овощехранилище номер два», кровью истекает. Неизвестно, что ждет их там, в когтях у этого хищника. Боже, до чего же довели они несчастных женщин! Во что превратили Ксению...

Нет, не петиции, не челобитные, не слезные жалобы — будь он проклят этот недостойный, рабский язык! На этом самом

языке, теми же словами и в тех же лукавых выражениях наемные писаки строчат свои доносы, продажные судьи — выносят свои приговоры, лжесвидетели, нарушая клятву, предавая друзей своих, братьев и сестер, дают лживые свои показания. Те же словесные обороты, та же витиеватая фальшивая речь: «Во имя любимой Родины»; «Под мудрым руководством Вождя и Учителя»; «Ради окончательной победы социализма»... Отравленный язык Вышинского и Ежова, язык устрашения, ненависти и обмана — подобает ли честным людям пользоваться антинародным этим языком для самозащиты, ради спасения живота своего? Клясться в невинности своей, доказывать, клянчить, падать ниц, молить о пощаде?

Вычеркнуть его, оскверненный этот язык, из памяти народа, предать забвению на веки веков! Заново искать слова, вдохновенные и гневные, обращенные не к правителям, творящим суд и расправу, — к людям обращенные, к их чести и совести, их внукам и правнукам... Другой обрести язык, пламенный язык пророков, бичующий, страстный; срывающий маски; вызывающий к сердцам людей; язык правды и справедливости, солидарности и братства. Найдешь ли ты, Павел, нужные эти, вдохновенные слова? Достанет ли в тебе силы духа, ясности разума?

Горячие, горючие слезы душили тебя, заливали твое лицо, омывали истомившееся сердце волной не испытанной доселе любви и мучительного сострадания. Когда же «Аврора», забываемая твоя «Аврора», дрогнула, наконец, оттолкнувшись от берега, губы твои сложились сами по себе, помимо твоего сознания, прошептали беззвучно, как молитву:

«Мужайся, худшее впереди».

Над Ю-Дагом вставал мутный осенний рассвет.

СОДЕРЖАНИЕ

Вместо пролога	3
Глава первая. Скрытой камерой	4
Глава вторая. Начало диалога	28
Глава третья. На чаше весов	58
Глава четвертая. Познай самого себя	104
Глава пятая. «Без вины виноватые»	170
Глава шестая. «Да, виновен!»	232
Глава седьмая. Суд идет, прошу встать!	260
Глава восьмая. Мужайся, худшее впереди!	318



Богораз Иосиф Аронович родился в 1896 году в г. Овруг Волынской губернии. До 1936 года преподавал экономику в Харьковском и Киевском университетах. В 1936 году был арестован и пробыл в лагерях и ссылке в Заполярье более 20 лет. В 1957 году был реабилитирован, поселился в Москве.

Писать начал в конце 50-х годов. В 1975 году журнал «Континент» опубликовал его повесть «Наседка». В настоящее время проживает в Москве.